

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ
АНДРЕЙ ГЕЛАСИМОВ
МАРИЯ МЕТЛИЦКАЯ
ДИНА РУБИНА
МАША ТРАУБ
ОЛЕГ РОЙ

и другие

ЛЮБОВЬ,

или Пускай
смеются
дети



**ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ
АНДРЕЙ ГЕЛАСИМОВ
МАРИЯ МЕТЛИЦКАЯ
ДИНА РУБИНА
МАША ТРАУБ
ОЛЕГ РОЙ**
и другие

ЛЮБОВЬ,

или Пускай
смеются
дети

сборник рассказов



Москва
2015

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Л93

Оформление серии *П. Петрова*

Любовь, или Пускай смеются дети : сборник
Л93 рассказов / Дина Рубина, Людмила Петрушевская,
Андрей Геласимов, Олег Рой, Мария Метлицкая,
Маша Трауб и др. — Москва : Издательство «Э»,
2015. — 416 с. — (Рассказы о самом важном).

ISBN 978-5-699-82685-8

У Кати было несчастливое детство: мать настолько сильно любила отца, что для нее не существовало больше никого. Вот и выросла девочка с ощущением сиротства, с обидой на мать и подсознательной готовностью повторить ее судьбу... Так начинается рассказ Маши Трауб. А в рассказе Андрея Геласимова ситуация противоположная — даже страшный ярлык неполноценного ребенка не мешает матери по-настоящему любить свое дитя.

В этом сборнике — рассказы о детях, смеющихся и плачущих, счастливых и несчастных, которые ждут самого главного — любви.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Рубина Д., 2015
© Петрушевская Л., 2015
© Геласимов А., 2015
© Резепкин О., 2015
© Метлицкая М., 2015
© Машкова Д., 2015
© Трауб М., 2015
© Муравьева И., 2015
© Ройтбурд Л., 2015
© Тронина Т., 2015
© Борисова А., 2015
© Габышева В., 2015
© Булатова Т., 2015
© Оформление. ООО
«Издательство «Э», 2015

ISBN 978-5-699-82685-8

Хотелось бы предупредить читателя — советов как быть с детьми, как их вырастить, как воспитать в них собственных друзей на всю свою жизнь, в этой книжке не найти. Да такие советы ничего и не дают.

Но иногда нас учит не случай чужого счастья, а совсем наоборот. Мы начинаем понимать, что в данной приведенной истории, если бы она произошла с нами, мы были бы много осторожней.

В этой книге содержится опыт разных людей — писателей, которые и сами родители и, что тоже очень важно, они к тому же являются свидетелями чужого семейного опыта и передают его в этой книге с возможной степенью правды. Так как иногда правда неподъемна и подлежит не описанию, а судебному расследованию.

Любовь к своим детям — распространенный и самый скорый из видов любви. Самый легковесный. Ибо любовь к своим часто сопровождается нелюбовью к чужим. Что провоцирует преступления и даже войны, самое безнравственное занятие человечества.

Но вот родительская мудрость есть терпение. Родительская мудрость есть уважение. Родительская мудрость есть строгость — прежде всего к себе.

Ваша Л.Петрушевская

ДИНА
РУБИНА



ТЕРНОВНИК



Мальчик любил мать. И она любила его страстно. Но ничего толкового из этой любви не получалось. Впрочем, с матерью вообще было трудно, и мальчик уже притерпелся к выбоинам и ухабам ее характера. Ею правило настроение, поэтому раз пять на день менялась генеральная линия их жизни.

Менялось все, даже название вещей. Например, мать иногда называла квартиру «квартирой», а иногда звучно и возвышенно — «кооператив»!

«Кооператив» — это ему нравилось, это звучало красиво и спортивно, как «авангард» и «рекорд», жаль только, что обычно такое случалось, когда мать заводилась.

— Зачем ты на обоях рисуешь?! Ты с ума сошел? — кричала она неестественно страдальческим голосом. — Ну скажи: ты человек?! Ты не человек! Я хрячу на этот проклятый кооператив, как последний ишак, сижу ночами над этой долбаной левой работой!!!

Когда мать накалялась, она становилась неуправляемой, и лучше было молчать и слушать нечленораздельные выкрики. А еще лучше было смотреть прямо в ее гневные глаза и вовремя соорудить на физиономии такое же страдальческое выражение.

Мальчик был очень похож на мать. Она натыкалась на это страдальческое выражение, как натыкаются впотьмах на зеркало, и сразу сникала. Скажет только

обессиленно: «Станешь ты когда-нибудь человеком, а?» И все в порядке, можно жить дальше.

С матерью было сложно, но интересно. Когда у нее случалось хорошее настроение, они много чего придумывали и о многом болтали. Вообще в голове у матери водилось столько всего потрясающе интересного, что мальчик готов был слушать ее бесконечно.

— Марина, что тебе сегодня снилось? — спрашивал он, едва открыв глаза.

— А ты молока выпьешь?

— Ну выпью, только без пенки.

— Без пенки короткий сон будет, — торговалась она.

— Ладно, давай с этой дрянской пенкой. Ну, рассказывай.

— А про что мне снилось: про пиратские сокровища или как эскимосы на льдине мамонтенка нашли?

— Про сокровища... — выбирал он.

...В те редкие минуты, когда мать бывала веселой, он любил ее до слез. Тогда она не выкрикивала непонятных слов, а вела себя как нормальная девчонка из их группы.

— Давай беситься! — в упоительном восторге предлагал он.

Мать в ответ делала свирепую морду, надвигалась на него с растопыренными пальцами, утробно рыча:

— Га-га! сейчас я буду жмать этого человека!!

Он замирал на миг в сладком ужасе, взвизгивал... И тогда летели по комнате подушки, переворачивались стулья, мать гонялась за ним с ужасными воплями, и в конце концов они валялись на тахту, обессиленные от хохота, и он корчился от ее щипков, тычков, щекотания.

Потом она говорила своим голосом:

— Ну, все... Давай наведем порядок. Смотри, не квартира, а черт знает что...

— Давай еще немножко меня пожмаем! — просил он на всякий случай, хотя понимал, что веселью конец, пропало у матери настроение беситься.

Вздыхал и начинал подбирать подушки, поднимать стулья.

Но чаще всего они ругались. Предлогов было — вагон и тележка, выбирай, какой нравится. А уж когда у обоих плохое настроение, тогда особый скандал. Хватала ремень, хлестала по чему попадала — не больно, рука у нее была легкая, — но он орал как резаный. От злости. Ссорились нешуточно: он закрывался в туалете и время от времени выкрикивал оттуда:

— Уйду!! К черту от тебя!

— Давай, давай! — кричала она ему из кухни. — Иди!

— Тебе на меня наплювать! Я найду себе другую женщину!

— Давай ищи... Чего ж ты в туалете заперся?..

...Вот что стояло между ними, как стена, что портило, коржило, отравляло ему жизнь, что отнимало у него мать, — Левая Работа.

Непонятно, откуда она бралась, эта Левая Работа, она подстерегала их, как бандит, из-за угла. Она насакивала на их жизнь, как одноглазый пират с кривым ножом, и сразу все подчиняла себе. Кромсала этим ножом все планы: зоопарк в воскресенье, чтение «Тома Сойера» по вечерам — все, все гибло, летело к чертям, разбивалось о проклятую Левую Работу. Можно сказать, она была третьим членом их семьи, самым главным, потому что от нее зависело все: поедут ли они в июле на море, купят ли матери пальто

на зиму, внесут ли вовремя взнос за квартиру. Мальчик ненавидел Левую Работу и мучительно ревновал к ней мать.

— Ну почему, почему она — Левая? — спрашивал он с ненавистью.

— Вот балда. Потому что правую я делаю весь день на работе, в редакции. Правлю чужие рукописи. Мне за это зарплату платят. А вот сегодня я накаताю рецензию в один журнал, мне за нее отвалят тридцать рублей, и мы купим тебе сапоги и меховую шапку. Зима же скоро...

В такие дни мать до ночи сидела на кухне, стучала на машинке, и бесполезно было пытаться обратить на себя ее внимание — взгляд отсутствующий, глаза воспаленные, и вся она взвинченная и чужая. Молча подогревала ему ужин, говорила отрывистыми командами, раздражалась из-за пустяков.

— Живо! Раздеться, в постель, чтоб тебя не видно и не слышно! У меня срочная левая работа!

— Чтоб она сдохла... — бормотал мальчик.

Он медленно раздевался, забирался под одеяло и смотрел в окно.

За окном стояло старое дерево. Дерево называлось терновник. На нем колючки росли, здоровенные, острые. Пацаны такими колючками по голубям из рогатки стреляют. Мать однажды встала у окна, прижалась лбом к стеклу и сказала мальчику:

— Вот дерево терновник. Очень древнее дерево. Колючки видишь? Это тернии. Из таких колючек люди однажды сплели терновый венок и надели на голову одному человеку.

— За что? — испугался он.

— А непонятно... До сих пор непонятно...

— Больно было? — сочувствуя неизвестной жертве, спросил он.

— Больно, — согласилась она просто.

— Он плакал?

— Нет.

— А-а, — догадался мальчик, — он был советский партизан...

Мать молча смотрела в окно на старый терновник.

— А как его звали? — спросил он.

Она вздохнула и сказала отчетливо:

— Иисус Христос...

Терновник тянул к самой решетке окна свою скрюченную руку с корявыми пальцами, как тот нищий у магазина, которому они с матерью всегда дают гривенник. Если присмотреться, можно различить в сплетении веток большую корявую букву Я, она как будто шагает по перекладине решетки.

Мальчик лежал, глядел на букву Я и придумывал для нее разные пути-дороги. Правда, у него не получалось так интересно, как у матери. Машинка на кухне то тараторила бойко, то замирала на несколько минут. Тогда он вставал и выходил на кухню. Мать сидела над машинкой ссутулясь, пристально глядя в заправленный лист. Прядь волос свисала на лоб.

— Ну? — коротко спрашивала она, не глядя на мальчика.

— Я пить хочу.

— Пей и марш в постель!

— А ты скоро ляжешь?

— Нет. Я занята...

— А почему он деньги просит?

— Кто?! — вскрикивала она раздраженно.

— Нищий возле магазина.

— Иди спать! Мне некогда. Потом.

— Разве он не может заработать?

— Ты отстанешь от меня сегодня?! — кричала мать измученным голосом. — Мне завтра передачу на радио сдавать! Марш в постель!

Мальчик молча уходил, ложился.

Но проходили минута-две, и стул на кухне с грохотом отодвигался, в комнату вбежала мать и отрывисто, нервно бросала:

— Не может заработать! Понимаешь?! Бывает так. Сил нет у человека. Нет сил ни заработать, ни жить на свете. Может, горе было большое, война, может, еще что... Спился! Сломался... Нет сил...

— А у тебя есть силы? — обеспокоенно спрашивал он.

— Здрасьте, сравнил! — возмущалась она и убежала на кухню — стучать-выстукивать проклятую Левую Работу.

У матери силы были, очень много было сил. И вообще мальчик считал, что они живут богато. Сначала, когда ушли от отца, они жили у материной подружки тети Тамары. Там было хорошо, но мать однажды поругалась с дядей Сережей из-за какого-то Сталина. Мальчик думал сначала, что Сталин — это Маринин знакомый, который ей здорово насолил. Но оказалось — нет, она его в глаза не видела. Тогда зачем из-за незнакомого человека ссориться с друзьями! Мать как-то и ему принялась рассказывать про Сталина, но он пропустил мимо ушей — скучная оказалась история.

...Так вот, мать подумала, решила, и они «влезли в кооператив».

Мальчик придумывал грандиозное зрелище: вот он ждет их на взлетной полосе, сверкающий, узкий и легкий, как птица, — кооператив! Вот они с матерью — в комбинезонах, со шлемами в руках — шагают к нему через поле. И вот уже люк откинут, они машут толпе внизу, застегивают шлемы и наконец влезают в новейшей модели сверхзвуковой кооператив!

На самом деле все происходило не так. Мать продала много чего ненужного — желтенькую цепочку, которую прежде даже на ночь не снимала с шеи, серьги из ушей с блестящими стеклышками, кольцо. Потом стояла у окна на кухне и плакала весь вечер, потому что и цепочка, и серьги, и кольцо были бабушкиными и остались от нее на память. Мальчик крутился возле матери, ему передалось ее тоскливое ощущение потери, и было жалко мать, которая так горько плачет из-за пустяковых вещиц, и он решительно не понимал, что происходит.

Но скоро они переехали в новую квартиру, и мать повеселела. Квартира оказалась роскошной: комната, кухня и туалет с душем. Был еще маленький коридорчик, в котором они в первый же день повесили подаренное тетей Тамарой зеркало. Комната пустая, веселая — вози грузовик в какую хочешь сторону, от стенки до стенки, и не скучай. Первое время они спали вдвоем на раскладушке. Обнимались тесно, становилось тепло, и мать перед сном рассказывала длинную историю, каждый вечер новую. И как только они умещались в ее голове!

А однажды он пришел из детского сада и увидел в комнате новую красную тахту. Мать засмеялась, потащила его, повалила на тахту и стала тискать и щипать.

— Ну как? — спросила она гордо. — Шикарно? — И подпрыгнула на упругой тахте.

— Шикарно, — согласился он и тоже попрыгал немного.

— Человеку в твоём возрасте вредно спать на раскладушке, — пояснила мать, — будешь сутулым, как старый старикашка... У меня это прямо из головы всю неделю не выходило. А сегодня утром, как отвела тебя в сад, думаю — да черт возьми! Руки есть, башка варит, что я — не отработаю? Пошла и заняла деньги у тети Тамары...

— Левую Работу возьмешь? — расстроился он.

— Ага, — беспечно сказала мать и опять стала прыгать на тахте и тискать мальчика...

Часто в гости забегала тетя Тамара. К ней на работу постоянная спекулянтка приносила всякие вещи — то джемпер японский, то финское платье. И тетя Тамара забегала на минутку — приносила «померить». Она очень переживала, что мать «все с себя сняла» и «совершенно не одета». Ну это, конечно, была ерунда. Интересно, как бы мать ходила на работу, если б была совершенно не одета. Она носила черный свитер, который очень нравился мальчику, и серые от стирки джинсы. Просто она привязалась душой к этим любимым вещам, ей не нравились другие. А недавно тетя Тамара принесла серьги, ведь мать продала свои, и та волновалась, что дырочки в ушах зарастут и будет «все кончено». Серьги оказались красивыми, с нежно-зелеными камушками. Мать усмехнулась, надела их, и сразу стало видно, какая она хорошенькая, — глаза такие же, как серьги, зеленые и длинные.

— Вот и покупай! — решительно сказала тетя Тамара. — Очень тебе идут. Просто чудо как красиво.

— Ой, Марина! — ахнул мальчик. — Какие красивые!

— Красивые! — согласилась мать, снимая серьги. — На той неделе взнос за кооператив...

Тетя Тамара бодрая и решительная. Она очень помогает жить матери и мальчику — вселяет уверенность в то, что все будет прекрасно.

— Личная жизнь не удалась — подумаешь! — говорит она. — Те, у кого она удалась, ходят в стоптанных туфлях и с высунутыми языками...

Отца он тоже любил, но боялся, что мать заметит это. И вообще, когда заходил разговор об отце, он помалкивал, зная взрывной материн характер. С отцом-то было легко, спокойно. Отец никогда не орал, и всегда можно было предположить, как он отнесется к тому или другому происшествию. Отец был во всем другой.

Наверное, он сильно удивился бы, узнав, что мальчик наблюдает за ним и сопоставляет его мир с тем миром, где существовали они с матерью.

Отец забирал его в субботу днем и приводил к себе домой, в ту квартиру, где прежде жили они втроем и где осталось все, что раньше было общим. Остался и трехколесный велосипед мальчика, и санки, и самокат. Довольно долго он размышлял, отчего отец не отдал даже его велосипеда. Но спросить не решался. Вернее, просто знал, что ответит отец. Тот бы улыбнулся, и поцеловал его, и сказал:

— Просто я хотел, чтобы твои игрушки были здесь, чтоб ты знал — здесь твой дом.

Как-то он уже говорил что-то подобное.

Нет, дом был там, где была мать. Это мальчик чувствовал очень остро. Даже когда не существовало вообще никакого дома и они ютились у тети Тамары с дядей Сережей, его дом был там, где находилась она — ее голос, ее запах, ее черный свитер, ее жестикуляция и выкрики.

Даже себе он не признавался в том, что любит бывать у отца отчасти из-за подарков. Отец дарил подарки веселые, интересные и этим выгодно отличался от матери. То пистолет подарит с целой обоймой оглушительных патронов, то железный танк с вращающимся стволом орудия. И делал это отец без шума, со снисходительной улыбкой и никогда не устраивал тарарама, если вдруг через час орудие танка отваливалось или пистолет переставал почему-то действовать.

Да, отец дарил веселые подарки... Мать — скучные. Сапоги какие-нибудь на зиму, или куртку с капюшоном, или костюм. И сама ужасно радовалась этим подаркам, заставляла его надевать их, ходить перед ней по комнате и сто раз поворачиваться. Мальчику это надоедало. Он скучал, недоумевал, спрашивал:

— Ну все, что ли?

— Ну походи еще! — сияя счастливыми глазами, командовала мать. — Пройди медленно вон туда, к шкафу, и повернись ко мне. Так. Теперь спиной...

Он томился в теплой зимней куртке, но послушно топтался, как она требовала, — от шкафа к тахте и обратно. В такие минуты он почему-то очень жалел ее.

И не дай бог было замазать куртку грязью или оторвать случайно какую-то несчастную пуговицу! Что тут начиналось!

— Ты человек?! — кричала она страдальческим голосом. — Нет, скажи — ты человек? Нет, ты не человек! Потому что тебе все равно — сплю я ночами или сижу над левой работой, куртку тебе зарабатываю!

Охота воспитывать его настигала мать в самые неподходящие моменты. Например, на днях, когда взрослые ребята — среди них был даже Борька из второго класса — впервые приняли его в игру и он решил на радостях угостить всех конфетами. Он прибежал со двора и постучал в дверь ногами, торжествующий и переполненный царственной щедростью. Мать открыла дверь с мыльными руками, наверное, стирала.

— Марина, дай нам всем конфет! — потребовал он, шумно дыша.

— Посмотри, на кого ты похож! — крикнула она с выражением муки на лице. Бровь ее изогнулась. — Только что вышел! Посмотри на свою рубашку! Сколько я могу стирать?! Ты человек? Ты не человек! Нет больше моих сил, понимаешь? Нет больше моих сил, ты понимаешь или нет?!

— Понимаю, понимаю, — торопливо проговорил он, точно так же изогнув страдальчески бровь, — дай нам конфеты!..

...Да, отец обладал существенным достоинством — он никогда не орал...

Мальчику была непонятна эта материнская страсть к добыванию вещей, тем более непонятна, что мать он считал натурой щедрой и в этом отношении даже безумной.

Однажды она привела в дом двоих детей. Было воскресное дождливое утро, — мать рано ушла в магазин, а мальчик еще лежал в постели и сквозь дымку утрен-

него сна слушал, как дождь остервенело лупит по подоконнику. Левое ухо, прижатое к подушке, ничего не слышало, поэтому всю бестолковую грызню дождя с подоконником выслушивало правое ухо. Оно утомилось. Мальчик сполз вниз, под одеяло, и прикрыл правое ухо ладонью. Тарахтение дождя по подоконнику превратилось в сонное бормотание, наступила блаженная тишина. И в этой тишине мальчик услышал, как открыли входную дверь и мать отрывисто проговорила:

— Входите, входите!

Мальчик откинул одеяло и быстро сел в постели. Дождь грянул оглушительную свою песню.

— Какой сильный дождь! — сказала мать в прихожей. — Зайдите в комнату, дети.

И тут мальчик увидел их обоих. Они были неправдоподобно мокрыми, как будто кто нарочно долго вымачивал их в бочке с водой. Старший, мальчик одного с ним возраста — лет шести-семи, а девочка совсем малышка — ей едва ли исполнилось три года. Она таращила по сторонам черные, как у галчонка, глаза и слизывала с губ капли дождя, бегущие по лицу с налипших на лоб спутанных кудрей. У обоих прямо на босые ноги были надеты калоши.

Мальчик сидел на постели в теплой пижаме и молча смотрел на незнакомцев.

— Драстытэ, — робко выдавил старший из них.

Мать наткнулась на недоумевающий взгляд мальчика и скороговоркой объяснила:

— Это дети молочницы... Она молоко по квартирам разносит... а они... вот... под дождем... Бидоны стерегут, дурачки... Как мокрые галки... Раздетые, разутые... Кому нужны эти бидоны, черт бы ее по-

брал! Раздевайтесь! — скомандовала она и распахнула дверцы шкафа.

Она хватала с полок одежду мальчика и бросала на тахту — колготки, рубашки, свитер. Потом помедлила и сняла с вешалки его прошлогоднюю дождевую куртку.

— Вот, — сказала она.

Принесла из ванной полотенце и стала растирать им девочку. Та стояла безучастно, как болванчик, продолжая слизывать с губ капли, катящиеся по лицу. Ноги и руки у нее были красные, жесткие, в цыпках.

— Драстытэ... — еще раз еле слышно проговорил ее брат, очевидно, это было единственное русское слово, которое он знал.

В разгар сцены переодевания явилась баба Шура, соседка. В отличие от мальчика, она сразу сообразила, что происходит, и с минуту стояла, молча наблюдая, как мать натягивает колготки на влажные еще ноги девочки. Баба Шура не была здесь посторонней, она любила и мальчика, и его мать, болела за них душой, во многом помогала и во все вмешивалась. Насчет свитера она промолчала, но, когда мать стала завязывать в узел совсем еще приличные вещи мальчика, в том числе куртку, баба Шура не выдержала.

— Ты что это вытворяешь, а?! — сурово спросила она. — Ты своего голым-босым хочешь оставить?

— На своего заработаю! — огрызнулась мать.

— Дура! Эта молочница тыщами ворочает! Что смотришь на ихние галоши, они в своей махалле всю зиму босиком бегают, они так привыкли.

— Ладно, баба Шура! — отрывисто сказала мать. — Какие там тыщи, господи!

— Ты сколько ишачишь на эти шмотки, а? Мало? Всю ночь машинка долдонит за стеной. Мало?! Ну давай, давай, сними с ребенка последнее.

— Все, баба Шура! — спокойно отрезала мать.

— Давай, давай, бешеная... Невменяемая! — Баба Шура повернулась и ушла к себе — беречь нервы.

А мать негромко сказала сыну:

— Если тебе не жалко, подари им какую-нибудь свою игрушку.

Мальчику было жалко, но он понимал, что это один из тех случаев, когда он не сможет послушаться. Иначе между ними произойдет что-то ужасное, непоправимое. В такие минуты он особенно остро чувствовал ее волю, чувствовал: она — магнит, он — крупинка.

Он прошлепал на кухню, волоком притащил оттуда картонный ящик с игрушками и сказал, ни на кого не глядя:

— Вот... Берите что хотите...

Но мать и тут не пощадила его:

— Выбери сам. Что-нибудь поинтересней. Вон тот автомобиль!

Это было сознательным насилием, он чувствовал это, чувствовал сердцем, напрягшимся затылком, руками, упрямо не желающими расставаться с любимой игрушкой. Автомобиль был подарен отцом совсем недавно, мальчик не успел еще до конца насладиться его зеленой лакировкой, упругими шинами, мигающими фарами. Автомобиль ездил вперед и назад, он поворачивал в любую сторону, стоило только

кнопку нажать на пульте управления. Что это был за автомобиль!

— Ну, — сказала мать.

Он молча сунул автомобиль чужому мальчишке! Тот покорно прижал его к груди обеими руками и опять прошептал:

— Драстытэ...

— Не «здравствуйте», а «спасибо»! — тихо и враждебно поправил мальчик.

Его душили обида, ревность, злость, не хватало еще разреветься при этих истуканах!

Когда мать вышла проводить детей, он юркнул под одеяло и тихо заплакал. Не было во всем мире ни одной родной души, а были кругом только насилие и равнодушие. Она там внизу, должно быть, обнимает этих чужих детей, которые толком и спасибо-то сказать не могут, она заботилась о них, а родной сын ей — тьфу! — пусть лежит одинокий где-то там, неизвестно где...

Мать вошла в комнату, прилегла рядом и сказала, поглаживая его вздрагивающий затылок:

— Сегодня же купим точно такой автомобиль...

Тогда он затрясся в рыданиях, сладкая, исступленная жалость к себе — обездоленному, одинокому — сжала горло, и он едва смог выговорить, икая:

— Такого... Уже... Не будет...

— Будет, — спокойно сказала мать. — Мы купим все автомобили в магазине, но ты у меня вырастешь человеком. А если не человеком, то я убью тебя собственными руками!

И они обнялись и лежали так долго-долго, пока оба случайно не уснули, и проспали до двенадцати часов...

Недели уже три он ходил в школу, в первый класс. Этой перемены в жизни они с матерью побаивались, а оказалось — ничего, жить можно. Еще в начале июня сделали глубокий рейд по магазинам, купили всякой всячины — ранец, форму, рубашки к ней голубые, три штуки, да еще шуры-муры: тетради, пенал, линейки, счетные палочки — словом, целое хозяйство. Мать прямо в магазине помогла ему надеть ранец, и он ехал так домой через весь город. Три раза место в автобусе уступал, кому — не помнил. Школьники всегда уступают.

А когда по лестнице домой поднимались, баба Шура дверь открыла и встала как вкопанная; сделала такое дурацкое остолбенелое лицо, как будто генерал в подъезд вошел.

— Ой, что это за ученик?! — закричала она.

— Это я — ученик! — сияя от счастья, сказал он.

Тогда баба Шура притянула его к себе за щеки и звучно поцеловала — сначала в одну, потом в другую, потом опять в одну. Как будто он издалека приехал.

Первые дни в школе он чувствовал себя очень одиноким. Все дети сразу освоились и знали все — где буфет, где актовый зал, где туалет. А он как-то ничего не знал, а спрашивать у других не умел и в первый день даже чуть не описался, хорошо, что мать рано пришла, он ей шепнул жалобно про свою беду, и они выскочили из школы как угорелые и приткнулись за углом, где были частные гаражи.

В буфете надо было толкаться. Он попробовал один раз, но неудачно: его толкнули, монета вылетела из рук, какой-то громила из третьего класса быстро наклонился за ней и громко сказал: «Ура! Нашел двад-

цать коп!» Мальчик промолчал, отошел и всю перемену проплакал.

После уроков начиналась продленка — он ходил в группу продленного дня. Учительница вела их строем в столовую, потом строем в спальню, потом строем в актовый зал, где они ходили по кругу в затылочек под музыку Шаинского. Это называлось «ритмика». Музруководительница стояла в центре круга и выкрикивала:

— Левой три притопа! Правой три притопа! Ле-
вой: раз-два-три! Правой: раз-два-три! Из круга не вы-
ходить!

Голубой вагон бежит — ка-ча-ет-ся! —
Скорый поезд набирает ход... —

пел Крокодил Гена мягким интеллигентным голосом.

Ах, зачем же этот день кон-ча-ет-ся!
Пусть бы он тянулся целый год!

Нет, мальчику не хотелось, чтобы этот день тянул-ся целый год. Ему хотелось, чтобы скорее пришла мать. Он послушно притопывал правой и притопы-вал левой и все время, вытягивая шею, смотрел на дверь актового зала.

Когда наконец в дверях появлялась мать, в живо-те у него делалось горячо, а в глазах — цветно, жизнь всплескивалась, как золотая рыбка из пучины мор-ской. Он продолжал топтаться под музыку, но уже совсем по-другому, потому что видел конец всему это-му и хорохорился перед матерью — вот, мол, как он танцует вместе со всеми и не хуже всех. Мать только сдержанно кивала ему. Она на людях не любила изо-бражать телячьи нежности.

И учительница попалась хорошая — Татьяна Владимировна, — молодая и ласковая, ее все сразу полюбили, девчонки лезли к ней под руки и ссорились, кто пойдет сегодня с правой стороны, кто с левой.

Мальчику учительница нравилась тоже, хотя и представлялась однозначной, как цифра «5», такой ровной и плоской, как монета. Вот мать была объемной: и круглой и с углами, и шершавой, и гладкой, и тихой, и громкой — в матери столько всего было понаверчено!

Учился он, как ему казалось, хуже всех. Не клеилось у него с этими палочками в тетради, с этими кружочками и крючочками. Все шло вкривь и вкось. Мать в вопросе учебы держалась со свойственной ей непоследовательностью. Когда шли из школы и он жаловался ей на непослушные палочки и крючки, она говорила: «А, плюнь! Чепуха! Получится», — но вечером, когда садились делать уроки, он открывал злополучные «Прописи», она присаживалась помогать, постепенно входила в азарт и начинала орать так, что у него в ушах звенело:

— Стой!! Куда ты эту черточку повел!! Я сказала — левее! Не заводи ее за поля!! Куда ты, к чертовой матери, дел завиток у «в»? Ремень возьму!..

Вечера были бурными. Терпения у матери набиралось ровно на копейку. Он переживал это проклятое время с мужеством стойка, потому что после приготовления уроков до сна оставалось еще два часа, и тогда стоило жить на свете.

Едва захлопывался осточертелый «Букварь», у мальчика и у матери лица становились одинаково устало-умиротворенными. Тяжкий ежеднев-

ный груз был доволочен до цели и с облегчением сброшен.

— Ты чего сейчас будешь делать? — спрашивал мальчик.

— Посуду мыть, борщ варить, — устало говорила мать.

— Ну ладно, я буду посуду вытирать, а ты мне что-нибудь расскажешь.

Мать надевала фартук неохотно и одновременно покорно, как подставляет шею под хомут лошадь.

— Ну, что тебе рассказать?

— Про бабу Шуру, — просил он.

— В третий раз, — не удивляясь, уточняла мать. Она уважала его страсть — слушать по многу раз полюбившиеся истории, сама перечитывала любимые книги.

— Ну вот, значит, когда началась война... Подайка, пожалуйста, нож... — Он бросался к столу, молча подавал ей нож, только бы она не отвлекалась больше. — ...Когда война началась, баба Шура с мужем жили на границе, в местечке Черная Весь, под Белостоком. Муж был офицером, пограничником, в первый же день войны его и убили. И осталась баба Шура вдовой в двадцать один год, с двухлетней Валькой на руках..

— С тетей Валею, — шепотом объяснял себе мальчик.

— И прошла она беженкой через весь Западный фронт с нашей армией. Сколько раз их в пути бомбежка настигала! Однажды вот так налетели «мессеры», загнали их в придорожный лесок. А Валька, маленькая, оглохла от взрывов, перепугалась, вырвала ручонку и бежать... Баба Шура за ней. А солдат какой-

то закричал на них матом, швырнул на землю, сам рядом повалился. А кругом так и громяхают снаряды, комья земли летят. Потом стихло маленько, видит баба Шура — солдат поднимается и руками за живот держится. А из живота у него внутренности вываливаются. Стоит он, смотрит на бабу Шуру безумными глазами и кишки руками поддерживает... А то еще однажды, после бомбежки, позвал ее один солдат, просит перевязку сделать. Смотрит баба Шура — а у него вся спина рваная. А он совсем юный мальчик, красивый такой, интеллигентный, говорит: «Прошу вас, возьмите себя в руки и сделайте перевязку...» Баба Шура сняла комбинацию, порвала ее на полоски, сделала ему перевязку.

— Жив остался? — с надеждой спрашивал мальчик в который раз, и мать в который раз отвечала:

— Кто ж его знает... Отвезли в госпиталь, а там — неизвестно...

Про того, с вываливающимися кишками, мальчик спрашивать боялся, знал: плохой будет ответ...

— Столько беды навидалась, что сердце тяжелым стало, как камень. Думала — ничто теперь не удивит... Однажды ехали на грузовиках по дороге. Немцы только что отбомбились, улетели, на обочинах убитых беженцев видимо-невидимо, и хоронить некому.

И видит баба Шура: лежит в траве у дороги молодая мать, мертвая, а рядом с ней ребенок месяцев девяносто. Нашел мамкину грудь, сосет, а молока нет, вот он и орет, будит мать. А она лежит себе и в небо смотрит.

Не выдержала баба Шура, прыгнула с грузовика, схватила ребенка и назад, в машину...

— Это был дядя Виталий?

— Ну да, дядя Виталий... Ты же обещал посуду вытирать, а сам не вытираешь! Разве это справедливо?

Мальчик молча хватал полотенце, начинал судорожно вытирать чашку, только бы мать рассказывала дальше...

— А пробиралась баба Шура к родным мужа, свекру и свекрови. И когда наконец добралась — ободранная, голодная, с двумя детьми, — те ее в штыки встретили. Мол, неизвестно, с кем ты второго прижила, знать тебя не хотим, самим жрать нечего, а тут ты еще на нашу голову свалилась.

И осталась баба Шура одна в чужом городе — податься некуда, сама разута-раздета, дети есть просят, кричат... Встала баба Шура на крутом берегу реки, вниз глянула, и сердце ее оборвалось; прижала детей к себе и думает: «Все равно с голоду помрем! Вот так глаза зажмурить и прыгнуть туда вместе с ними!» А маленький Виталька словно почувал что-то, уперся ей в грудь ручонками, захныкал: «Мама... Не няня... Не няня...»

— Не прыгнула? — широко открыв глаза, с надеждой спросил мальчик.

— Вот дурацкая башка, конечно, не прыгнула! Ты думай: разве сейчас были бы на свете Валя и Виталий? Разве привозил бы тебе Виталий всякие камни из экспедиций?

— Да, — соглашался он и для себя, чтобы окончательно успокоиться, повторял шепотом: — Не прыгнула, не прыгнула...

— Ну ничего, потом на завод устроилась, паек стала получать, чужие люди ее приютили... Тифом вот только заболела очень сильно. В больнице лежала... Все думали, что умрет. Когда кризис наступил, в бреду

села на постели, косы распустила — густейшие были косы, черные — и запела сильным голосом песню, которую сроду не знала:

Отворите окно, отворите,
 Мне недолго осталось жить!
 Еще раз на свободу пустите,
 Не мешайте страдать и любить...

Все металась в бреду, просила, чтобы косы не стригли, боялась, что в гробу будет некрасивая лежать... Куда там, все равно остригли... Потом они отросли, косы, но уже не такие густые, как прежде...

Мать снимала фартук, насухо вытирала тряпкой кухонный стол и ставила на него пишущую машинку. Это значило, что мальчику теперь — спать, а ей — работать.

Он лежал под теплым стеганым одеялом. За окном зловеще дыбился горбатыми ветвями терновник, окаянное дерево. Буква Я в сплетении веток шагала, шагала, конца не было ее пути... «Отворите окно, отворите, мне недолго осталось жить...» сильным голосом неизвестную песню... И косы остригли, не пожалели. Какие там косы, когда у всей страны кишки вываливались... Мать там за стеной стучит, стучит... Сгинет когда-нибудь эта многоголовая, хвостатая, когтистая Левая Работа? «Отворите окно, отворите...» Отворите окно...

...В субботу днем, часа в три, за ним приходил отец. Мальчик ждал его с тайным нетерпением. Отец был праздником, отец — это парк, качели, аттракцион «Автокросс», мороженое в стаканчиках, жвачки сколько

душа пожелает, карусель и никаких скандалов. Но от матери надо было скрывать это радостное нетерпение, как и все остальное, касающееся его отношений с отцом. О, здесь мальчик был тонким дипломатом.

— Давай я оденусь и буду встречать его во дворе, — предлагал он матери небрежно-скучающим тоном. При ней он никогда не произносил ни имени отца, ни слова «папа».

— Успеешь, — хмуро бросала она, выглаживая его рубашку. Он помалкивал, боялся ее раздражать. Встретаться с отцом во дворе было несравненно удобнее, чем здесь, при матери. Во-первых, не нужно им лишний раз сталкиваться, от этого одни неприятности. Мать вообще опасна при таких встречах, да и отец, несмотря на свою выдержку, нет-нет да срывается на выяснение каких-то дурацких вопросов. Например, в прошлый раз, когда мальчик не успел выйти во двор к положенному часу и отец позвонил в дверь, завязался между ними отрывистый нервный разговор о его, мальчика, воспитании. Слово за слово — и напряглась, налилась свинцовой ненавистью мать, негромко и враждебно цедил сквозь зубы отец:

— Ну что ты смыслишь в воспитании, ты хоть Спока читала?

— Нет! Зато я читала, чего ты не читал — Чехова и Толстого!..

Непонятные слова, непонятный разговор. Две холодные враждебные стороны, и он между ними — изнывающий и бессильный...

Да, лучше было встречать отца во дворе. Тогда и встреча бывала совсем другой. Можно было побежать к отцу со всех ног, в его распахнутые большие

руки, вознестись вверх, к отцовским плечам, и прижаться щекой к его губам. При матери он никогда не позволял себе этого, знал, что ей будет больно. Вообще сложный это был день — суббота. Нужно было улаживать, устраивать все так, чтобы и той не причинить боль, и того не обидеть. И во всех этих запутанных отношениях умудриться и для себя урвать хоть капельку приятного.

А приятное начиналось сразу же, за углом дома, едва они с отцом поворачивали к метро. Приятное начиналось с отцовских карманов. Мальчик уже ждал этой минуты и поглядывал на отца заговорщицки. И отец поглядывал на него.

— А ну-ка глянь, что у меня в кармане водится! — наконец говорил он, хитро прищуриваясь.

Мальчик запускал руку в огромный отцовский карман и с восторгом вылавливал оттуда: свистульку, жвачку, надувной шарик, три конфеты.

— Ура-а!

Все это можно было найти и дома, если покопаться в картонном ящике для игрушек, но — нет, все было не таким, все не то... И закручивалась карусель субботних удовольствий. Отодвигалось все — дом, мать, уроки на понедельник, баба Шура, дворовые приятели... Крутилась зеленая в красных яблоках пролетка на деревянном круге, отец крепко держал его за плечи, и веселье захлестывало их пестрой лентой... Вечером они добредали до отцовской квартиры, отец стелил мальчику на диване, раздевал его, сонного и тяжелого, и тут, в мягкой подушке, тонула праздничная, буйная, зеленая в красных яблоках суббота.

С утра в воскресенье он уже начинал скучать по матери. Сидел за столом, рисовал, раскрашивал цветны-

ми карандашами книжку-раскраску и представлял, что сейчас делает мать. Может, стучит на машинке, может, стирает, а может, она пошла в магазин, встретила по пути Борьку — тот всегда в воскресенье болтается во дворе — и разговорилась с ним? Мальчик застывал на секунду при этой мысли, чувствуя, как ревность вдруг прильнула к сердцу и отпрянула, а ожог остался и ноет... А вдруг она рассказывает Борьке какую-нибудь историю, точно так, как ему? Про пиратов или про мамонтенка? Может, даже она погладила Борьку по голове? А он сидит здесь и раскрашивает дурацкую книжку?! А вдруг к ней пришел сейчас какой-то знакомый, и они пьют чай и разговаривают, а он сидит здесь и ничего не знает?!

— Ну что, будем собираться? — говорил он отцу небрежно-скучающим тоном. — А то стемнеет...

— Ты что, сынок! — удивлялся отец. — Только двенадцатый час, куда ты рвешься? Мы так редко видимся... Ну чем тебя занять? Сказку рассказать? Про медведя и зайчика.

Мальчик терпеливо, чтобы не обидеть отца, выслушивал многолетнюю сказку про медведя и зайчика. Потом они играли в железную дорогу, смотрели телевизор, обедали — отец жарил яичницу — и наконец начинали собираться.

Мальчик лежал на диване, подперев кулаками подбородок, и наблюдал, как отец бреется перед большим зеркалом. Тот брился тщательно, дотошно, как делал все. Изнутри подпирал языком щеку, тянул шею, оттягивал пальцами кожу на висках...

Вообще отец очень нравился мальчику. Он был большой и красивый. И не сутулился, и ходил легкой размашистой походкой.

— Когда я вырасту, я тоже стану бриться, — сказал мальчик задумчиво.

— М... Угу... — промычал отец, выбривая кожу под носом.

— Вообще, когда я вырасту, я... Очень вырасту, — добавил мальчик уверенно. Себя уверял.

— Обязательно, — подтвердил отец. — Ты будешь очень высоким. У нас в роду коротышек нет.

«У нас в роду!» Много бы мальчик отдал, чтобы выяснить наконец, где находится это самое «у нас в роду»? Когда он жаловался матери на неполадки в школьных тетрадях, мать отмахивалась: «Получится! У нас в роду тупых нет». Интересно, где же, в какой стороне света это благополучное и счастливое «у нас в роду»? Получалось, мать и отец вроде как земляки, а вот не сроднились, не вышло у них...

Отец завязал красивый галстук, надел пиджак и стал искать что-то на письменном столе.

— Ого! — сказал он, наклонившись над рисунком мальчика. — Да ты уже замечательно рисуешь! Это что здесь?

— Это война, — пояснил мальчик.

— Смотри-ка, и танки, и самолеты. А это что за кляксы?

— Бомбы летят.

— Молодец... А солнышко почему не нарисовал, вот здесь, в углу?

— На войне солнца не бывает, — сказал мальчик.

Отец усмехнулся и взъерошил ему волосы:

— А ты у меня философом стал... Раньше времени...

Раньше времени! На них не угодишь. Одна твердит: «Думай, думай обо всем!» Он удивляется: «О чем думать?» «Обо всем! — упрямо твердит она. — Обо всем,

что видишь!» Другой третий год сказку про медведя и зайчика рассказывает...

Когда уже спускались по лестнице, отец вдруг хлопнул себя по карманам пальто и сказал:

— Ах ты, черт, сигареты забыл! Сынок, они в верхнем ящике письменного стола. Сбегай, милый! На ключ.

Мальчик помчался наверх, перепрыгивая через ступеньку, запыхавшись, отворил дверь и подбежал к столу. Пачка сигарет лежала в верхнем ящике, на чьей-то фотографии. Мальчик взял сигареты и вдруг увидел, что это фотография матери. Мать на ней получилась веселая, с длинными волосами. На обороте отцовской рукой написано: «Мариша...» В первый миг мальчик захотел взять фотографию, объяснить отцу — я забрал карточку, где веселая Марина, она ведь тебе больше не нужна, — но потом подумал, тихонько положил карточку на место и задвинул ящик...

— Дверь захлопнул? — спросил его отец.

— Захлопнул... — глухо ответил мальчик. От метро они пошли не обычной своей дорогой, а в обход, мимо киоска «Союзпечать». Отец давно обещал ему купить значки с собаками. Он купил три значка, с собаками разных пород, и мальчик сразу же нацепил их рядом на куртку. Потом поднял глаза и увидел возле магазина старого знакомого — нищего. Тот стоял, как обычно, одной рукой опираясь на палку, другой протягивая кепку, и смотрел в землю, как всегда, безучастно. Бросишь ему монетку, он вскинет голову, как лошадь: «Доброго здоровьица!» — и опять в землю уставится... Мальчик встрепенулся:

— Папа! Дай деньгу!

— Зачем? — спросил отец.

— Я нищему подам!

— Этого еще не хватало — алкоголиков поить!

— А мы с Мариной всегда подаем, — сказал мальчик и пожалел, что сказал. Сразу насупился, и уши покраснели. Мать — это была мать, другая сторона, и незачем задевать ее в разговоре.

— Узнаю село родное... — пробормотал отец сквозь зубы.

Мальчик подумал, что мать, наверное, уже сидит во дворе на лавочке, ждет его. Она всегда выходила его встречать, наверное, волновалась — как он и что... Не сиделось ей в квартире.

— Давай здесь попрощаемся, — сказал он отцу.

— Почему? Я тебя до подъезда провожу...

Так и есть, мать сидела на лавочке, смотрела в ту сторону, откуда они появились. Поднялась и осталась так стоять.

— Ну, дай я тебя поцелую, — сказал отец. — Будь здоров.

Мальчик не потянулся к нему, чтобы не обидеть мать, только подставил щеку. Отец сказал:

— На той неделе возьму билеты в цирк. Ну, иди.

Мальчик пошел, стараясь не ускорять шаги, чтобы не обидеть отца. Даже обернулся и помахал ему — отец стоял и смотрел вслед. Мать тоже смотрела на мальчика, не в лицо, а повыше, в вихор, выбившийся из-под шапочки.

Когда он наконец подошел, она молча взяла его за плечи, и они зашли в свой подъезд.

В прихожей она так же молча, с окаменевшим лицом помогла ему размотать шарф и направилась в кухню.

— Что случилось? — крикнул он вслед.

— Я была в парикмахерской... — тихо сказала мать из кухни. — Парикмахер сказал, что у меня полголовы седая. Я поняла, что жизнь кончена, и купила себе финское платье.

— Где купила? — уточнил мальчик. Его раздражала манера матери сумбурно выразиться. — В парикмахерской, что ли?

— Нет, в ГУМе...

— А-а!.. — сказал он. — Покажи, где оно?

— Да вот же, на мне!

— А-а... Хорошо... Красиво...

Он обнял ее сзади, за пояс, прижался лицом к спине. Он быстро рос, и в этом году уже доставал ей до лопаток.

— Не бойся, Марина, — сказал он в зеленую шелковистую ткань. — Когда я стану бриться, я на тебе женюсь...

— Вот спасибо! — сказала она. — А теперь, пожалуйста, ешь быстрее и иди спать.

— Опять Левая Работа?!

...Он медленно раздевался в комнате. Стянул через голову рубашку, помахал длинными пустыми рукавами, искоса поглядывая на стену — там бесновалась немая рубашкина тень, — и, вздохнув, сел на постели. Так хотелось рассказать матери про карусельную субботу! Про то, как в «Автокроссе» они все время догоняли синюю машину, в которой сидели усатый дядька с рыжим пацаном, а потом с грохотом наехали на них, и все вместе долго хохотали. Но нет, нельзя, нельзя...

Он приплелся на кухню и сел на табурет, возле матери.

— Ну?.. — спросила она, исправляя что-то ручкой на отпечатанном уже листе.

— Ты знаешь, какой бандит Сашка Аникеев?! — возмущенно спросил мальчик.

— Ну-у...

— Он говорит ужасные слова. Например — сука, вот какое ужасное слово!

— Нормальное слово, — пробормотала мать, — если по делу.

— Он не по делу! Да нет, ну ты не веришь, а он говорит настоящие материнские слова!

— О господи! — вздохнула мать и стала заправлять в машинку очередной белый лист. — Ну, еще какие новости?

— Он дразнится на каждой перемене, что я втрескался в Оксанку Тищенко.

— А ты втрескался?

— Да, — признался мальчик.

— Тогда по морде! — посоветовала мать.

— Я не могу — по морде, — сказал он.

— Почему?

— Морда глазами смотрит...

— А-а... Тогда выкручивайся как знаешь... Ну, все?

— Нет... — Он помялся... — Знаешь, Сашка говорит, что я — еврей, — выговорил он наконец, пристально глядя на мать.

— Да. Ну и что?

— Марина, я не хочу быть евреем... — признался он.

— А кем ты хочешь быть? — хмуро осведомилась она.

— Я хочу быть Ринатом Хизматуллиным. Мы сидим с ним за одной партой, он хороший мальчик.

— Вот что, — сказала мать. — Я тебе про все объясню, только завтра, понял?

— Почему завтра?

— Долгий разговор. Много сил отбирает. Понял? А теперь марш спать!

Он посидел еще тихонько, слушал, как тарыхтит машинка, поковырял пальцем дырку в колготках, попросил:

— Марина, займись со мной...

— «Займись мной», — поправила мать машинально, не отрывая взгляда от машинки.

— Займись мной, — послушно повторил он.

— Отстань, — сказала она на той же ноте. И вдруг подняла на него глаза, отложила в сторону лист и тихо сказала: — Ты хочешь, чтобы мы летом поехали к морю?

— Ага! — оживился он.

— Для этого я должна стучать на машинке. Я зарабатываю деньги; мы летом сядем с тобой на поезд и поедем к морю.

— И наши соломенные шляпы возьмем? — радостно спросил он.

— Возьмем шляпы.

— И ты будешь лежать на пляже, а я буду сыпать тебе на спину песок тонкой струйкой?

— Тонкой струйкой...

— А потом я сяду на твою горячую спину и мы поплывем далеко-далеко?

— Далеко-далеко... — сказала мать и отвернулась к окну.

Мальчик понял, что она плачет, и ушел в комнату, чтобы не мешать.

...Уже засыпая, он опять пришел во двор с отцом, и мать встречала его. Он шел от отца к матери, словно плыл от одного берега к другому. Трудно плыл, как против течения. Мальчик чувствовал, что отец смотрит в спину, а мать смотрит в вихор, выбившийся из-под шапочки. О чем думали эти двое?

За окном сгустилась темень, и не видать было терновника, и не видать было, как шагает в неизвестные дали самостоятельная и отважная буква Я...

ЛЮДМИЛА
ПЕТРУШЕВСКАЯ



СВОЙ КРУГ



Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных, румяных губах, всегда ко всем с насмешкой. Например, мы сидим у Мариши. У Мариши по пятницам сбор гостей, все приходят как один, а кто не приходит, то того, значит, либо не пускают домашние или домашние обстоятельства, либо просто не пускают сюда, к Марише, сама же Мариша или все разъяренное общество, как не пускали долгое время Андрея, который в пьяном виде заехал в глаз нашему Сержу, а Серж у нас неприкосновенность, он наша гордость и величина, он, например, давно вычислил принцип полета летающих тарелок. Вычислил тут же, на обороте тетради для рисования, в которой рисует его гениальная дочь. Я видела эти вычисления, потом посмотрела совершенно нахально, на глазах у всех. Ничего не поняла, белиберда какая-то, искусственные построения, формально взятая мировая точка. Не для моего, короче говоря, понимания, а я очень умная. То, что не понимаю, того не существует вообще. Стало быть, ошибся Серж со своей искусственно взятой мировой точкой, причем он же давно не читает литературу, надеется на интуицию, а литературу читать надо. Открыл тут новый принцип работы паровоза с КПД в 70 процентов, опять небывалые вещи. С этим принципом начали его вывозить в свет, туда-сюда, на капичник, к академику Фраму, академи-

ку Ливановичу, Ливанович первый опомнился, указал первоисточник, принцип открыт сто лет назад и популярно описан в учебнике на такой-то странице мелким шрифтом для высших заведений, КПД тут же оказался снижен до 36 процентов, результат фук. Тут все равно ажиотаж, образовали отдел у Ливановича, нашего Сержа ставят завом, причем без степени. В наших кругах понимающее ликование, Серж серьезно задумался над своей жизнью, те ли ему ценности нужны, решил, что не те. Решил, что лучше останется у себя в Мировом океане, все опять в шоке: бросил карьеру ради воли и свободы, в Мировом океане он простой рядовой младший научный сотрудник, ему там полная свобода и атлантическая экспедиция вот-вот, давно намечающаяся, с заходами в Ванкувер, Бостон, Гонконг и Монреаль. Полгода моря и солнца. Хорошо, выбрал свободу, там, в его кровном детище с КПД 36 процентов отделе, уже набрали штат, взяли заведующим бездаря кандидата наук, все забито, они начали трудиться не спеша и вразвалочку, то в буфет, то в командировку, то курят. За Сержем ездят консультироваться, вернее, сначала ездили, два раза, Мариша смеялась, что в Мировом океане не знают уже, кого за кого принимать, какого-то Сержа, мэнээса, все время у них из-под носа утаскивают на консультации. Но потом это быстро прекратилось, те вошли в колею, дело ведь непростое, дело не в принципе, а в иной технологии, ради которой ломать существующее производство, не нужно электричество, все возвращается в век пара, все псу под хвост. Таким образом, вначале вместо прогресса летит к черту вообще все, как всегда. А все это пробивает один отдельчик в пять душ, там у нас устроилась лаборанткой одна знакомая, Ленка Мар-

чукайте, приходит, приносит утешительные новости, что кандидат наук вот-вот рождает ребенка на стороне, на него готовится письмо тех родителей, на работе он в полной отключке, орет по телефону, а комната одна, и ни о какой энергетике нет слов. Пока готовят проект решения по передаче им опытно-испытательного верстака в подвале института на три часа ночного времени. Но Сержу эта воля и свобода обернулась гораздо хуже, пришло время оформляться с анкетами в экспедицию, он в анкете написал, что беспартийный, а в год поступления в Мировой океан написал в анкете же, что член ВЛКСМ. Обе записи сравнили, выяснилось, что он самостоятельно выбыл из рядов комсомола, даже не встал в Мировом океане на учет в комсомольскую организацию, итога не заплатил членских взносов за много лет, и выяснилось, что это не поправишь ни взносами, ничем, и в океан его не пропустила комиссия. Все это, придя, рассказал тот же Андрей-отщепенец, и его оставили со всеми пить водку, и он в порыве сказал, чтобы ему никто ничего не говорил, он за включение в экспедицию стал стукачом, но стучать обязан только на корабле, на суше он не нанимался. И действительно, Андрей ушел в океан, а пришел оттуда — привез из Японии маленький пластиковый мужской член. Почему же такой маленький, а потому, что не хватило долларов. А я сказала, что это Андрей привез для дочери. А Серж сидел печальный, хоть ему и дана была полная свобода, весь институт ходил в океан, а он с небольшим составом лаборантов осуществлял отправку, переписку и прием экспедиции в Ленинграде. Однако это было давно и неправда, кончились те дни, когда Серж и Мариша совместно тосковали о Серже и стойко держались,

кончились все дни понимания, а наступило черт знает что, но каждую пятницу мы регулярно приходим, как намагниченные, в домик на улице Стулиной и пьем всю ночь. Мы — это Серж с Маришей, хозяйка дома, две комнаты, за стеной под звуки магнитофона и взрывы хохота спит стойко воспитанное дитя, дочь Соня, талантливая, своеобразная девочка-красавица, теперь она моя родственница, можете себе представить, но об этом впереди. Моя родственница теперь также и Мариша, и сам Серж, хоть это смешной результат нашей жизни и простое кровосмешение, как выразилась Таня, когда присутствовала на бракосочетании моего мужа Коли с женой Сержа Маришей, — но об этом после.

Значит, вначале было так: Серж с Маришей, их дочь за стеной, я тут сбоку припека, мой муж Коля — верный, преданный друг Сержа; Андрей-стукач сначала с женой, Анютой, потом с разными другими женщинами, потом с постоянной Надей; дальше Жора — еврей наполовину по матери, о чем никто никогда не заикался, как о каком-то его пороке, кроме меня: однажды Мариша, наше божество, решила похвалить невзрачного Жору и сказала, что у Жоры большие глаза — какого же цвета? Все говорили кто желтые, кто светло-карие, а я сказала еврейские, и все почему-то смутились, и Андрей, мой вечный недруг, крикнул. А Коля похлопал Жору по плечу. А чего, собственно, я сказала? Я сказала правду. Дальше: с нами всегда была Таня, валькирия метр восемьдесят росту, с длинными белокурыми волосами, очень белыми зубами, которые она маниакально чистила три раза в день по двадцать минут (час — и ваши зубы будут белоснежными), а также с очень большими серо-голубыми глаза-

ми, красавица, любимица Сержа, который ее иногда гладил по волосам, очень сильно напившись пьяным, и никто ничего не понимал; а рядом сидела Мариша как ни в чем не бывало, а я сидела тут же и говорила Ленке Марчукайте: «Почему ты не танцуешь, потанцуй с моим мужем Колей», — на что в ответ все грубо хохотали, но это уже был самый закат нашей общей жизни.

Тут же была Ленка Марчукайте, девка очень красивая, бюст пятого размера, волосы длинные русые. экспортный вариант, двадцать лет. Ленка вначале вела себя как аферистка, каковой она и была, работая в магазине грампластинок. Она втерлась Марише в доверие, рассказав ей о своей тяжелой жизни, потом хапнула у нее большую сумму и ходила с этим долгом как ни в чем не бывало, потом исчезла, вернулась без четырех передних зубов, отдала деньги Марише («Вот видите?» — победно сказала Мариша) и сказала, что лежала в больнице, где ее приговорили, что у нее не может быть детей. Мариша еще более ее полюбила, Ленка у нее только что не ночевала, но без зубов это уже было другое, не экспортное исполнение. Ленка с помощью Сержа устроилась лаборанткой в его 36-процентном отделе, вставила себе зубы, вышла замуж за еврейского мальчика-диссидента Олега, который оказался сыном известной косметички Мэри Лазаревны, и в этой богатейшей семье Ленка была некоторое время как бы нашим лазутчиком, со смехом рассказывала, какая у Мэри спальня, какие шкафы, за каждый из которых можно прожить жизнь в долларах, и что Мэри подарила ей еще. Мэри баловала Ленку и говорила, что ее кожа — это естественное богатство. Кожа у Ленки была действительно редкой природной

тонкости, белый жир и красная кровь давали небывалое сочетание даже в разное время дня, все равно как закат или восход, а губы у нее вообще были красные как кровь. Такая же кожа бывает сплошь у всех детей, у моего Алешки, например. Но Ленка обращалась с собою пренебрежительно, бегала по разным притонам, как вертихвостка, себя не ценила и наконец объявила, что ее Олег уезжает со всеми своими через Вену в Америку, а она не поедет — и не поехала, разошлась с Олегом, стала отличаться тем, что, придя в дом, тут же садилась к кому-нибудь из мужчин на колени и прекрасно себя чувствовала, а бедные наши мальчики, хоть мой Коля, хоть стукач Андрей, криво при этом ухмылялись. Только Сержу она не рисковала садиться на колени, Серж был неприкосновенным, да еще тут же находилась Мариша, обожаемая Ленкой, и над Маришей смеяться Ленка не могла, как она смеялась над всеми нами и над молодой женой Андрея-стучака, которая вспыхнула и ушла на кухню, когда Ленка плюнулась на колени к Андрею, ничего при этом не подразумевая. Эта жена Надя была еще моложе Ленки, ей вообще было восемнадцать лет, а дать ей можно было пятнадцать, худая, тонкая, рыжая, испорченная по виду школьница, на это только и мог клюнуть Андрей, который давно был известен благодаря болтливости своей казенной жены Анюты как полный импотент, которому ничего не нужно. Испорченная-то Надя испорченная, но вышла замуж и стала баба бабой, открывает пасть эта нимфетка и поет: то-то она сварила, так-то Андрей пил и она его не пускала больше пить, то-то они купили. Единственное, что при ней осталось от ее испорченности и извращенности, — это выпадающий глаз, который при каких-то неловких

движениях выскальзывал из орбиты и вываливался на щеку, как яйцо всмятку. Страшное, должно быть, зрелище, но Андрей с этим носился, возил Надю, державшую глаз на ладони, в больницу, там им этот глаз вправляли, и вот в эту ночь Андрей, я думаю, бывал на высоте. И с предыдущей, Анютой, Андрей жил ради волнующих моментов ее припадков, когда он возил ее, закутанную в одеяло, в «скорых помощах» из больницы в больницу, пока не выяснилось, что у нее так называемая ядовитая матка. Эта ядовитость Анютиной матки имела хождение в нашем кругу, и на Анюте и Андрее лежала печать обреченности. У всех у нас уже были дети, у Жоры трое, у меня Алеша, и стоило мне не появиться в доме Сержа и Мариши недели две, как по рядам проходила весть, что я рожаю в роддоме: так они шутили над моим телосложением. У Тани был сын, известный тем, что во младенчестве ползал по матери и сосал то одну грудь, то другую, и так они и развлекались. У Андрея же и у Анюты детей быть не могло, и их было жалко, поскольку без детей как-то нелепо жить, и не принято было жить, самый-то эффект заключается в том, чтобы жить с детьми, возиться с кашами, детскими садами, а в ночь на субботу почувствовать себя людьми и загулять на полную мощь, даже вплоть до вызова милиции той, другой стороной улицы Стулиной. У Анюты же и у Андрея была обреченность, пока однажды Анюта вдруг не родила дочь, ни с того ни с сего, почти не изменившись! Ликование было полным, Андрей в ночь родов принес Сержу две бутылки водки, вызвали моего Колю и всю ночь пили, и Андрей сказал, что назовет свою дочь Маришей в честь Мариши, и Мариша была неприятно задета этой честью. Но делать нечего, не за-

претишь, и прихлебала Андрей назвал дочь Маришей. Но на этом праздник, а также семейная романтика закончились, и Андрей, надо думать, надолго забросил свои супружеские обязанности, а Анюта, наоборот, почувствовала свою обыкновенность, стала как все женщины, безо всяких припадков, и в связи с этим начала приглашать в течение год продолжавшегося декретного отпуска все новых и новых друзей, и тут Андрей ушел на ролях стукача в плавание, а вернувшись, нашел у себя дома целый рой знакомых, привлеченных, по-видимому, холостым состоянием Аютиной прежде ядовитой матки. Андрей нашел новую романтику в своем положении брошенного мужа, стал романтически приводить к Сержу и Марише отборных девушек, а Ленка Марчукайте нагло садилась ему на колени, как бы припечатывая его уже истощившиеся, сделавшие свое дело детородные органы. Это у нее была такая шутка и издевательство.

Она села как-то на колени и к моему Коле, Коля, худой и добрый, был буквально раздавлен весом Ленки и физически и морально, он не ожидал такого поворота событий и только держал руки подальше и бросал взоры на Маришу, но Мариша резко отвернулась и занялась разговором с Жорой, и вот тут я начала что-то понимать. Я тут начала понимать, что Ленка дала маху, и сказала:

— Лена, ты дала маху. Мариша ревнует тебя к моему мужу.

Ленка же беззаботно скрючила рожу и осталась сидеть на Коле, который совершенно завял, как сорванный стебелек. Тут, я думаю, началось охлаждение Мариши к Лене, которое и привело к постепенному исчезновению Ленки Марчукайте, особенно когда та

в конце концов родила мертвого ребенка, но это уже было потом. А в тот момент все в ответ как-то превеличенно захопотали, Таня чокнулась с Сержем, Жора наливал, подал навьюченному Коле и холодной Марише, Андрей галантно заговорил со своей душой Надюшей, которая победоносно смотрела на меня, жену придавленного мужа.

К Жоре Ленка Марчукайте, однако, садиться не рисковала никогда, это было небезопасно, поскольку Жора демонстрировал, как многие маленькие мужчины, постоянное сексуальное возбуждение и любил всех — Маришу, Таню и даже Ленку. Ленка, существо совершенно холодное, рисковала вызвать у Жоры покушение на изнасилование при всех, как это уже было с одной дамой Андрюши, притворявшейся в танце с Жорой жутко темпераментной, а с Жорой этого допускать было нельзя, и Жора, когда кончилась музыка, прямо схватил свою рослую даму за подмышки и поволок в соседнюю комнату как бы в беспамятстве, а в соседней комнате, это было хорошо известно, в эту ночь никто не спал, дочь Мариши и Сержа находилась у бабушки. Жора успел свалить ополоумевшую даму на маленькую кровать Сонечки, но пришли невольно усмехающиеся Серж и Андрей и оттащили Жору, и переполошенная дама одернула задравшееся в ходе борьбы платье. Событие вызвало жуткий смех на всю ночь, но, кроме того, все, кроме посторонней дамы, знали, что тут есть игра, что Жора все играет со студенческих лет в бонвивана и распутника, а на самом деле он ночами пишет кандидатскую диссертацию для своей жены и встает к своим троем детям, и только по пятницам он набрасывает на себя львиную шкуру и ухаживает за дамами, пока ночь.

Но осторожная Ленка Марчукайте, которая тоже играла в сексуальные игры с большим хладнокровием, не рисковала вызвать Жору на его привычную роль, это уже было бы слишком, два спектакля, это обязывало к какому-то завершению: Ленка сядет, Жора немедленно начнет лапать и так далее, а этого Ленка не любила, как, в сущности, не любил этого и Жора. Впрочем, Ленка Марчукайте была и прошла, как того захотела Мариша, была и исчезла, и когда я вспоминаю ее вслух и при всех, это звучит как очередная бестактность.

У меня все как-то перепуталось в памяти в связи с последними событиями в моей жизни, а именно в связи с тем, что я начала слепнуть. Десять ли лет прошло в этих пятницах, пятнадцать ли, прокатились чешские, польские, китайские, румынские или югославские события, прошли такие-то процессы, затем процессы над теми, кто протестовал в связи с результатами первых процессов, затем процессы над теми, кто собирал деньги в пользу семей сидящих в лагерях, — все это пролетело мимо. Иногда залетали залетные пташки из других, смежных областей человеческой деятельности, как-то повадился ходить на пятницы участковый милиционер Валера, человек, знающий самбо, заносчивый и упрямый. Дверь в квартиру не закрывалась по пятницам, прямо с тротуара три ступеньки и дверь; он пришел в первый раз, спросил у всех документы в связи с жалобой жильцов противоположного дома на улице Стулиной — на превышение шума после одиннадцати часов вечера и вплоть до пяти утра. Валера тщательно проверил у всех документы, вернее, проверил их наличие, потому что ни у кого из мальчиков паспортов не оказалось.

У девочек он не проверял, это в дальнейшем навело на мысль, что Валера кого-то искал, всю последующую неделю все оживленно и нервно перезванивались, все были жутко смущены, испуганы и горели огнем. Действительно, в нашу тихую обитель, в которой шумел только магнитофон, ворвалась какая-то опасность, мы оказались в центре событий из-за Валеры и проверки документов. К следующей пятнице все уже точно предполагали, что Валера ищет американского русского Левку, который уже год живет с закончившейся визой, скитаясь по частным квартирам и притонам, причем живет не из желания не возвращаться в Штаты, а просто прогулял срок, за что, ему сказали, по нашим законам полагается отсидка, и тогда он стал скрываться, и его все привечали с шумом и смехом, а у Мариши я его ни разу не видела, у соседей же Маришиных по дому, подозрительной компании, состоящей из двух вечных студенток без постоянной московской прописки и их разноплеменных сожителей, Левка-американец иногда ночевал на полу и один раз по случайности, как рассказывали студентки, придя за рублем, сломал целку дочери министра Нинке со второго курса факультета журналистики, так что Нинка проснулась вся в крови и потащила в панике отстирывать матрац на кухню, поскольку ванны в квартире не имелось. Левки же американца простыл и след, а Нина не имела претензий и теперь, говорят, в свою очередь, скиталась по всем притонам в поисках Левки, которому она отдала все, по русскому понятию. С тех пор, говорят, Левка не ночевал на улице Стулиной, и, таким образом, Валера даром приходил.

Однако Валера пришел опять в пять минут двенадцатого, пришел, чтобы выключить магнитофон;

магнитофон выключили и сидели, пили в тишине, и Валера сидел с непонятными намерениями, то ли он решил все-таки дожидаться Левку, то ли ему просто нужно было извести под корень нашу безобидную компанию, и он просто сидел и не уходил. Мариша, горячо убедившая всех, что все люди интересны, — у нее вечно ночевали какие-то подобранные с вокзалов, месяц жила женщина с годовалой парализованной девочкой, приехавшая в Институт педиатрии на консультацию без права госпитализации, — Мариша первой нашла ключ и стала вести себя так, что Валера — это несчастный и одинокий человек, в этом доме ведь никому незнакомому не отказывали в приеме, только редко кто решался навязываться. Мариша, а за ней и Серж стали возбужденно разговаривать с Валерой на разные темы, дали ему стакан сухого вина, подвинули черный хлеб и сыр, единственное, что было на столе, и Валера не увильнул ни от одного вопроса и ни разу не почувствовал никаких уколов самолюбия. Так, например, Серж спросил:

— Ты что, ради прописки в милицию пошел?

— У меня прописка еще раньше, — ответил Валера.

— Ну а чего ты служишь?

— Трудный участок, — ответил Валера, — я знаю самбо, самбист, но из-за травмы плеча не получил второго разряда еще в армии. В самбо, если тебя скрутят, то надо подать звуковой сигнал.

— Какой звуковой? — спросила я.

— Хотя бы, извиняюсь за выражение, кашлянуть или перднуть, чтобы не сломали руку.

Я тут же спросила, как это можно перднуть по заказу. Валера ответил, что он не успел подать звуковой сигнал и что ему вынесли руку из предплечья, а так

он имеет полный третий разряд. Потом, не переводя дыхания, Валера изложил свою точку зрения на существующий порядок вещей и на то, что скоро все изменится и все будет как при Сталине, и при Сталине вот был порядок.

Короче говоря, весь вечер у нас прошел в социологических исследованиях образа Валеры, и в конце концов то ли он все-таки оказался находчивей, то ли наша общая роль была пассивной, но вместо обычного анкетирования, как это у нас уже не раз бывало с залетными пташками типа проституток, приводимых Андреем, или с теми, кто, заинтересовавшись музыкой, останавливались под окном на тихой улице Стулиной и завязывали с нами через подоконник разговор и в конце концов влезали в комнату тем же путем и были затем вынуждены отвечать на целый ряд вопросов, — на сей раз дело повернулось иначе, и Валера, конкретно не касаясь своих служебных обязанностей, битый час громко поучал нас, как было при Сталине, и никто особенно ему не противоречил, все боялись, видимо, провокации, боялись высказать перед представителем власти свои взгляды, да и вообще это было у нас не принято — выражать свои взгляды, какое-то мальчишество, орать о своих взглядах, а тем более перед идиотом Валерой, ускользящим, непознанным, с неизвестными намерениями пришедшим и сидящим за бедным круглым столом в бедняцкой комнате Мариши и Сержа.

В двенадцать все, как оплеванные, поднялись и пошли, но не Валера. Валере то ли было негде провести ночь дежурства, то ли у него было четкое задание, но он сидел у Мариши и Сержа до утра, и Серж высказался, и это было потом передано массам через

Маришу по телефону, что это самый интересный человек, какого он встречал за последние четыре года, но это у него была защитная формулировка, и не более того. Серж целиком принял на себя Валеру, так как Мариша ушла спать на пол в комнату Сонечки, а вот Серж остался, как мужчина, и пил с Валерой чай из зверобоя, целый чайник мочегонного, причем Валера ни разу не отошел в уборную и убрался, только когда кончилось его дежурство по участку. Валера, видимо, не хотел оставить свой НП ни на секунду и совершил мочезадержательный подвиг. Со своей стороны, Серж тоже не отходил, опасаясь в свое отсутствие обыска.

Как бы там ни было, та пятница была пятницей пыток, и мы все сидели не в своей тарелке. Ни Ленка Марчукайте ни разу не уселась на колени ни к кому, тем более к Валере, ни Жора ни разу не крикнул в форточку прохожим школьницам «девственницы», только я все спрашивала, как это самбисты научаются пердеть, — усилием воли или специально питаюсь. Мне хватило этой темы на целый вечер, поскольку Валера единственно чего избегал — это именно этой темы. Он как-то морщился, уклонялся от темы, ни разу больше не произнес слова «перднуть» и невзлюбил меня, как все, с первого взгляда и навеки. Но крыть ему было нечем, это слово, видимо, не значится в неопубликованном списке тех слов, за произнесение которых в публичном месте сажают на пятнадцать суток, тем более что Валера сам первый его произнес! И я одна встревала в тот умственный разговор, который с помощью наводящих вопросов затеял Серж, надеясь все-таки вознестись на позиции насмешливого наблюдателя жизненных явлений, за

какое жизненное явление мог бы сойти Валера, но Валера плевать хотел на отеческие вопросы Сержа, а пер напролом и говорил опасные для своего служебного положения вещи насчет того, что в армии многое понимают и недолго всем вам тут гулять и что хозяин придет.

— Но все-таки, — встревала я, — это в армии учат пердеть? Но вы не научились, я вижу, потому что не смогли вовремя перднуть и не получили разряда.

— В армии такие ребята, такой техсостав, — продолжал Валера, — у них в руках техника, у них в руках все, знающие ребята, и у них есть в голове.

Серж же спрашивал, к примеру, часто ли приходится дежурить ночью и где дали комнату. Мариша спрашивала, женат ли Валера и есть ли дети, тоном своей обычной доброты и участливости. Таня, наша валькирия и красавица, только тихо ржала и комментировала вполголоса, нагнувшись над стаканом, особенно яркие реплики Валеры, и адресовалась все время к Жоре, как бы поддерживая его в этой трудной ситуации, где он, полуеврей, но чистый еврей по виду, предъявил Валере паспорт (у него единственного был паспорт на этот раз), который Валера вслух зачитал: Георгий Александрович Перевошиков, русский!

Да, в этот свой второй визит Валера опять спрашивал паспорта и опять проверил паспорт у Сержа, и опять не получил паспорта ни у Андрея, ни у моего Коли, ни у случайно забредшего на эту опасную вечеринку постороннего — редко бывавшего в Москве христианина Зильбермана, который был жутко напуган и предъявил вместо паспорта свой старый студенческий билет, по каковому студенческому он вечно получал железнодорожные билеты со скидкой. Ва-

лера отобрал у Зильбермана билет, просто положил в карман, и Зильберман смылся, спросив громко, где тут туалет. Валера, хоть и угрожал вначале отвести Зильбермана вплоть до выяснения личности, не сделал вслед ни шагу, а мы все сидели и мучились, как же теперь бедный Зильберман будет бояться и трястись, и к его положению прибавится еще положение находящегося на крючке. Но, видимо, Зильберман не был нужен Валере.

Мне было интересно, как поведет себя стукач Андрей, но Андрей тоже повел себя осторожно и сдержанно. Как только выключили магнитофон, Андрей потерял возможность танцевать с кем ему хотелось, а танцевал он капризно, иногда вообще не танцевал, а его жена Надя, обабившаяся до последней степени, несмотря на свой вид испорченного подростка, сидела в это время тоже как истукан и задним числом ревновала, так вот, Андрей сел со своей Надей. А у Нади отец был полковник на взлете, и все речи Валеры, как младшего состава, Надя воспринимала только сквозь призму того, что на вопрос Сержа, какой ему присвоили все-таки чин, Валера ответил, что многие бы хотели, чтобы не присвоили, а ему присвоили сразу лейтенанта. Надя сразу освоилась одна среди всех, стала ходить взад-вперед, повела Андрея звонить какой-то Ирочке и потом вообще увела Андрея, и Валера никак не отреагировал. Возможно, если бы мы все ушли, он бы все равно остался, здесь была его «точка», а возможно, и нет.

Мы с Колей на сей раз не потратились на такси, а успели после метро на автобус и приехали домой как люди и обнаружили, что Алешка не спит в полвторого ночи, а сидит осоловевший перед телевизором, экран

которого горит впустую. Это было наше первое ночное возвращение с пятницы — не утреннее, — и мы увидели, что Алешка тоже по-своему празднует эту ночь, а он, когда его я укладывала, сказал, что боится спать один и боится гасить свет. Действительно, свет горел везде, а ведь раньше Алешка не боялся, но раньше ведь был дед, а недавно дед умер, мой отец, а моя мать умерла три месяца перед тем, за одну зиму я потеряла родителей, причем мать умерла от той болезни почек, какая с некоторых пор намечалась и у меня и которая начинается со слепоты. Как бы там ни было, я обнаружила, что Алешка боится спать, когда никого нет дома. Видимо, тени бабушки и дедушки вставали перед ним, мой отец с матерью воспитывали его, баловали его и вообще растили, а теперь Алешка остается один вообще, если учесть, что и я должна буду вскоре умереть, а мой добрый, тихий на людях Коля, который дома скучал или неприлично начинал орать на Алешку, когда тот ел вместе с нами, — Коля, видимо, собирался уйти от меня, причем уйти он собирался не к кому другому, как к Марише.

Я уже говорила, что над нашим мирным пятничным гнездом пролетели многие годы, Андрей из златоволосого юного Париса успел стать отцом, брошенным мужем, стукачом на экспедиционном корабле, опять законным мужем и обладателем хорошей кооперативной квартиры, купленной полковником для Надюши, и, наконец, алкоголиком; он все еще любил одну Маришу всю свою жизнь, начиная со студенческих лет, и Мариша это знала и ценила, а все другие дамы на его жизненном пути были просто замещением. И коронным номером Андреевой программы были танцы с Маришей, один-два священных танца в год.

Жора также вырос из охальника-студента в скромного, нищего старшего научного сотрудника в самой дешевой рубашке и брюках темно-серого цвета, отца троих детей, этакое будущего академика и лауреата без притязаний, но в нем всегда было и сидело в самом его нутре одно: любовь к Марише, которая любила всегда только Сержа и больше никого.

Далее, мой Коля тоже боготворил Маришу, они все как с цепи сорвались еще на первом курсе института по поводу Мариши, и эта игра все длилась до сих пор, пока не дошла до того, что Серж, которому досталась прекрасная Мариша, жил-жил с ней и вдруг нашел себе любимую женщину, еще со школьной скамьи, и однажды в праздник Нового года, когда все напились и играли в шарады, он сказал: «Пойду позвоню любимой женщине», — и все громом были поражены, ибо если мужчины любили Маришу и считали Сержа единственным человеком, то мы все любили Маришу и Сержа в первую голову, Серж всегда был у всех на устах, хотя сам мало говорил, это его так вознесла Мариша, которая любила его коленопреклоненно, то ли как мать, то ли как сподвижница, благоговела перед каждым его словом и жестом, потому что когда-то в свое время еще на первом курсе, когда Серж ее полюбил в числе прочих и предлагал ей жениться и спал с ней, она ушла от него, сняла комнату с неким Жаном, поддалась эротическому влечению, отказалась от первой и чистой любви Сержа, а потом Жан ее бросил, и она сама, своей властью пришла к Сержу, теперь уже навеки отказавшись от идеи эротической любви на стороне, сама предложила ему жениться, они женились, и Мариша иногда со священным восторгом проговаривалась, что Серж — это хрустальный

стакан. Я бы сказала ей теперь, чтобы она не спала с хрустальным стаканом, все равно не выйдет, а выйдет, так порежешься. Но тогда мы все жили какими-то походами, кострами, пили сухое вино, очень иронизировали надо всем и не касались сферы пола, так как были слишком молоды и не знали, что нас ждет впереди; из сферы пола весь народ волновало только то, что у меня был белый купальник, сквозь который все просвечивало, и народ потешался надо мной, как мог; это происходило, когда мы все жили в палатках где-нибудь на берегу моря, и сфера пола проступала также и в том, что Жора жаловался, что нет уборной и что в море дерьмо никак не отплывает. В остальном тот же Жора кричал про отдыхающих женского пола, что им нужен хороший абортарий, а Андрей романтически ходил на танцы за шесть километров в город Симеиз к туберкулезным девушкам, а Серж упорно ловил рыбу с помощью подводной охоты и так осуществлял свою мужественность, а ночами я все слушала, как из их палатки несется мерное постукивание, но Мариша была всю свою жизнь беспокойным существом с огнем в глазах, а это не говорило ничего хорошего о способностях Сержа, а мальчики все были на стреме по поводу Мариши и, казалось, хотели бы коллективно возместить пробел, да не могли пробиться. В сущности, этот сексуальный огонь, который пожирал Маришу, жрицу любви, в сочетании с ее же недоступностью, позволял столь долгое время держаться общей компании, поскольку чужая любовь заразительна, это уже проверено. Мы, девочки, любили Сержа и любили вместе с тем и Маришу, переживали за нее и так же, как она, раздираемы были на части, но по-своему — с одной стороны, любить Сержа и мечтать

заменить Маришу, с другой стороны, не мочь этого сделать из-за сочувствия Марише, из-за любви и жалости к ней. Короче говоря, все было полно неразделимой любовью Мариши и Сержа, неосуществимостью их любви, и на это клевали все, а Серж бесился, единственный, у кого были все права. Однажды эта язва прорвалась, хоть и не совсем, когда среди безобидных сексуальных разговоров за столом — это были разговоры чистых людей, способных поэтому говорить о чем угодно, — когда речь зашла о книге польского автора «Сексопатология». Это было нечто новое для всего нашего общества, в котором до сих пор каждый жил так, как будто его случай единственный, ни самому посмотреть, ни другим показать. Новая волна просвещения коснулась, однако, и нашего кружка, и я сказала:

— Мне рассказывали про книжку «Сексопатология», и там половой акт разделяется на стадии, супруги возбуждают друг друга, Серж, надо сначала, оказывается, гладить мочку уха у партнера! Это эрогенная зона, оказывается!

Все замерли, а Серж сказал тут же, что относится ко мне резко отрицательно, начал брызгать слюной и кричать, а мне что, я сидела как каменная, попавши в точку.

Но это было еще до того, как Серж нашел себе любимую женщину на своей же улице детства, встретил свою юношескую эротическую мечту, теперь полную брюнетку, как донесли некоторые осведомленные лица, и до того, как в квартиру на улице Стулиной стал регулярно приходить милиционер Валера и так бороться за тишину после одиннадцати часов вплоть до семи утра, и также это произошло до того, как

я стала постепенно обнаруживать, что слепну, и уже тем более до того, как я нашла, что Мариша ревнует моего Колю к Ленке Марчукайте.

Значит, во мгновение ока развязались все узлы: Серж перестал ночевать дома, отпали все пятницы, и начались такие же пятницы в безопасном месте, в комнате валькирии Тани, хотя и при участии ее сына-подростка, ревновавшего мать абсолютно ко всем. Далее подростка изолировали, отправляя его по пятницам вместе с девочкой Сонечкой на улицу Стулиной, по поводу чего я заметила, что детям полезно спать друг с другом, но на меня не обратили внимания, как всегда, а я говорила правду.

Вообще накатила какая-то волна бурной жизни в промежутках между пятницами: у Мариши погиб отец, как-то посетивший ее на улице Стулиной и на этой же улице в тот же вечер попавший под автомобиль в неполюженном месте, да еще, как показало вскрытие, в нетрезвом состоянии, поскольку отец Мариши сильно выпил с Сержем перед уходом домой. Все сплелось в этом страшном несчастном случае, то, что отец Мариши хотел по-мужски побеседовать с Сержем, зачем он бросает Маришу, и то, что разговор этот происходил вечером, когда Сонечка еще не спала, а Мариша и Серж скрывали от Сонечки, что Серж не ночует дома, Серж нежно укладывал Сонечку спать и тогда только уходил к другой, а утром так и так Соня всегда просыпалась в школу, когда Серж уже был в дороге на работу, а после работы, с шести до девяти, Серж отбывал вахту при дочери, занимался с ней музыкой, сочинял с ней сказки, и вот в этот-то елейный промежуток и внедрился расстроенный Маришин отец, который, кстати, сам давно уже жил с другой се-

мьей, имел большой печальный опыт и имел нового сына двадцати лет. Маришин отец выпил, безрезультатно наговорил бог знает чего и безрезультатно погиб под машиной тут же у порога дочернего дома на самой улице Стулиной, в тихое вечернее время в полдесятого.

У меня в тот же период тихо догорела мать, растаяла с восьмидесяти килограмм до двадцати семи, причем умирала она мужественно, всех подбадривала и меня тоже, и врачи под самый конец взялись найти у нее несуществующий гнойник, вскрыли ее, случайно пришили кишку к брюшине и оставили умирать с незакрывающейся язвой величиной в кулак, и когда нам ее выкатили умершую, вспоротую и кое-как зашитую до подбородка и с этой дырой в животе, я не представляла себе, что такое вообще может произойти с человеком, и начала думать, что это не моя мама, а моя-то мама где-то в другом месте. Коля не принимал участия во всех этих процедурах, мы ведь были с ним формально разведены уже лет пять назад, только оба не платили за развод, помирившись на простом совместном проживании как у мужа и жены и без претензий, жили вместе, как живут все, а тут он, оказывается, взял и заплатил за развод и после похорон так трезво мне предложил, чтобы и я заплатила, и я заплатила. Потом скончался мой насмерть убитый горем отец, скончался от инфаркта, легко и счастливо, во сне, так что я ночью, встав к Алешке прикрыть его одеялом, увидела, что папа не дышит. Я легла снова, долежала до утра, проводила Алешу в школу, а потом папу в больничный морг. Но все это было между пятницами, и несколько пятниц я пропустила, а через месяц была Пасха, и я пригласила всех прие-

хоть снова, как каждый год, к нам с Колей. Раз в год на Пасху мы все собирались у нас с Колей, я готовила вместе с мамой и папой много еды, потом мама и папа брали Алешку и отправлялись к нам на садовый участок за полтора часа езды, чтобы сжечь палую листву, прибраться в домике и что-то посадить, — и там, в неотапливаемом домике, они и ночевали, давая моим гостям возможность всю ночь есть, пить и гулять. И на этот раз все было так же, и чтобы все было так же, я сказала Алешке, что он поедет один на все тот же садовый участок и переночует там, другого выхода не было, он был уже взрослый, семь лет, дорогу знал прекрасно, и я еще предупредила его, чтобы он ни в коем случае не возвращался и не звонил в дверь. И он отправился, одинокий странник, а мы как раз утром в это воскресенье были с ним на могиле бабушки с бабушкой, он впервые был на кладбище и таскал воду мне в ведре, мы посадили на могилах маргаритки. Он должен был начинать с этих пор новую жизнь, мы пообедали наскоро хлебом с колбасой, сыром и чаем — из того, что предполагалось на праздничный стол, и Алеша отправился без отдыха дальше на садовый участок, а я стала делать тесто для пирогов с капустой, больших средств у меня теперь не было. Пирог с капустой, пирог с маминым вареньем, салат картофельный, яйца с луком, свекла тертая с майонезом, немного сыра и колбасы — сожрут и так. И бутылка водки. В сущности, я зарабатывала немного, от Коли ждать не приходилось, он чуть ли не вообще переехал жить к своим родителям, а в редкие моменты посещения кричал на Алешу, что тот не так ест, не так икает, не так сидит и роняет крошки на пол, и в заключение орал, что тот все время смотрит теле-

визор и вырастет черт-те чем, не читает ничего, сам не рисует. Этот бессильный крик был криком зависти в адрес Сонечки, которая пела, сочиняла музыку, была в Гнесинской музыкальной школе, куда конкурс один к тремстам, много читала с двух лет и сама писала стихи и сказки. В конечном итоге Коля любил Алешу, но он бы его любил гораздо больше, если бы ребенок был талантливый и красивый, блестящий в учебе и сильный в отношениях с товарищами. Тогда бы Коля любил его гораздо больше, а так он видел в нем себя самого и бесился, особенно бесился, когда Алеша ел. У Алеши были плоховатые зубы, в семь лет еще не выросшие как следует впереди, Алеша еще не освоился со своим сиротством после дедушки с бабушкой и ел рассеянно, большими кусками и не жуя, роняя на штаны капли и крошки, беспрестанно все проливал и в довершение начал мочиться в постель. Коля, я думаю, вылетел как пробка из нашего семейного гнезда, чтобы не видеть своего облитого мочой сына, на тонких ногах дрожащего в мокрых трусах. Когда Коля в первый раз застал, проснувшись от Алешиного плача, это безобразие, он саданул Алешу прямо по щеке ладонью, и Алеша легко покатился обратно на свою мокрую, кислую постель, но он не очень плакал, поскольку чувствовал даже облегчение, что вот его наказали. Я только усмехнулась и вышла вон и пошла на работу, оставив их расхлебывать. В этот день у меня было исследование глазного дна, которое показало начинающуюся наследственную болезнь, от которой умерла мама. Вернее, доктор не сказала окончательного диагноза, но капли прописала те самые, мамины, и назначила те же самые анализы. Все начиналось теперь у меня, такие были дела, до того

ли мне было, что Алеша мочится в постель и что Коля его ударил? Предо мной открылись новые горизонты, не скажу какие, и я начала принимать свои меры. Коля ушел, я вернулась домой и не застала Колиных носильных вещей, остальное все он благородно оставил, надо ему отдать справедливость, и вот наступила Пасха, я испекла пироги, раздвинула стол, застелила его скатертью, расставила тарелки, рюмки, салаты, колбасу и сыр, хлеб, было даже немного яблок, мать-терина подруга подарила, принесла кулек редких по весеннему времени яблок и крашенных яиц, и я отнесла часть на кладбище, покрошила птицам на дощечку, и мы с Алешей тоже поели. Помню, что кругом в оградах стояли люди, возбужденно разговаривали, пили на воздухе, закусывали, у нас еще сохранились эти традиции пасхальных пикников на кладбищах, когда кажется, что все обошлось в конце концов хорошо, покойники лежат хорошо, за них пьют, убраны могилки, воздух свежий, птицы, никто не забыт и ничто не забыто, и у всех так же будет, все пройдет и закончится так же мирно и благополучно, с бумажными цветами, фотографиями на керамике, птичками в воздухе и крашеными яйцами прямо в земле. Алеша, мне кажется, поборол свой страх, сажал со мной рассаду маргариток все смелей и смелей в этой земле, почва у нас в Люблине чистая и песчаная, родителей я сожгла, только кубки с пеплом стояли в глубине, ничего страшного, все позади, и Алеша бегал и поливал, а потом мы сходили помыли руки и ели яйца, хлеб и яблоки, а остатки разложили и покрошили, как это делали на других, соседних могилах многочисленные посетители. И когда мы ехали домой, в автобусе и метро все хоть и были под банкой, но какие-то друж-

ные, благостные, словно заглянули в загробный мир и увидели там свежий воздух и пластмассовые цветы и дружно выпили за это дело.

Так что вечером этого дня, одна и свободная, я дождалась слегка смущенных своих ежегодных гостей, которые явились все как один, потому что Мариша не могла не прийти, она очень смелая женщина и благородных кровей, а остальные пришли благодаря ей, и Серж был тут же, и мой бывший теперь уже муж Коля точно с такими же, как у Алеши, разрушенными зубами, Коля пришел и отправился на кухню разгружать все, что они принесли, а принесли они уже сваренную картошку с укропом и огурцы, а также много вина с перспективой на всю ночь. А почему бы им было и не погулять, когда пустая чужая квартира и есть еще щекотливое обстоятельство, то есть как я восприму приход моих новобрачных родственников Коли и Мариши, поскольку они только что вчера расписались, так все и было, и тут же был Серж, немножко более нетерпеливый, чем обычно, к выпивке, они с Жорой тут же пошли обмывать все происшедшее, Ленки Марчукайте давно не было и в помине, говорят, она ходила где-то с затянутой теплым платком грудью, кто-то ее видел в метро после рождения мертвого ребенка, она не жаловалась, только пожаловалась, что молоко пришло. Так вот, Андрей-стучач поставил пластинку, Надя, его малолетняя, стала изображать из себя опять семейную бабу и рассказала мне, сколько алиментов платит Андрей и что ему бесполезно даже писать диссертацию, так все и уйдет на алименты, а когда они кончатся? Через четырнадцать лет, когда Наде стукнет тридцать три года, и только тогда можно будет родить ребенка уже своего. Вошла

Таня-валькирия, радостно сверкая зубами и глазами, и я ее спросила, вместе ли положили Сонечку и ее мальчика, вместе им будет удобнее, а Таня в ответ на это, как всегда, тихо заржала, показав еще больше свои большие-пребольшие зубы, а Мариша, наоборот, не в пример прошлым годам обозлилась, когда я спросила:

— А чем они там занимаются?

— Вот тем и занимаются, — ответила радостная Таня.

— Тебе хорошо, у тебя мальчик, а Марише хуже, Мариша, ты уже научила Сонечку предохраняться?

— Не беспокойся, научила, — ответила Мариша и присоединилась к тихому ржанию Тани, хотя я, по своему обыкновению, сказала истинную правду.

— А что такое? — спросила Надя, у которой один глаз вот-вот готов был выскочить из орбиты.

— Надя, — сказала я, — это правда, что у тебя один глаз вставной?

— Она всегда такая, — сказала сияющая Таня бедной Наде, а тут вставил свое слово Андрей-стукач:

— Я к тебе отношусь резко отрицательно! — заявил он, вспомнив формулировку Сержа, но я не обратила внимания на Андрея-стукача.

Пришли из кухни Серж с Жорой, уже податые, а мой Коля явился из бывшей нашей спальни, не знаю, что уж он там делал.

— Коля, ты уже отобрал себе простыни лучше? — спросила я и поняла, что попала в самую точку. Коля покачал головой и покрутил пальцем у виска, благодаря чему в это свое посещение он не взял ни одной штуки постельного белья, спасибо моей проницательности.

— Мариша, тебе есть на чем спать с моим мужем? Ты ведь часть простынь выделила Сержу, я понимаю. А у меня все простыни застиранные, прошлый раз Коля первый раз в жизни собрался стирать белье и бросил его в кипяток, и все пятна на простынях, весь белок заварил, теперь они проступают в виде облаков.

Тут все они засмеялись дружным, довольным смехом и сели за стол. Моя роль была сыграна, дальше сыграл свою роль Серж, который косноязычно, туманно и гнусаво стал спорить с Жорой об общей теории поля некоего Рябикина, причем Серж яростно нападал на Рябикина, а Жора его снисходительно защищал, а потом якобы неохотно сдался и согласился, и в Серже впервые проступил неудачливый, непроявившийся ученый, а в затырканном Жоре впервые проявилось восходящее светило науки, ибо ничто так не выдает личного успеха, как снисходительность к братьям.

— Ты, Жора, когда докторскую защищаешь? — спросила я его наугад, а Жора клюнул и немедленно ответил, что во вторник предзащита, а защита — когда подойдет очередь.

Все на мгновенье приумолкли, а потом стали пить. Пили все до полного затмения. Андрей-стукач вдруг стал жаловаться на райисполком, который не разрешает им трехкомнатную на двоих, а Надин папа стал генералом и бушует, валит Наде подарок за подарком, и машина ей уже на мази, и трехкомнатный кооператив, только бы Наде поступить учиться, а не рожать ребенка.

— А я хочу рожать, — сказала Надя упрямо, но никто не поддержал темы.

Короче говоря, разговор за столом не склеился, Коля с Маришей тихо переговаривались я знаю о чем — о том, чтобы он забрал прямо сейчас свои остальные вещи и куда надо будет эти вещи сложить, пока идет обмен Маришиной квартиры на комнату для Сержа и малогабаритную двухкомнатную квартиру, чтобы Сонечке было где отдельно заниматься музыкой на скрипке, а Сержу было бы где жить с брюнеткой, а моему мужу было бы где жить с Маришей. А может быть, они шептались о том, что лучше отдать мне их двухкомнатную, а самим поселиться в моей трехкомнатной квартире и начать размен.

— Мариша, тебе понравилось в моей квартире? — спросила я. — Может быть, вы поселитесь здесь, а мы с Алешей будем жить где скажете? Нам с Алешей много не нужно, и вещи берите.

— Дура, — сказал Андрей громко, — набитая дура! Мариша только и думает, чтобы ничего у нее не забирать, дура!

— Но почему же, берите! — сказала я. — Мне одной много не надо, Алеша ведь идет в детский дом, я уже устраиваю и хлопочу. В город Боровск.

— Пряма, — сказал Коля, — еще чего.

— Пошли-ка отсюда, этот спектакль выдерживать... — сказал Андрей-стукач и даже стал решительно подниматься вкупе со своей Надей, но остальные не шелохнулись, им важно было довершить суд до конца.

— Я устраиваю его в детдом, вот анкета, — сказала я и, не вставая, достала из-за стекла книжной полки анкету и заполненные бланки.

Коля их взял посмотреть и порвал.

— Наглая же дура, — сказал Андрей. Я откинулась на стуле:

— Пейте, ешьте, сейчас принесу пироги с вареньем и капустой.

— Ладно, — сказал Серж, и они стали снова пить, Андрей поставил пластинку, а Серж подошел к своей чужой жене Марише и пригласил ее танцевать. Мариша вспыхнула, как приятно было видеть ее вороватый взгляд, направленный в мою сторону, почему-то именно в мою! Вот я уже и стала мерилком совести, бормотала я, ставя на стол пирог с капустой.

Тут все завертелось, осуществился праздник их любви, все дружно орали, пели, как им было весело, а Коля, оставшись не у дел, подошел ко мне и спросил: а где Алеша?

— Не знаю, гуляет, — сказала я.

— Так уже первый час ночи! — сказал Коля и пошел в прихожую.

Я ему не мешала, но он не стал одеваться, а по дороге завернул в уборную и там надолго затих, а в это время Марише стало плохо, она перепила и не нашла ничего лучшего, как вывеситься в окно кухни и сблевать свеклой прямо на стену, как это выяснилось на следующий же день из слов пришедшего техника-смотрителя дома.

Пироги, окурки, разграбленные салаты, огрызки и половинки яблок, бутылки под диваном, Надя, которая навзрыд плакала и держалась за глаз, и Андрей, который держал на руках Маришу и танцевал с ней, — это был тот самый знаменитый один акт в год, который они совершали после того, как Мариша выдала меню на мой дом, а Надя видела это первый раз в жизни и была этим делом испугана до потери глаза.

Потом Андрей собрался и строго собрал Надю, дело шло к закрытию метро, Серж и Жора дружно

одевались, Коля вышел из уборной и, плохо соображая, лег на диван, но его поднял Жора и повел, сзади шествовала радостная Таня, и я наконец открыла дверь им всем, и они все увидели Алешу, который спал, сидя на ступеньках.

Я выскочила, подняла его и с диким криком «Ты что, ты где!» ударила по лицу, так что у ребенка полилась кровь и он, еще не проснувшись, стал захлебываться. Я начала бить его по чему попало, на меня набросились, скрутили, воткнули в дверь и захлопнули, и кто-то еще долго держал дверь, пока я колотилась, и были слышны чьи-то рыдания и крик Нади:

— Да я ее своими руками! Господи! Гадина!

И кричал, спускаясь по лестнице, Коля:

— Алешка! Алешка! Все! Я забираю! Все! К едреней матери куда угодно! Только не здесь! Мразь такая!

Я заперлась на засов. Мой расчет был верным. Они все, как один, не могли видеть детской крови, они могли спокойно разрезать друг друга на части, но ребенок, дети для них святое дело.

Я прокралась на кухню и выглянула в окно, поверх полузатертой Маришиной блевотины. Мне недолго было ждать. Вся компания вывалилась из парадного. Коля нес Алешу! Это было триумфальное всеобщее шествие. Все возбужденно переговаривались и ждали еще кого-то. Последним вышел Андрей, стало быть, это он держал дверь. Когда он вышел, последний прикрывавший фланги, Надя выкрикнула ему навстречу: «Лишение материнства, вот что!» Все были в ударе. Мариша хлопотала с носовым платком над Алешей. Пьяные голоса разносились далеко по округе. Они даже поймали такси! Коля с Алешей и поддерживаю-

щая их Мариша, спотыкаясь, влезли на заднее сиденье, спереди сел Жора. Жора, видимо, будет платить, подумала я, как всегда, точно, и Жоре это по дороге, он так и так всегда ездит на такси. Ничего, доберутся.

В суд они не подадут, не такие люди. Алешку будут прятать от меня. Его окружают вниманием. Дольше всех романтически будут любить Алешку Андрей-стучач и его бездетная жена. Таня будет брать Алешку на лето к морю. Коля, взявший Алешу на руки, уже не тот Коля, который ударил семилетнего ребенка плашмя по лицу только за то, что тот обмочился. Мариша тоже будет любить и жалеть маленького гнилозубого Алешу, не проявляющего талантов даже в малой степени. И богатый в будущем Жора подкинет от своих щедрот и средств и, глядишь, устроит Алешу в институт. Другое дело Серж, человек в целом мало романтический, человек сухой, циничный и недоверчивый, — но этот кончит сожительством с единственным по-настоящему любимым им существом, с Сонечкой, сумасшедшая любовь к которой ведет его по жизни углами, закоулками и темными подвалами, пока он не осознает ее полностью, не бросит всех женщин и не будет жить ради одной-единственной, которую сам породил. Такие случаи также бывали и бывают. Вот это будет заправка и занятие для маленькой толпы моих друзей, но это будет не скоро, через восемь лет, а Алеша за эти годы успеет набрать сил, ума и всего, что необходимо. Я же устроила его судьбу очень дешевой ценой. Так бы он после моей смерти пошел по интернатам и был бы с трудом принимаемым гостем в своем родном отцовском доме. Но я просто, отправив его на садовый участок, не дала ему ключ от садового домика, и он вынужден был вернуться, а стучать в дверь я ему

запретила, я его уже научила в его годы понимать запреты. И вот вся дешево доставшаяся сцена с избие-нием младенцев дала толчок длинной новой романти-ческой традиции в жизни моего сироты Алеши, с его благородными новыми приемными родителями, ко-торые свои интересы забудут, а его интересы будут блюсти. Так я все рассчитала, и так оно и будет. И еще хорошо, что вся эта групповая семья будет жить у Але-ши в квартире, у него в доме, а не он у них, это тоже замечательно, поскольку очень скоро я отправлюсь по дороге предков. Алеша, я думаю, приедет ко мне в первый день Пасхи, я с ним так мысленно догово-рилась, показала ему дорожку и день, я думаю, он до-гадается, он очень сообразительный мальчик, и там, среди крашенных яиц, среди пластмассовых венков и помятой, пьяной и доброй толпы, он меня простит, что я не дала ему попроситься, а ударила его по лицу вместо благословения. Но так лучше — для всех. Я ум-ная, я понимаю.

ЙОКО ОНО



И если есть на свете справедливость, то вот она, налицо: сидит девочка, вылитая Йоко Оно, бровки взлет и лицо в тех же очках, явно косит под Йоко Оно, во всех смыслах косит, выглядит как японка; она и есть хазарка из старинного народа хазар, ее бабушка, короче, была хазарка, и мать была рождена таковой же от хазарина, а теперь ее нет, этой матери, у девочки Йоко. В семнадцать лет эта мать бросилась с балкона, не бросилась, а перелезла через перила и повисла, медленная смерть через повешение через перила. Мать и сестра прибежали и схватили ее за руки, но тут она решительно выскользнула из их рук, потные у всех были ладони, не удержалось это их тройное сцепление; а ее дочь, девочка Йоко, валялась еще в коляске, так была мала.

Почему она ускользнула из их рук, ясно, обиделась. Она пила со своих четырнадцати лет, а хазарам пить нельзя. Там, где русский выживет, остановится, хазарин продолжит до гибели, такое было мнение у пьющих русских, у крепкого окружающего хазар народа, крепкого на выпивку. То есть как (объясняла матери этой погибшей девушки-матери ее взрослая подруга Оля, сама полукровка), то есть как: покоренные сибирские и степные народы как огня должны бояться водки, водка есть истребитель слабого, старинного, древнейшего генофонда, водка это генетический СПИД, посмотри — Африку и Азию косит СПИД, а наши древние народы валит с корня водка.

Погибшую мать нашей Йоко Оно звали Ира (Земфира), и ее как раз скосила водка, а также мать и сестра, мать-то была красавица, умница и талант из элиты этого древнейшего царства, мать занималась искусством и ездила в экспедиции по сбору образцов народного творчества, у нее были то поездки, то конференции, то выставки, то гости ночь за полночь, то переговоры, то стажировки на месяцы в Москву, а муж-хазарин пил и погиб еще раньше, талантливый режиссер; девочки, Ира и Зоря (Зарема), тоже талантливые, рисовали и пели. Но в результате жили одни, в свои одиннадцать и десять, потом четырнадцать и тринадцать лет, и тут начались дворовые компании, на девочек сильно повлияла детская элита микрорайона, самые физически развитые подростки, которые быстро подхватывают образ жизни окружающей среды, т.е. не образ жизни родителей, а общепринятый, общенациональный, общегородской, то есть общий ритм и движение. А ритм такой, что надо веселиться, пока мы молоды, тут гремит музыка, танцуют по телевизору без ничего, в винном отделе ритмично гремят бутылки, все собираются в группы и весело курят и пьют, сочетаются браками здесь же, и только отщепенцы из детей, ботаники, ботаны, ботва, учат уроки, согнувшись над учебниками, а вот умные дети веселятся.

Эти девочки, Ира и Зоря, так и веселились, мать приезжала каждый раз, а дочери дикие, домой ночевать не приходят, и старшая пятнадцатилетняя Ира в одно из таких возвращений матери после первого же ее слова «А почему» вывернулась и уехала в Москву, якобы на зимние каникулы явилась к маминной подруге («Можно к вам, тетя Оля, мама уехала в экспедицию» — «Разумеется, можно, Ирочка»), и Ирочка

живет, тихо сидит смотрит телевизор, готовит суп, убирает, встречает с работы тетю Олю в фартучке, клеенка накрыта салфеткой, ужин готов, а потом проходит пять-семь дней, и юная Ира просится погулять («Можно я пойду погуляю» — «Конечно, Ирочка, пройдишь по воздуху, в четырех стенах просидела, у тебя каникулы») — и Ира уходит на трое суток и возвращается пьяная, внизу стучит счетчиком такси («Я приехала на такси, тетя Оля, дайте, пожалуйста, столько-то») — а по белому сапогу течет кровь, порезала ногу (и срочно вернулась на такси). Тетя Оля позвонила на всякий случай по межгороду домой матери Иры, и обман и самозванство вскрылись, разгневанная мать потребовала дочь домой. Тетя Оля отвезла обманщицу на вокзал и на свои деньги купила ей билет и проследила, чтобы поезд отошел.

Там, в тот приезд, в Москве, Ира и забеременела и, пребывая на родине, в сентябре родила. Мать Иры, хазарка Катя, после скандала с младшей дочерью, которая в честь рождения племянницы лежала дома пьяная, эта Катя пошла в роддом с запиской «иди куда знаешь», грех, конечно, но теперь дела не поправишь. Катя имела в виду, что пьянство младшей дочери не есть ли результат влияния старшей, которая достукалась до родов в шестнадцать лет.

Ира же, наоборот, не бросила своего младенчика, но и не вышла из роддома, мотивируя это тем, что мать не принимает. Был позор на весь город. Ира самочинно переговорила с юристкой роддома, составила какое-то заявление и сдала через месяц месячную девочку в дом ребенка, сама устроилась в этот же дом санитаркой и вернулась к матери с победой. То есть теперь она работала, ребенка домой не внесла, но и от ребенка не отказалась.

Ира изменилась, стала серьезной, берегла молоко, в свободные от дежурства выходные все равно два раза в сутки бегала кормить дочку, а как же. И в питье знала меру.

Тут каким-то образом она позвонила, видимо, в Москву тете Оле все той же, дала один адрес и имя, с кем поговорить и что сказать. Тетя Оля, добрейшее существо, выполнила поручение, и на горизонте хазарской семьи возник московский мальчик двадцати лет, сначала в виде голоса по телефону, а затем и сам приехал жить, ребенка наконец принесли домой, и счастливая, хотя и пьющая молодая семья поселилась у хазарки-матери Кати и даже расписалась.

Катя была рада такому исходу, хотя новый зять нигде не работал и иметь четверых детей на руках вместо двоих оказалось довольно трудно. Она как-то изворачивалась, все время ездила в командировки, в доме стоял дым коромыслом, дворовые друзья Иры и Зори то и дело сидели в кухне и пили, и вдруг младшая дочь тоже оказалась с пузом, когда младенцу новобрачных исполнилось семь месяцев, то есть катастрофа: тоже будет ребенок и тоже в шестнадцать лет.

Подруга Оля, к которой несчастная Катя, почти дважды бабушка, в очередной раз приехала в командировку и с жалобой на судьбу, эта подруга Оля даже начала сплетать в утешение какую-то хитроумную сеть доказательств, что хазарки выходили замуж-то, то есть воспроизводили генофонд, очень рано раньше — но и русские тоже, вспомним того же Пушкина Евгения Онегина няню Татьяны — она вышла замуж в тринадцать лет, а муж был и того моложе, «мой Ваня».

Вспомнили Пушкина, поплакали за рюмочкой, хотя никакой Пушкин тут ни в какие ворота не лез, объясняй не объясняй разврат хоть старыми обычая-

ми, хоть хазарской наследственностью: еще бы вспомнить слова того же Пушкина о «неразумных хазарах»! Оля и сама признала, что у нее у самой внизу, во дворе, каждый вечер пьют представители русской национальности тоже до упора, молодые в подъезде, старшие у стола, где играют в домино. А совсем маленькие, как говорят данные газет, вообще пьют по чердакам и подвалам спрятавшись, хотя, к примеру, сама Оля, музейный работник по этнографии, пила мало в своем хорошем уже возрасте, ссылаясь на головную боль по утрам, у нее туго шло это дело, и семью она так и не завела. То ли дело Катя, которая пить умела и имела вон какую семью. Кстати, продолжали беседу подруги, и с Пушкиным не все тут совпадало, если взять возраст няни из «Онегина» и ее русскую национальность; т.е. не все русские рожали в тринадцать и не все хазары должны быть неразумными. Катя-то родила в двадцать и в двадцать один, как полагается, причем будучи замужем, и все историко-литературные, а также этнографические оправдания поведения и судьбы не играют никакой роли в каждом отдельном случае, примеры есть и в одну, и в другую сторону.

Так они поговорили над своими рюмочками, а живот Зори рос и рос, и когда мать Катя вернулась домой, то Зоря при всех, плача, закричала, что живет (сожительствует) с Ириным мужем Ильей и ребенок будет от него. По виду это была истерика беременной после очередного вопля матери насчет нестираного белья во всех углах, логики не прослеживалось никакой от восклицания до ответа, но сквозь интонации крика Зори прослушивалось еле заметное самодовольство. Тут разразился всеобщий стон, Илья сразу же ушел и уехал в Москву, обиженный до глубины души (а пропадите вы все тут вместе взятые), ушел

навек, муж двоих и отец двоих, и в полной, теперь уже не хазарской, а греческой традиции произошли трагедийные преждевременные роды, т.е. Зоря родила недоношенную девочку, причем с волчьей пастью. Звучит страшно, но суть простая, ребенок не может сосать молоко, у него не заросло что-то во рту, небо. В довершение всего дитя было слепое. Зоря оставила дочь в роддоме, и дальнейшая судьба этого младенца канула, как капля дождя, безымянно и сразу в почву, в ничто, растворившись среди других судеб брошенных детей-калек; тайна милосердно укрыла как могильным дерном все мысли, питание и прогулки слепого ребенка с волчьей пастью, а вот Ирочка не выдержала, бросилась с пятого этажа, перелезла в рыданиях через перила балкона, сначала размышляла, но когда прибежали сестра и мать, тут она и повисла. Руки у всех были потные, стояла хазарская жара, такое объяснение, и Ира ушла из их рук.

Что касается ее дочери-сиротки, то она взрастала у бабушки Кати, для чего эта молодая бабка перебралась в холодную Россию, в Подмосковье, устроилась работать через подругу Олю в музей, там Катю знали и ценили, и там она и умерла спустя тринадцать лет, то есть не на рабочем месте, а у себя в Подмосковье, какой-то странной смертью на глазах у внучки, от какого-то гриппа, причем в несколько часов, запретив девочке даже близко подходить (боялась, видимо, заразить).

И внучка послушно не подходила, сидела на кухне, пока в сумерках не затихло хриплое дыхание бабушки Кати, мамы Кати, как звала ее девочка.

Только тогда послушная (или инертная) Йоко Оно испугалась и пошла к соседям.

Эта Йоко Оно теперь живет буквально нигде, у той же тети Оли в однокомнатной квартире, тетя Оля

слегка состарилась на своих музейных сквозняках, питается одуванчиками, буквально ничем, тронулась в сторону обожаемого буддизма и лечит все болезни тибетским средством из лошадиной мочи.

Они с Йоко прохлопали квартиру, эту жилплощадь по праву наследования первой очереди заняла пьющая Зоря; она вышла замуж как-то лет в семнадцать, разошлась, пропила комнату, жила еще с кем-то и еще с кем-то, в результате приехала за наследством не откуда-нибудь, а из деревни из-под Рязани, вот как. Предъявила свои права.

Маленькой хазарке Йоко Оно почти четырнадцать лет, и если есть справедливость, то вот она: девочка рисует, прекрасно поет, откуда-то знает английский и ходит на работу к тете Оле, сидит за компьютером вечерами, играет. Хочет составить свою игру, новую. Тетя Оля с робостью ползает по инстанциям, хочет куда-то пристроить талантливое дитя, в детдом для одаренных сирот, например, хотя девочка наотрез отказывается. Девочка сложная, замкнутая, инертная, всего стесняется, сама для себя чашки воды согреть не может; но ест, слава богу, хорошо, и вот с этим у нищей тети Оли проблемы.

А где-то сидит и пьет в унаследованной квартире молодая тридцатилетняя Зоря, и где-то бродит в вечной тьме ее слепая детдомовская дочь, а еще дальше, в неведомых далях, вернее, в мыслях Оли, витает образ хазарки Кати, которая задает Оле сложный вопрос о судьбах народов и пятнадцатилетних дочерей этих народов, то есть чего ждать для Йоко Оно и существует ли общенациональная судьба, общенациональный путь и некая гибель нации через поведение ее, нации, подростков — или же нет, и можно еще на что-то надеяться.

АНДРЕЙ
ГЕЛАСИМОВ



ЖАННА



Большее всего ему понравилась эта штука. То есть сначала не очень понравилась, потому что он был весь горячий и у него температура, а эта штука холодная — он даже вздрагивал, когда ее к нему прижимали. Поворачивал голову и морщил лицо. Голова вся мокрая. Но не капризничал, потому что ему уже было трудно кричать. Мог только хрипеть негромко и закрывал глаза. А потом все равно к ней потянулся. Потому что она блестела.

— Хочешь, чтобы я тебя еще раз послушала? — говорит доктор и снимает с себя эту штуку.

А я совсем забыла, как она называется. Такая штука, чтобы слушать людей. С зелеными трубочками. Кругляшок прилипает к спине, если долго его держать. Потом отлипает, но звук очень смешной. И еще немного щекотно. И кружится голова.

А Сережка схватил эту штуку и тащит ее себе в рот.

Доктор говорит: «Перестань. Это кака. Отдай ее мне».

Я говорю: «Он сейчас отпустит. Ему надо только чуть-чуть ее полизать. Пусть подержит немного, а то он плакал почти всю ночь».

Она смотрит на меня и говорит: «Ты что, одна с ним возилась?»

Я говорю: «Одна. Больше никого нет».

Она смотрит на меня и молчит. Потом говорит: «Устала?»

Я говорю: «Да нет. Я уже привыкла. Только руки устали совсем. К утру чуть не оторвались».

Она говорит: «Ты его все время на руках, что ли, таскаешь?»

Я говорю: «Он не ходит еще».

Она смотрит на него и говорит: «А сколько ему?»

Я говорю: «Два года. Просто родовая травма была».

Она говорит: «Понятно. А тебе сколько лет?»

Я говорю: «Мне восемнадцать».

Она помолчала, а потом стала собирать свой чемоданчик. Сережка ей эту штучку сразу отдал. Потому что у него уже сил не было сопротивляться.

Возле двери она повернулась и говорит: «В общем, ничего страшного больше не будет. Но если что – снова звони нам. Я до восьми утра буду еще на дежурстве».

Я ей сказала спасибо, и она закрыла за собой дверь.

Хороший доктор. Сережке она понравилась. А участковую нашу он не любит совсем. Плачет всегда, когда она к нам приходит. Зато участковая про нас с Сережкой все знает давным-давно. Поэтому не удивляется.

Но в этот раз я позвонила в «Скорую». Оставила его одного на десять минут и побежала в ночной магазин, где продают водку. Там охранник сидит с радиотелефоном.

Потому что в четыре часа я испугалась. Он плакал и плакал всю ночь, а в четыре перестал плакать. И я испугалась, что он умрет.

— А мать твоя из-за тебя умерла. Это ты во всем виновата, — сказала мне директриса, когда я пришла к ней, чтобы она меня в школу на работу взяла.

Потому что аттестат мне уже был не нужен. Мне нужно было Сережку кормить. Молочные смеси сто-

или очень дорого. Импортные. В таких красивых банках. А участковая сказала, что только ими надо кормить. В них витамины хорошие. Поэтому я в школу пришла на работу проситься, а не на учебу. Тем более что я все равно уже отстала. А деньги после мамы совсем закончились. Она всегда говорила: «Какой смысл копить? Уедем во Францию — заработаем там в тысячу раз больше». И слушала свою кассету с Эдит Пиаф.

— Ты ведь знала, что у нее было больное сердце, — сказала мне директриса. — А теперь стоишь здесь, бесовестная, на меня смотришь. Как ты вообще могла снова сюда прийти?

Я смотрю на нее и думаю — а как мама могла так долго сюда ходить? Тоже мне — нашла себя в жизни. Учитель французского языка. Они ведь тоже знали, что у нее больное сердце. И все равно болтали в учительской обо мне. Даже когда она там была. Потому что они считали, что она тоже виновата. Педагог — а за своей дочкой не уследила. Она плакала потом дома, но на больничный садиться отказывалась. Включала свою кассету и подпевала.

А потом умерла.

— Значит, не возьмете меня на работу? — сказала я директрисе.

— Извини, дорогая, — говорит она. — Но это слишком большая ответственность. У нас тут девочки. Мы должны думать о них.

А я, значит, такая проститутка, которую нельзя детям показывать.

— Ты знаешь, это не детское кино, — говорила мама и отправляла меня спать.

А сама оставалась у телевизора.

Я лежала, отвернувшись к стене, и думала — какой интерес смотреть про то, как люди громко дышат? Слышно было даже в моей комнате.

И когда Толик упал со стройки, он тоже так громко дышал. Только у него глаза совсем не открывались. Просто лежал головой на кирпичах и дышал очень громко. А стройка, откуда он упал, была как раз наша школа. И теперь там сидит директриса.

Мы все потом в эту школу пошли. Кроме Толика. Потому что он вообще никуда больше не пошел. Даже в старую деревянную школу не ходил ни одного раза. Просто сидел у себя дома. А иногда его выпускали во двор, и я тогда ни с кем не играла. Кидалась камнями в мальчишек, чтобы они не лезли к нему. Потому что он всегда начинал кричать, если они к нему лезли. А его мама выходила из дома и плакала на крыльце. Им даже обещали квартиру дать в каменном доме, но не дали. Пришла какая-то тетенька из ЖЭУ и сказала — обойдется дебил. Поэтому они остались жить в нашем районе.

А мама всегда говорила, что здесь жить нельзя.

— Все жилы себе вымотаю, но мы отсюда уедем. Бежать надо из этих трущоб.

Я слушала ее и думала о том, что такое «трущобы». Мне казалось, что, наверное, это должны быть дома с трубами, но очень плохие. Неприятные и шершавые, как звук «Щ». И я удивлялась. Потому что в нашем районе не было труб. Печку никто не топил. Хотя дома на самом деле были плохие.

Но потом я начала ее понимать.

Когда пришли милиционеры и сломали нам дверь. Потому что они искали кого-то. Того, кто выстрелил в них из ружья. И тогда они стали ходить по всем до-

мам и ломать двери. А когда они ушли, мама в первый раз сказала, что надо уезжать во Францию.

— Здесь больше нечего делать. Ну, кто нам починит дверь?

Она стала писать какие-то письма, покупала дорогие конверты, но ответов не получала никогда.

— Мы уезжаем в Париж, — говорила она соседям. — Поэтому я не могу больше давать вам в долг. Тем более что вы все равно не возвращаете, а пьете на мои деньги водку.

Поэтому скоро мне стало трудно выходить на улицу. Особенно туда, где строили гаражи.

— А ты пошла вон отсюда, — говорил Вовка Шипо-глаз и стучал меня велосипедным насосом. — Стюардесса по имени Жанна.

И я уходила. Потому что мне было больно и я боялась его. Он учился уже во втором классе. Правда, еще в деревянной школе. А на гаражах он был самый главный. Его отец строил эти гаражи. Поэтому, если кто-то хотел попрыгать с них в песочные кучи, надо было сначала спросить разрешения у Вовки.

Мне он прыгать не разрешал.

— Пошла вон, стюардесса. Во Франции будешь с гаражей прыгать вместе со своей мамой. Она у тебя придурочная. Вы обе придурочные. Пошла вон отсюда.

И стучал меня своим насосом по голове.

Он всегда с ним ходил. Хотя на велосипеде никогда не ездил. Никак не мог научиться. Все время падал. А потом бил мальчишек, которые над ним смеялись.

Но Толик никогда не смеялся над ним. Просто однажды подошел к нему и сказал: «Пусть она остается. Жалко, что ли, тебе?»

И они начали драться. И потом дрались всегда. Пока Толик не упал со стройки. Потому что нам нравилось лазить на третий этаж. Мы там играли в школу. А когда он упал, я посмотрела наверх, и там было лицо Вовки Шипоглаза. А Толик громко дышал, и глаза у него совсем не открывались.

— А ну-ка посмотри, как у него глазки открылись, — сказала мне медсестра и показала Сережку. — Мальчик у тебя. Видишь, какой большой?

Но я ничего не видела, потому что мне было очень больно. Я думала, что я скоро умру. Видела только, что он весь в крови, и не понимала, чья это кровь — моя или его?

— А ну-ка держи его... Вот так... Давай-давай, тебе к нему теперь привыкать надо.

Но я никак не могла привыкнуть. А мама говорила, что она про маленьких детей тоже все позабыла. Она говорила: «Боже мой, неужели они бывают такие крохотные? Ты посмотри на его ручки. Смотри, смотри — он мне улыбнулся».

А я говорю: «Это просто гримаса. Нам врач объясняла на лекции. Непроизвольная мимика. Он не может еще никого узнавать».

«Сама ты произвольная мимика, — говорила она. — И врач твоя тоже ничего в детях не понимает. Он радуется тому, что скоро поедет во Францию. Ты не видела — куда я засунула кассету с Эдит Пиаф? Ее почему-то нет в магнитофоне».

А магнитофон у нас был очень старый. И весь дребезжал. И кассету я специально от нее спрятала. Потому что я больше не могла терпеть этот прикол. Нас даже соседские дети французами называли. А тут еще Сережка родился. Надо было с этим заканчивать.

Но она весь вечер слонялась из угла в угол как не своя. Пыталась проверять тетрадки, а потом села у телевизора. Стала смотреть какие-то новости, но я видела, что она все равно сама не своя. Просто сидела у телевизора, и спина у нее была такая расстроенная. А Сережка орал уже, наверное, часа два.

Я говорю: «Вот она, твоя кассета. На полке лежит. Только ты все равно ничего не услышишь. В этом крике».

А она говорит: «Я на кухню пойду».

И Сережка перестал орать. Сразу же.

Я положила его в коляску и стала слушать, как у нас на кухне поет Эдит Пиаф. Очень хорошая музыка.

Но у меня руки затекли. И спина болела немного. И мне все равно казалось, что он не может еще ничего узнавать. Слишком маленький.

А Толик меня узнал, когда ему исполнилось одиннадцать. Прямо в свой день рождения. Мама сказала: «Поднимись к ним, отнеси ему что-нибудь. А то они там опять все напьются и забудут про него».

Она боялась, что он снова начнет есть картофельные очистки и попадет в больницу. Потому что ему совсем недавно вырезали аппендицит.

Я не знала, что ему подарить, и поэтому взяла кошачий мячик и старую фотографию. На ней было несколько мальчишек, Толик и я. Нас сфотографировал дядя Петя — мамин друг, у которого была машина.

Он всех нас катал тогда вокруг дома, а после этого сфотографировал на крыльце. И фотография сразу же выползла из фотоаппарата. Я раньше никогда такого не видела. Но потом мама сказала, чтобы я о нем больше не спрашивала. Она сказала: «Перестань. Мне надоели твои вопросы».

И закрыла уши руками.

А на фотографии нам было шесть лет. Еще до того, как мы играли в школу на стройке.

— Подожди, — сказала я. — Не надо толкать ее в рот. Смотри — вот видишь, здесь ты. А рядом стоит Мишка. Видишь? Он высунул язык. А рядом с ним — Славка и Женька. Помнишь, как они спрятались на чердаке на целую ночь, а их папа потом гонялся за ними с ремнем по всей улице? А вот это я. И кто-то мне сзади приставил рожки. Это, наверное, Мишка-дурак. Он всегда так делал. А теперь он здесь не живет. Его родители переехали в центр города. Мы с мамой, может быть, тоже когда-нибудь отсюда уедем. Подожди, подожди, что ты делаешь? Не надо перегибать ее пополам. Она ведь сломается, и тогда ничего не будет видно на ней. Зачем ты ее тянешь? Что? Я не понимаю тебя. Ты только мычишь. Что? Ты хочешь что-то сказать?

А он тянул у меня из рук фотографию и тыкал в нее пальцем. Я посмотрела в то место, куда он тычет, и отдала ему фотографию. Потому что он показывал на меня.

Вот так он меня узнал. Прямо в свой день рождения.

— Рождение ребенка, — сказала нам врач на лекции, — это самое важное событие в жизни женщины. С первых минут своего появления на свет младенец должен быть окружен вниманием и любовью.

А я сижу там и смотрю на всех нас — как будто мы воздушные шарики проглотили. Сидим и слушаем про любовь. В таких больничных халатиках. Только мне уже было неинтересно. Я думала про то, что, может быть, я умру. И про то, как мне будет больно. А любовь меня уже тогда не волновала совсем.

— Ты знаешь, — сказали девчонки, когда я приехала в летний лагерь, — он такой классный. Он даже круче Венечки-физрука.

Я сказала: «Кто?»

А они говорят: «Ты что, дура?»

Я говорю: «Сами вы дуры. Откуда мне знать про ваших Венечек. Я ведь только приехала. Маме помогала в классе делать капитальный ремонт».

А они говорят: «Венечка работает летчиком на самолете. У него есть машина, и ему двадцать пять лет. А когда у него отпуск — он физрук в этом лагере, потому что ему надо форму поддерживать. Но даже он все равно не такой классный, как Вовчик. Потому что Вовчик — просто нет слов».

Я сказала: «Да подождите вы, какой Вовчик?»

А они говорят: «Ты что, дура? Он же из твоей школы. Он нам сказал, что знает тебя».

Я говорю: «Вовка Шипоглаз, что ли?»

А они говорят: «Мы его называем Вовчик».

Я им тогда говорю: «Вовка Шипоглаз — последний урод. Самый уродливый из всех уродов».

А они засмеялись и говорят: «Ну, не знаем, не знаем».

Но я приехала в лагерь, чтобы летом денег заработать. Мне надо было в одиннадцатый класс в новых джинсах пойти. И еще кроссовки купить хотела. Поэтому я осталась.

А мама всю жизнь мне говорила — любовь зла. Но тут даже она не подозревала — насколько.

В первую же неделю девчонки мне все уши про него прожужжали. На кого он из них посмотрел, с кем танцевал, кому из парней надавал по шее.

Я, когда его встретила наконец, говорю: «Ты тут прямо суперзвезда. Джеки Чан местный. Мастер восточных единоборств».

А он смотрит мне прямо в глаза и говорит: «Приходи сегодня на дискотеку. Я тебя один прикольный танец научу танцевать».

Потом улыбается и говорит: «Стюардесса по имени Жанна».

И я почему-то пошла.

— Нормальный ребенок, — сказала мне участковая, — должен был пойти в десять месяцев. А твоему уже целых два года — и он у тебя все еще ползает, как... таракан.

Она не сразу сказала, как он ползает. Подумала немного, а потом сказала. И оттолкнула его от себя. Потому что он все время карабкался к ней. Обычно ревет, когда она приходит, а тут лезет к ее сапогам и цепляется за край халата.

— Ну вот, — говорит она, — обслюнявил меня совсем. Как я теперь пойду к другим детям?

Я говорю — извините.

А она говорит: «Мне-то что с твоих извинений. Это тебе надо было раньше думать — рожать его или не рожать. Сделала бы аборт — не сидела бы тут сейчас с ним на руках одна, без своей мамы. И школу бы нормально закончила. Еще неизвестно, как у него дальше развитие пойдет. С такой родовой травмой шутки не шутят. У вас ведь тут живет уже один дебил этажом выше».

Я говорю: «Он не дебил. Он просто упал со стройки, когда ему было шесть лет».

Она говорит: «Упал, не упал, я же тебе объясняю — с травмами, дорогая, не шутят. Хочешь всю жизнь

ему слюни вытирать? Тебе самой еще в куклы играть надо. Нарожают — а потом с ними возись. Где у тебя были твои мозги? И нечего тут реветь».

Я говорю: «Я не реву. У меня просто в глаз соринка попала».

А она говорит — тебе в другое место соринка попала. Через неделю еще зайду. В это же время будьте, пожалуйста, дома.

Я говорю: «Мы всегда дома».

Она встала в своих сапогах и ушла.

А как только она ушла, я взяла Сережку, поставила его на ноги и говорю: «Ну, давай, маленький, ну, пожалуйста, ну, пойди».

А сама уже ничего не вижу, потому что плачу, и мне очень хочется, чтобы он пошел.

А он не идет и каждый раз опускается мягко на свою попу. И я его снова ставлю, а он улыбается и все время на пол садится.

И тогда я его ставлю в последний раз, толкаю в спину и кричу: «Все из-за тебя, чурбан несчастный. Не можешь хоть один раз нормально пойти».

И он падает лицом вперед и стучается головой. Из рта у него бежит кровь. И он плачет, потому что он меня испугался. А я хватаю его и прижимаю к себе. И тоже плачу. И никак не могу остановиться. Вытираю кровь у него с лица и никак не могу остановиться.

— Не останавливайся! — кричу я Толику. — Не останавливайся! Иди дальше! Не стой на месте!

Но он меня не понимает. Он слышит, что я кричу, но думает, что мы все еще с ним играем. А лед под ним уже трещит. Он кричит мне в ответ и машет руками, а я боюсь — как бы он не стал прыгать. По-

тому что он всегда прыгает на месте, когда ему весело. А я ему кричу: «Только не останавливайся. Я тебя умоляю».

Потому что лед совсем тонкий, и он идет по этому льду за кошачьим мячиком, который я подарила ему на день рождения всего два дня назад. А он теперь с ним не растает. Даже ест, не выпуская его из рук. Потому что это мой мячик. Потому что это я его принесла.

А когда мы вернулись, мама посмотрела на меня и сказала: «Ну что ты с ним возишься? За тобой твои друзья приходили. Играла бы лучше с нормальными детьми».

А я говорю: «Толик нормальный. Он меня на фотографии узнал».

Она говорит: «Надо все-таки похлопотать, чтобы его определили в спецшколу. А то здесь за ним, кроме тебя, действительно никто не смотрит. Дождутся эти пьяницы, что он у них куда-нибудь опять упадет и сломает себе шею. Хотя, может, они этого как раз и ждут. И котлован возле школы никто засыпать не собирается. Ты туда не ходи с ним. А то выбежит вдруг на лед и провалится. Знаешь, какая там глубина?»

Я говорю: «Знаю. Мы туда не ходим играть. Мы с ним почти всегда во дворе играем».

Она говорит: «А когда я тебя во Францию увезу, кто за ним присматривать будет? Надо же, как бывает в жизни. Не нужен он никому».

А потом я тоже стала никому не нужна. Мамины деньги к зиме закончились, и надо было искать работу. Но меня не брали совсем никуда. Даже директриса в школе отказалась меня принять. Сказала, что я буду плохим примером для девочек.

А я и не хотела быть никаким примером. Мне просто надо было Сережку кормить. И сапоги к этому времени совсем развалились. Поэтому я бегала искать работу в кроссовках, которые купила тем самым летом. Они были уже потрепанные — три года почти. И ноги в них сильно мерзли. Особенно если автобуса долго нет. Стоишь на остановке, постукиваешь ими, как деревяшками, а сама сходишь с ума от страха — плачет Сережка один в закрытой квартире или еще нет?

А на улице стоял дикий холод. Только что справили двухтысячный год. Но я не справляла. Потому что телевизор уже продала. И швейную машинку. И пылесос. Но деньги все равно заканчивались очень быстро, поэтому я стала продавать мамины вещи. Хотя сначала не хотела их продавать. А когда дошла до магнитофона, почему-то остановилась. Сидела в пустой квартире, смотрела, как Сережка ползает на полу, и слушала мамину кассету с Эдит Пиаф. Сережке нравились ее песни. А я смотрела на него и думала — где мне еще хоть немного денег найти.

Потому что, в общем-то, уже было негде.

И вот тут пришло это письмо. Где-то в середине марта. Ноги уже перестали в кроссовках мерзнуть. Я сначала не поняла — откуда оно, а когда открыла, то очень удивилась. Потому что я никогда не верила в то, что это письмо может прийти. Хотя мама его ждала, наверное, каждый день. А я не верила. Я думала, что она просто немного сошла с ума. Я думала, что чудес не бывает.

В письме говорилось, что в ответ на многочисленные просьбы мадам моей мамы посольство Франции в России сделало соответствующие запросы в определенные инстанции и теперь извиняется за то, что

вся эта процедура заняла так много времени. По независящим от них причинам юридического и политического характера французское посольство было не в силах выяснить обстоятельства этого сложного дела вплоть до настоящего момента. Однако оно спешит сообщить, что в результате долгих поисков им действительно удалось обнаружить мадам Боше, которая не отрицает своего родства с моей мамой, поскольку у них был общий дедушка, оказавшийся во время Второй мировой войны в числе интернированных лиц и по ее окончании принявший решение остаться на постоянное жительство во Франции, женившись на французской гражданке. Трудности, возникшие у посольства Франции в связи с этим делом, были обусловлены тем, что дети интернированного дедушки и вышепоименованной гражданки Франции разъехались в разные страны и приняли иное гражданство. В частности, родители мадам Боше являются подданными Канады. Однако, поскольку сама мадам Боше вернулась во Францию и вышла замуж за французского гражданина, французское посольство в России не видит больше никаких препятствий к тому, чтобы мадам моя мама обратилась к французскому правительству с просьбой о переезде на постоянное место жительство во Францию. Все необходимые документы посольство Франции в России готово любезно предоставить по следующему адресу.

А дальше шел номер факса. И какие-то слова. Но я не умею читать по-французски. А мамины словари все уже были проданы. Потому что мама к тому времени уже почти полгода как умерла.

И что такое «интернированный» — я тоже не знала.

Зато конверт был очень красивый, поэтому я отдала его Сережке. Он любит разными бумажками шуршать.

Схватил его и заурчал от удовольствия. А я смотрю на него и думаю: ну почему же ты не начинаешь ходить?

Потому что я не собиралась ехать ни в какую Францию. Кому я там нужна? И про Толика я уже знала, что не смогу его бросить. У него родители к этому времени совсем с ума сошли. Напивались почти каждый день и часто били его. А он не понимал, за что его бьют, и очень громко кричал. Соседи говорили, что даже в других домах было слышно. Тогда я поднималась к ним и забирала его к себе. И он сразу же успокаивался. Ползал вместе с Сережкой по комнатам и гудел как паровоз. А Сережка переворачивался на спину, размахивал ручками и смеялся. Маленький перевернутый на спину смеющийся мальчик. Так что я не собиралась никуда уезжать.

Вот только за маму было обидно.

Поэтому на следующее утро я снова пошла искать работу. Одна моя бывшая одноклассница сказала, что ее хозяин хочет нанять еще одного продавца. Чтобы сидеть ночью. И мне это как раз подходило. Потому что Сережке уже исполнилось два года и он всю ночь спал. Даже не писал до самого утра.

И платить, она сказала, будут прилично.

Но в итоге, как всегда, ничего не получилось.

— Ты знаешь, — сказала она. — Он не хочет нанимать продавца с ребенком. Говорит — с тобой мороки не оберешься.

— Не будет со мной никакой мороки, — сказала я.

Но она только пожала плечами.

А я опять говорю — не будет со мной никакой мороки.

И вот так мы стоим и смотрим друг на друга, и она ждет — когда я уйду, потому что ей уже жалко, что она меня пригласила. А вокруг теснота и «Сникерсы», «Балтика № 9». Но мне все равно хочется там остаться. Потому что я знаю, что денег мне больше нигде не найти.

И тут я вижу в углу совсем маленького мальчика. Года четыре ему или чуть больше. И он подметает огромным веником какую-то грязь. Вернее, он не совсем подметает, потому что веник размером почти такой же, как он, и ему очень трудно передвигать его с места на место.

Я говорю: «А он что здесь делает? Это твой племянник, что ли? Не с кем дома оставить?»

Она смотрит на него, смеется и говорит: «Да ну, какой там племянник. Просто заколебали уже. Ходят и ходят. То одно клянчат, то другое. Заколебали. Теперь пришел, говорит — тетя, дай йогурт. А я ему веник дала. Пусть заработает. У него там еще сестра есть».

Я обернулась и увидела, что у порога стоит девочка. Еще меньше, чем он. И тоже чумазая вся. Стоит и смотрит на нас. И глаза у нее блестят.

А когда я вошла, то я их совсем не заметила. Потому что мне очень хотелось про работу узнать.

Я наклонилась к этому мальчику и говорю: «Ты что, йогурт хочешь?»

Он остановился и очень тихо мне сказал: «Да».

Я говорю: «Ты его пробовал?»

И у него щеки такие чумазые.

А он говорит: «Нет».

И смотрит на меня. И ростом почти с этот веник.

Я тогда выпрямилась и говорю: «Ты им дай, пожалуйста, йогурт. Вот деньги».

А она смотрит на меня и качает своей головой. И еще улыбается.

Я говорю: «Дай им йогурт. Я тебе заплатила».

Потом вышла на улицу, стою возле остановки и плачу. Потому что мне обидно стало за этих детей.

Как будто рабы. Только совсем маленькие.

А на следующий день пришел Вовка Шипоглаз. Я даже не знала, что он опять в нашем городе. Мне сказали, что он с отцом уехал в Москву. У них там какой-то бизнес.

Я дверь открыла, а он стоит передо мной весь такой в дубленке и в норковой шапке. Хотя на улице уже все бежит. А я в маминых спортивных. И футболка у меня на плече порвалась.

И еще у меня из-за спины в коридор выползает Сережка. Боком, как краб. Одну ножку закидывает вперед, а потом другую уже к ней подтягивает. Но очень быстро. Потому что он ведь уже большой, и ему хочется быстро передвигаться.

Я взяла его на руки, чтобы он у открытой двери на полу не простыл, и вот так мы стоим, друг на друга смотрим.

И он наконец говорит: «Я слышал, у тебя мать умерла».

Потом еще несколько раз заходил. Приносил еду, конфеты и памперсы. Игрушки тоже приносил, но они все были какие-то странные. Он вообще был немного странный. Почти не разговаривал. Объяснил только, что прилетел на неделю продать отцовскую

дачу, квартиру и гараж. И больше ему в этом городе делать нечего.

Это он сам так сказал.

Сказал и смотрит на меня. А потом на Сережку.

И говорит: «А почему он до сих пор не ходит?»

Я говорю: «Родовая травма».

Он говорит: «Да? А что это такое?»

Я говорю: «Мне было слишком мало лет, когда он родился. Таз очень узкий. Когда его тянули, пришлось наложить щипцы. От этого голова немного помялась. И шейные позвонки сдвинулись с места чуть-чуть».

Он смотрит на него и говорит: «А может быть, операция?»

Я говорю: «Пока неизвестно. Врачи говорят, что надо ждать. Время покажет».

После этого он исчез. Перестал приходить, и я подумала, что он продал свою дачу.

А потом я наконец работу нашла. То есть я уже даже и не искала. Просто сидела дома, и мы доедали то, что Вовка принес нам за несколько раз. Конфеты доедал Сережка.

Тут, как всегда, приходит участковая и начинает на нас кричать.

Она кричит, что я дура, что меня надо было в детстве пороть, что Сережке нужно совсем другое питание и что я никакая не мать. А мы сидим на полу и смотрим на нее, как она кричит. И Сережка уже не боится. Потому что он к ней привык и больше от ее голоса не вздрагивает. Он только смотрит на нее, задрал голову, и рот у него открыт. Глаза такие большие, но видно, что он уже не боится. Только взгляд от нее не отводит. А я смотрю на него, и мне его жалко, пото-

му что он голову все время к левому плечу наклоняет. А у меня от этого дыхание перехватывает.

И тут она спрашивает: «На что мне можно присесть».

А я говорю, что не на что.

Потому что я стулья тоже все продала. Сначала кресло, потом стулья, а после этого — табуретки. Все равно нам с Сережкой они были не нужны. Мы с ним в основном на полу тусовались.

А она говорит: «Тогда я на кровать сяду».

Я говорю: «Садитесь, пожалуйста».

Она села, а Сережка пополз к ее сапогам. Я хотела его забрать, но она сказала, не надо. И я удивилась, потому что раньше она не любила, когда он к ней лез.

— Мой муж нашел для тебя работу, — сказала она. — Будешь у него в банке прибираться и мыть полы. Там очень хорошо платят. Во всяком случае, больше, чем твоя мать зарабатывала в своей школе. Ты только должна мне пообещать, что не подведешь нас, потому что мой муж за тебя поручился. У них очень строгая политика по отношению к подбору обслуживающего персонала. Они должны тебе доверять. Ты можешь мне дать обещание?

— Какое? — сказала я.

Потому что я правда не совсем ее понимала. Хотя мне очень хотелось ее понять. Очень-очень.

— Нет, ты все-таки дура. Я говорю — ты можешь пообещать мне, что не подведешь моего мужа? Он за тебя просил.

И тогда я сказала: «Конечно. Конечно, я не подведу вашего мужа. Я буду делать все, что мне скажут, и буду очень аккуратно мыть все полы. И выбрасывать все бумажки».

И она сказала: «Ну вот, молодец. Наконец поняла, что от тебя требуется. Послезавтра придешь по этому адресу в пять часов. Работать будешь по вечерам. Тебе есть с кем оставить своего мальчика?»

И дала мне бумажку.

Я говорю: «Да, да. Все в порядке. За Сережу можете не беспокоиться. Он уже очень большой».

Она говорит: «Вот и ладно».

Потом встала и пошла к двери. У самой двери обернулась.

— Да, кстати, как у него дела?

— У него все хорошо, — сказала я. — Большое спасибо.

А когда она ушла, я заплакала.

На следующий день ближе к вечеру снова пришел Шипоглаз. Я думала, что он уже улетел, поэтому немного удивилась. И еще растерялась. Потому что наверху с обеда началась пьянка, и мне снова пришлось забрать Толика к себе. Иначе бы он кричал на всю улицу.

Сережка сразу пополз к Вовкиной сумке. Он уже привык, что там должны быть конфеты. Но Вовка на этот раз не дал ему ничего. Он только смотрел, как Сережка с Толиком ползают на полу, и молчал.

А потом спросил у меня: «Он разговаривать хоть умеет?»

И я поняла, что он спрашивает не про Сережку. Потому что про Сережку он уже давно все спросил.

— Не умеет, — сказала я. — Может только кричать, когда ему страшно. Но меня узнает.

— А других? — спросил Вовка.

— Других, по-моему, нет.

Он посмотрел на Толика еще немного, а потом сел на кровать. Туда, где вчера сидела участковая.

— Ты знаешь, — сказал он. — Нам надо поговорить.

— О чем? — сказала я.

Потому что я видела, как он нервничает. И сама я тоже нервничала немного.

Он говорит: «Я завтра улетаю в Москву».

А я говорю — в Москву — это круто.

И смотрю — как бы Сережка с Толиком не перевернули его сумку. Они уже очень близко к ней подошлись.

Он говорит — нам надо что-то решать.

Я поворачиваюсь к нему, и в этот момент все, что было у него в сумке, вываливается на пол. Я бросаюсь в их сторону, но он хватает меня за руку и говорит — подожди, это неважно. Там ничего такого серьезного нет. Мне надо с тобой поговорить.

И тогда я сажусь рядом с ним на кровать. А Сережка с Толиком смеются и разбрасывают по всему полу его вещи.

Он говорит — ему нельзя здесь оставаться.

И я понимаю, что он не про Толика говорит. Потому что Толика он всего пять минут назад увидел. И, может быть, даже совсем не помнил о нем ничего.

Но я помнила.

Он говорит — короче, я все придумал. Мы с тобой поступим вот так.

А я смотрю на них — как они там возьтятся рядом с дверью, и думаю — только бы они не порезались чем-нибудь. Вдруг у него в сумке есть что-нибудь острое.

А он говорит — ну как? Ты согласна?

Я говорю — на что?

Он смотрит на меня и говорит — я же тебе объяснил. Ты что, разве не слушала?

Я говорю — я слушала, но просто я устала чуть-чуть. И у меня голова сегодня болит немного.

Он говорит — главное, чтобы ты подписала эту бумагу, в которой отказываешься от всяких претензий на то, что я Сережкин отец. Я узнавал у здешнего адвоката. Такую бумагу составить можно. И тогда я смогу забрать вас с собой. Снимем для вас квартиру. Однокомнатную — но ничего. Главное, что я буду помогать Сережке. Только моему отцу пока ничего говорить не надо.

Я поворачиваюсь к нему и говорю — так ты хочешь, чтобы мы поехали с тобой в Москву?

А он говорит — ну, да. Только надо сначала подписать эту бумагу. Чтобы потом в суде никаких косяков не возникло.

Я говорю — в каком суде?

Он говорит — ну вдруг ты захочешь со мной судиться. Насчет того, что я Сережкин отец.

Я смотрю на него и говорю — так ты и есть его отец.

А он говорит — я знаю. Но только это неважно.

Я говорю — как это неважно? Он же твой сын.

Он говорит — я знаю.

Потом встал, походил по комнате и говорит — короче, решай. Или ты едешь со мной в Москву, или не едешь.

А я смотрю на Сережку — как он ползает вокруг Толика, и потом на Вовку — как он посреди нашей комнаты стоит — в своей дубленке, и даже норковую шапку не снял, и потом говорю — мы уезжаем во Францию. Теперь уже совсем скоро. И Толика, наверное, с собой возьмем.

Вовка смотрел на меня, смотрел и наконец засмеялся.

Говорит — ты такая же дура, как твоя мать. Тоже с ума сошла. Проснись, ее больше нету.

Тогда я пошла на кухню и взяла там на подоконнике письмо. Отдала ему и говорю — правда, оно уже без конверта. Но все печати стоят. Сам посмотри, если не веришь.

Он прочитал письмо, и лицо у него стало другое. Как в детстве, когда он падал с велосипеда и над ним смеялись пацаны.

Мне даже стало жалко его.

Он говорит — и когда собираешься ехать?

Я говорю — не знаю еще. Надо последние вещи продать. Ну и еще кое-какие дела тут уладить.

Он говорит — понятно.

И наконец снимает свою шапку. А волосы у него под ней слиплись уже. И на висках побежал пот.

Я говорю — спасибо тебе за предложение. Может, когда-нибудь увидимся еще.

Тогда он стал собирать свои вещи. А Толик с Сережкой ползают вокруг него и сильно ему мешают. Потому что они подумали, что он с ними начал играть.

Наконец он собрал все, выпрямился и достал из дубленки маленький телефон.

Говорит — возьми. Если нажмешь вот на эту кнопку, то сразу соединит с Москвой. Я отдельно живу от отца, поэтому можешь звонить мне в любое время. За звонки плачу я.

Я говорю — а зачем?

Он смотрит на меня и говорит — ну, не знаю. Мало ли?

Потом посмотрел на Сережку, на Толика. Перешагнул через них и вышел. А я закрыла за ним дверь.

Постояла немного и чуть-чуть успокоилась. Но тут они стали капризничать. Потому что Вовка у них все игрушки забрал, а им нравилось копаться у него в сумке.

Я присела к ним и отдала Толику телефон. А Сережке дала письмо. Чтобы они замолчали.

И они притихли. Потому что детям нравится все ломать. А Сережке нравится рвать бумагу.

Я смотрела, как Толик стучает телефоном об пол, и ни о чем не думала. Мне просто нравилось на него смотреть. И еще мне нравилось смотреть на Сережку. Как он толкает себе бумагу в рот, выплевывает ее и смеется.

А потом он пополз к кровати, уцепился за спинку и встал. Постоял немного, разжал ручки, покачнулся и вдруг сделал один шаг ко мне. Я замерла, чтобы не напугать его, и протянула к нему руки. И тогда он шагнул еще. А я не могла даже с места сдвинуться и только смотрела на него. Он опять покачнулся и сделал еще один шаг.

И тогда я сказала — иди ко мне. Иди к маме.

ОЛЕГ
РОЙ



СИЗАРИ



Однажды мне попалась в книге фраза, которая заставила задуматься: «Путь к мечте освещает не только твою жизнь, но и жизнь твоих близких». Я не был уверен, что правильно понял эти слова, и решил, как всегда делаю в таких случаях, поговорить об этом с отцом.

– Пап, скажи, разве может быть так, чтобы мечта одного человека изменила жизнь другого? – спросил я.

– Да, может, – кивнул, помолчав, отец. В его голосе была легкая печаль.

Он помолчал еще немного и потом рассказал мне эту историю.

В город наконец-то пришла весна – теплая, солнечная, быстро преобразившая все вокруг. На деревьях проклюнулись почки, газоны зазеленели, и тихие прежде дни наполнились самыми разными звуками – шелестом листвы на ветру, пением птиц, детскими голосами. Теперь, когда стало теплее, ребята гуляли на улице едва ли не целыми днями: мальчишки гоняли мяч и кидали ножички, девчонки играли в классики и прыгали в резиночку. Сидеть дома не хотелось никому.

Костя закрыл книгу и выглянул в окно. Совсем недавно прошел дождь, и дорожки во дворе были мокрыми, а в лужах купались голуби. Вот бы выйти сейчас на улицу, вдохнуть полной грудью чистый свежий воздух, пройтись по влажной траве... если бы только это было возможно.

Семнадцатилетний Костя, в общем-то, ничем не отличался бы от своих сверстников, если бы не одно «но» — тяжелая болезнь, из-за которой он не мог ходить и передвигался только на инвалидной коляске. К сожалению, прогнозы врачей никак нельзя было назвать оптимистичными: доктора предупреждали родителей Кости, что с его диагнозом он вряд ли доживет до двадцати лет. Другой подросток, оказавшись в подобном положении, наверное, обозлился бы на весь мир, но Костя был не таков. В любой ситуации он умел видеть светлую сторону и, даже оказавшись скованным болезнью по рукам и ногам, наслаждался жизнью — насколько это было возможно. Все, кто знал Солнечного мальчика, — так прозвали Костю за его оптимизм и доброжелательность, — очень его любили и искренне восхищались им. Не каждый здоровый человек может похвастаться такой жизнестойкостью и светлым отношением к людям и миру.

Конечно, иногда Косте бывало грустно, но он изо всех сил старался никому этого не показывать. Вот и сейчас, когда скрипнула дверь и в комнату вошел его младший брат, Костя отвернулся от окна и улыбнулся.

— Как ты сегодня? — заботливо поинтересовался братишка, бросив на пол школьную сумку.

Алеша был на три года младше Кости. Он заканчивал восьмой класс, увлекался спортом, играл в школьной футбольной команде — словом, вел обычную для четырнадцатилетнего мальчика жизнь. Но, несмотря на это, они с Костей были очень дружны, и Алеша старался проводить с братом как можно больше времени. Вот и сегодня он, вместо того чтобы пойти с друзьями в кино, сразу после уроков отправился домой, зная, как скучно брату сидеть одному в четырех стенах.

— Хорошо, — ответил Костя, по-прежнему улыбаясь, но голос его показался Алеше каким-то задумчивым. «Оно и понятно, — решил младший брат, — на Костином месте мне бы тоже было грустно. Сегодня такая хорошая погода, а он даже на улицу выйти не может...»

Алеша подогрел обед и за едой изо всех сил старался развеселить Костю рассказами о школьной жизни, но Солнечный мальчик все равно оставался задумчивым. Казалось, его мучила какая-то мысль, о которой он почему-то не хотел рассказывать.

После обеда, убрав со стола и вымыв посуду, Алеша сел за уроки, а Костя вновь взялся за книгу, но сосредоточиться на ее сюжете ему никак не удавалось. Поймав себя на том, что перечитывает одну и ту же фразу по несколько раз, не улавливая ее смысла, он отложил книгу и выглянул в окно, где соседские дети играли в казаки-разбойники. Потом перевел взгляд на брата, который корпел над какой-то сложной задачей по физике.

— Помочь тебе? — предложил он.

— Спасибо, Костик, но не нужно, — отказался Алеша, отложив в сторону ручку. — Хочу сам додуматься, как это решать. Мне кажется, я уже почти догадался, — с плохо скрываемой гордостью добавил он. — Так что скоро закончу.

Костя вздохнул и снова открыл книгу, но сосредоточиться на ней ему по-прежнему было тяжело.

— Леш, у тебя много друзей? — вдруг спросил он.

Брат оторвался от тетради и задумчиво почесал в затылке.

— Наверное, много, — пожал он плечами. — У нас в классе все ребята хорошие, и во дворе тоже.

— Я бы хотел, чтобы у меня тоже были друзья...

— А как же я? — растерялся Алеша. — У тебя ведь есть я. Ты мой самый лучший друг, Костя. Честное слово.

— Ты отличный друг, — согласился Костя. — Но, понимаешь, это не совсем то. Ведь ты — мой брат. Я рад, что ты у меня есть, но ведь у тебя, кроме меня, еще много других товарищей, а у меня больше никого нет.

Леша понимал, что Костя прав: из-за болезни брат очень редко бывал на улице, потому что не мог самостоятельно спуститься даже во двор — коляску нужно было стаскивать с крыльца по высоким ступеням. И в школу он, конечно, тоже не ходил — с ним на дому занималась приходящая учительница. Поэтому завести друзей ему было негде. А ведь и правда — что это за жизнь, когда целыми днями сидишь в квартире один и даже поговорить тебе не с кем? Имелся, конечно, телефон — вот только Косте некому было звонить.

— Ну, значит... Значит, тебе надо завести друзей, — решил Алеша. — Например, по переписке. В газетах иногда печатают объявления ребят из других городов, которые хотят найти себе друзей. Напиши кому-нибудь из них, а я смогу носить твои письма на почту и отправлять их. Правда, письма иногда долго идут, но это же так здорово — получать весточки откуда-то издалека! Давай поищем такие объявления?

Он вскочил из-за стола и уже был готов кинуться на поиски объявлений, но брат остановил его.

— Подожди, — попросил он. — Кажется, я кое-что другое придумал.

— Что? — заинтересовался Алеша.

— Помнишь, что дед рассказывал нам про голубей?

— Конечно, помню! Как можно забыть дедушкины рассказы?

Это и впрямь было так. Дедушка братьев воевал в Великую Отечественную, служил в разведке, и мальчики очень любили слушать его истории о войне. Он рассказывал об опасных заданиях, о боях и о том, как

жили солдаты в перерывах между сражениями, как старались не терять присутствия духа и чувства юмора, даже несмотря на то, что идет война. Но больше всего братьям нравились истории о сизарях — почтовых голубях, которых разведчики использовали для передачи информации. Уходя на задание, разведчик брал с собой голубя, а потом привязывал к его лапке гильзу, в которую клал донесение, отпускал птицу, и та летела в штаб. Однажды такое сообщение спасло деду жизнь — он чуть не попал в плен, но в последнюю минуту его спасли товарищи, которые узнали благодаря голубю о том, что случилось. С тех пор дедушка был так привязан к сизарям, что до старости занимался разведением голубей. К великой печали братьев, дедушка умер несколько лет назад. Его голубятня так и осталась во дворе их дома, только птицами занимались теперь другие люди.

И вот Костя вдруг вспомнил о них.

— Был бы у меня такой голубь, я мог бы отправлять письма с ним... — задумчиво проговорил он. — Так ведь даже интереснее, чем через газету: вот pošлю я записку с голубем, кто-нибудь ее увидит, прочитает и ответит мне. Но я не буду знать, что это за человек — ребенок, взрослый или вообще пенсионер, мужчина или женщина...

— И о чем ты будешь переписываться с пенсионером? — сморщил нос Алеша. — Со сверстниками же интереснее!

— Все люди интересны, — уверенно заявил Костя. — От взрослых можно узнать много нового и интересного. И на конверты с марками тратиться не придется, если посылать письма с голубем. К тому же получится быстрее, чем почта, потому что голубь, скорее всего, далеко летать не станет. Это ведь здорово, согласись!

— Наверное, ты прав, — немного подумав, согласился младший брат. — Только где ты возьмешь голубя? Его ведь надо сначала приручить.

Костя упрямо вскинул голову.

— Значит, буду приручать.

...Не так-то легко приручить голубя, если ты прикован к инвалидному креслу и с трудом можешь выбраться во двор. Но Костя был упорным и целеустремленным парнем и отступить от задуманного не собирался. Алеша изо всех сил поддерживал брата и старался во всем ему помогать. Каждое утро он вывозил коляску во двор и ставил около голубятни, а днем забирал брата домой, чтобы после обеда снова вернуть его к сизарям, — и так до вечера.

Птицы на удивление быстро признали Костю и привыкли к нему. Не прошло и пары недель, как они начали спокойно подлетать к инвалиду, а некоторые, самые смелые, даже садились к нему на руки, на плечи или на колени. Но, чтобы по-настоящему приручить сизарей и превратить их в почтальонов, потребовалось гораздо больше времени — несколько месяцев. Костя выбрал среди них одного, самого послушного и умного, и пометил его, привязав на лапку сложенную в несколько раз толстую красную шерстяную нитку, которая была заметна издали, но нисколько не мешала птице.

Миновала весна, пришло жаркое городское лето. И вот настал день, когда голубь с красной ниткой вылетел «на прогулку» с привязанной к другой лапке запиской: «Здравствуй! Меня зовут Костя, и мне очень хочется иметь друзей. Пожалуйста, ответь мне!»

Костя с нетерпением ожидал возвращения своего питомца: он надеялся, что в первый же день кто-нибудь заметит необычное письмо и откликнется на

призыв. С самого утра, сидя в тени старого тополя, он представлял себе, кем может оказаться его новый товарищ: юношей или девушкой, школьником или взрослым. Однако спустя некоторое время сизарь вернулся на голубятню ни с чем. Записка так и осталась при нем.

В тот день Костя не слишком расстроился. «Это ведь первый раз, — утешал себя он. — Мало кому удается добиться цели с первого раза, а значит, надо попытаться еще». На следующее утро он снова выпустил голубя, но тот и на этот раз не принес ответного письма. Из дня в день история повторялась: никто так и не увидел бумажки на лапке птицы и не прочел записки.

Так прошло несколько недель, лето перевалило за середину, близился август. Костя старался не терять надежды, и Алеша изо всех сил поддерживал его, но ответ так и не приходил, и со временем братья начали падать духом. Алеша подумывал о том, чтобы дать в газету объявление о поиске друзей по переписке от имени брата, чтобы тот все-таки смог завести друзей, пусть и более традиционным способом, а Костя продолжал отпускать голубя с письмом в город, но уже скорее по привычке. Надежда таяла с каждым днем.

И вдруг, в один прекрасный день, когда братья уже совсем перестали ждать, голубь вернулся с ответной запиской. Костя никак не мог поверить, что ему наконец-то улыбнулась удача. Слегка дрожащими от волнения руками он развернул письмо и прочел:

«Здравствуй, Костя! Меня зовут Лена, мне четырнадцать лет. Каждое утро я бегаю в парке, и там мне однажды попался на глаза голубь с бумажкой на лапке. Сначала я подумала, что мне это просто показалось, но потом увидела его снова. Я встречала этого голубя с красной ниткой на лапке почти каждый день. но

только сегодня мне удалось прочесть твое послание. Если хочешь, можешь писать мне письма, и я с радостью буду отвечать на них».

Впервые за последние дни Костя почувствовал себя счастливым. Наконец-то и у него появился настоящий товарищ — не член его семьи, а человек из «большого мира», куда он сам из-за своей болезни попасть никак не мог.

У них с Леной завязалась переписка. Письма они передавали друг другу с помощью все того же голубя: по утрам Лена бегала в парке и поджидала появления сизаря, чтобы получить очередное письмо от Кости и передать ему свое. Благодаря этому Костя наконец перестал чувствовать себя оторванным от внешнего мира. Он был рад, что на его послание откликнулась именно девочка, к тому же близкая ему по возрасту: хотя он и говорил Алеше, что рад был бы переписываться с любым человеком, независимо от его пола и возраста, в этом, конечно, немного кривил душой. Как и все подростки, Костя мечтал о любви, мечтал встретить ту единственную, которая перевернет всю его жизнь и раскрасит мир новыми красками...

У них с Леной неизменно находились темы для обсуждения: она писала ему о школе, о спорте (Лена занималась художественной гимнастикой), о фильмах, которые недавно видела в кинотеатре, а он — о прочитанных книгах и о тех интересных мыслях, которые приходили ему в голову, пока он сидел дома один. Кроме того, в переписке с незнакомой девочкой был для юноши еще один плюс: Лена не знала, что Костя инвалид, и общалась с ним, как с обычным семнадцатилетним парнем — не жалела. не ахала и не спрашивала о здоровье. И Косте было приятно хотя

бы ненадолго почувствовать себя здоровым и забыть о коляске.

Так они переписывались довольно долго. Но однажды случилось так, что очередное послание Лены Костю не обрадовало, а скорее расстроило. Девочка писала:

«Мы уже давно общаемся с тобой, и я хочу сказать, что ты мне очень нравишься, Костя. С тобой очень интересно, и я хочу тебя увидеть. Может, мы могли бы как-нибудь встретиться в парке и погулять? Это было бы здорово. С нетерпением жду твоего ответа. Лена».

Конечно, этого следовало ожидать: если парень с девушкой некоторое время переписываются, неизменно наступает момент, когда у них возникает желание увидеть друг друга в реальности. Но раньше Костя как-то не задумывался, что придется признаваться Лене в том, что он инвалид-колясочник. Или, может, просто не позволял себе задуматься? Однако теперь парень почувствовал себя так, словно угодил в западню. Вдруг она, узнав о его проблеме, больше не захочет с ним общаться?

Обычно Костя отвечал на Ленины письма сразу же, чтобы наутро отправить ей с голубем ответ, но в тот день у него ничего не вышло. Он не знал, как написать ей о том, что не сможет прийти в парк, и объяснить, почему. Правда, сначала он по привычке все-таки сел за письмо, но нужные слова не приходили; он перевел кучу бумаги, но письма написать так и не сумел.

Когда Алеша вернулся из школы, он сразу понял, что с Костей что-то не так: старший брат выглядел непривычно грустным и растерянным. Узнав, в чем дело, Леша тоже задумался. Он всей душой хотел бы помочь брату, но понятия не имел, как это сделать.

— Может быть, просто перевести разговор на другую тему? — неуверенно предложил он. — Не отвечай ей ничего про встречу, да и дело с концом.

— Тогда она спросит еще раз, — возразил Костя. — Или, чего доброго, обидится. И правильно сделает.

— Тогда наври ей что-нибудь. Что заболел, простудился и в парк прийти не можешь.

— Но не могу же я вечно быть простуженным? Рано или поздно этот вопрос опять возникнет. И тогда уже вранье о простуде не поможет. Нет, Лешка, нехорошо это — врать. Надо как-то признаться ей во всем...

— Хочешь, я помогу тебе сочинить письмо? — предложил Алеша. — Все-таки одна голова — хорошо, а две — лучше.

Костя взглянул на брата с благодарностью.

— Спасибо, Лешка. Это мне и правда будет очень кстати.

Вдвоем братья просидели над письмом почти весь вечер, спорили, предлагали и отвергали варианты, но все-таки сочинили ответ, который более или менее устроил обоих:

«Спасибо за добрые слова, Леночка. Я тоже очень хотел бы с тобой встретиться в парке, но боюсь, что это невозможно. Дело в том, что кое о чем я так не решился тебе рассказать. Я — с детства инвалид, прикован к инвалидному креслу, поэтому, к сожалению, не смогу прийти ни в парк, ни куда-нибудь еще. Прости меня, пожалуйста, за то, что сразу не признался. Костя».

Братья очень боялись, что, узнав правду о Косте, девочка испугается и прекратит переписку. И, когда на следующее утро голубь вернулся с «прогулки», оба некоторое время не решались взять его — а вдруг в записке на лапке птицы сказано, что Лена не хочет переписываться с инвалидом? Но все оказалось еще

хуже. Голубь прилетел «пустым» — Лена вообще ничего не ответила.

Братья молча переглянулись.

— Что ж, этого следовало ожидать... — тихо проговорил после долгой паузы Костя. И Леша вдруг заметил, что в глазах его старшего брата стоят слезы. Это стало для мальчика настоящим шоком. Раньше он никогда не видел, чтобы Костя плакал, — ни боль, ни другие тяготы болезни не могли пошатнуть стойкость Солнечного мальчика. А тут... Не зная, как поддержать и утешить Костю, Леша кинулся ему на шею и стал с жаром говорить, как он любит брата, какой тот замечательный и каким прекрасным примером всегда служит для него, Леша... Но в глубине души Алеша понимал, что все это не поможет Косте. Слишком много на свете проблем, которые нельзя решить одними словами.

На другой день Костя даже во двор выходить не стал, сославшись на плохую погоду. Но Леша знал, что дело совсем не в мелком осеннем дожде — раньше брата такое не смущало. Он ничего не сказал Косте, но перед тем, как идти в школу, заглянул на голубятню и выпустил сизаря полетать — просто так, без особой надежды. Вернувшись домой, на всякий случай проверил его — и был просто на седьмом небе от радости, увидев привязанную к лапке бумажку.

На этот раз письмо оказалось совсем коротеньким:

«Напиши, пожалуйста, свой адрес. Я хотела бы тебя навестить, если, конечно, ты не против. Лена».

Со всех ног Леша помчался к брату, чтобы сообщить ему такое приятное известие. Ощущая одновременно и радость (Лена все-таки ответила! Она не обиделась, не испугалась, она действительно хотела его увидеть!), и волнение (а вдруг он ей совсем не

понравится?), Костя написал на чистом листке свой адрес и отправил его подруге по переписке.

И вот однажды днем в дверь квартиры, где в одиночестве скучал Костя, кто-то позвонил... Юноша закрыл книгу и поехал на коляске к входной двери.

...Переписываясь с Леной, Костя не раз пытался представить себе, как она выглядит. Читая ее письма, он мысленно рисовал себе ее портрет, размышлял о том, какого цвета у нее глаза и волосы, худая она или пухленькая, есть ли у нее веснушки. Каждый раз девочка почему-то представлялась ему по-разному, и потому Косте было вдвойне любопытно, какая же она на самом деле.

И теперь она стояла на пороге, нервно теребя ручки сумки, из которой выглядывали круглые румяные бока яблоч, и во все глаза смотрела на Костю.

Она оказалась худенькой, длинноногой, все еще по-подростковому немного угловатой. Из-под школьной формы виднелись острые коленки, и на одной из них красовался большой синяк («Наверно, упала и поранилась, когда бегала», — подумал Костя). Глаза у девочки были зелеными, как первая весенняя листва, а волосы — светлыми, немного рыжеватыми. Словом, она оказалась очень симпатичной — и, едва увидев ее, Костя понял, что это та самая Лена, с которой он столько времени обменивался письмами. Она не могла выглядеть никак иначе. И конечно же, показалась Косте самой красивой на свете.

Неожиданно юноша почувствовал себя неловко. Он не знал, что делать, не знал, что сказать, но чем дольше они оба молчали, тем сильнее чувствовалось напряжение. Обстановку обязательно надо было как-то разрядить. Поэтому Костя собрался с духом и улыбнулся гостье:

— Привет. Я Костя. Проходи, пожалуйста.

— Привет. А я — Лена. Очень рада с тобой познакомиться, — улыбнулась девочка в ответ и протянула ему руку, которую Костя с удовольствием пожал. — А сумку куда можно положить? Я тут тебе яблок принесла... ты же любишь яблоки, правда?

— Люблю, спасибо. Проходи вот сюда, в комнату, садись, почувствуй себя как дома...

Костя бодро произносил эти слова, но сам ощущал, насколько фальшиво они звучат. Разве сможет эта чудесная девочка чувствовать себя «как дома» рядом с ним, калекой! Наверное, ей будет так же, как ему, неловко, они мучительно станут искать тему для разговора, но так и не смогут найти...

Однако все вышло иначе. Лена, нисколько не смущаясь, повернулась к нему и с улыбкой проговорила:

— Костя, можно я поставлю чайник? А то так хочется пить, ужас просто!

— Ну конечно же можно! — с готовностью откликнулся юноша. — Может быть, ты хочешь и перекусить? В холодильнике есть колбаса и сыр, а хлеб в хлебнице.

— С удовольствием! — охотно согласилась Лена, принимаясь хозяйничать. — Честно сказать, я не успела сегодня позавтракать. А знаешь, почему? Пропала! Вчера поздно пришла с тренировки, а нам, как назло, задали столько уроков... Поленилась, не стала делать химию, понадеялась, что не спросят... И что ты думаешь? Меня первой же вызвали к доске! Кошмар! Еле-еле выплыла на тройку, спасибо, Наташка формулу подсказала. Наташка — это моя подруга...

Лена болтала так легко и непринужденно, словно они с Костей не встретились впервые, а были старыми друзьями. И, к своему удивлению и радости, Костя ощущал то же самое. Когда вернулся Леша, Костя

и Лена пили на кухне чай с бутербродами и громко смеялись. И у Алеши сразу стало тепло на душе — давно он не видел своего брата таким счастливым.

— Лена, это мой брат, Алеша, — сразу же познакомил их Костя. — Ему тоже четырнадцать лет, как и тебе. И он тоже спортсмен, играет в футбол.

— Ну, какой я спортсмен... — заскромничал Алеша, — меня пока еще даже в юниорскую команду не взяли.

Он хотел было уйти в комнату, чтобы не мешать старшему брату общаться с девушкой, но Костя уговорил его остаться. Пить чай втроем оказалось даже веселее: темы для разговоров долго не иссякали, ребята шутили и смеялись до упаду, и Леше, как и его брату, тоже очень быстро стало казаться, что они с Леной знакомы уже очень давно. Время пролетело незаметно, и все очень расстроились, когда наступил вечер и Лене пришлось уйти домой.

— Вы замечательные, — сказала она перед тем, как попрощаться. — Я очень рада, что познакомилась с вами обоими. Можно я буду к вам еще приходить?

— Конечно, приходи, — чуть не хором откликнулись братья. А Костя добавил, отчего-то потупившись:

— Я буду очень тебя ждать.

С тех пор Лена регулярно навевывалась к ним в гости. Чаще всего это случалось по вторникам и четвергам, в те дни, когда у Лены не было тренировок. Она приходила сразу после школы и развлекала Костю, чтобы тот не скучал в одиночестве до возвращения младшего брата — у того как раз в эти дни тренировка была. Потом они все вместе обедали и снова разговаривали, смотрели телевизор или играли в разные игры, которых Лена знала множество, одна интереснее другой. Нередко Алеша с Леной вместе делали

уроки — оба учились в восьмом классе, и домашние задания у них часто совпадали, а выполнять их вместе оказалось и веселее, и быстрее. Вечером Лена уходила, и Костя едва ли не сразу начинал с нетерпением ожидать ее следующего визита.

Иногда он по-прежнему посылал ей письма с голубем, и неизменно сизарь приносил ему ответные записки: как правило, короткие, но очень веселые, часто с забавными рисунками. Косте они очень нравились, и он хранил все эти весточки в специальной тетрадке — все до единой. Начиная с самой первой записки.

С появлением в его жизни Лены Костя даже стал чувствовать себя лучше. Теперь он улыбался и шутил даже чаще, чем раньше, и никто больше не видел его грустным или задумчивым. Солнечный мальчик как словно расцвел, и, если не знать о том, что его болезнь неизлечима, можно было бы подумать, будто он начинает выздоравливать.

После того как Лена узнала правду о Костиной болезни, он старался больше ничего от нее не скрывать. Поэтому однажды пришлось рассказать ей и о том, что чудес не бывает и что когда-нибудь все закончится. Услышав от друга эти слова, Лена рассердилась:

— Больше никогда не говори так! — воскликнула она. — Помнишь, как у Горького было — «Во что веришь, то и есть»? Так вот, если веришь в плохое, то оно и случается. А ты лучше верь в хорошее, тогда и сбываться будет только хорошее!

Костя лишь покачал головой, но спорить с девочкой не стал. Он был реалистом и доверял врачам, но ему не хотелось расстраивать Лену, которая, похоже, действительно искренне привязалась к нему и огорчилась бы от подобных слов.

Костя постоянно думал, можно ли назвать то, что он испытывал по отношению к этой девушке, влюбленностью. Будучи фактически изолированным от мира, всю жизнь прожив в замкнутом пространстве в окружении родных, Костя знал о влюбленности только по многочисленным прочитанным книгам и фильмам, которые он смотрел по старому черно-белому телевизору. Можно ли считать себя влюбленным, если смотришь на человека и не в силах глаз от него отвести, если, когда видишь его, сердце замирает, а потом как будто подпрыгивает в груди? Несколько дней поломав голову над этим вопросом, Костя решил, что как раз это и есть симптомы влюбленности, и поймал себя на мысли, что ему очень приятно это ощущать.

И по большому счету его даже не слишком беспокоил вопрос о том, чувствует ли Лена то же самое по отношению к нему. Наверное, все-таки нет. Костя был достаточно умным парнем, чтобы это понимать. Но, как ни удивительно, осознание не слишком его огорчало. Одно то, что такая замечательная девочка, как Лена, стала его другом, делало Костю счастливым. Ему просто приятно было общаться с ней, а она с удовольствием болтала с ним, поэтому у Кости не было поводов думать о неразделенной любви или еще о чем-то в такой же мере печальном. Он был влюблен и наслаждался этим чувством, как бесценным даром, которого в любой момент мог лишиться, и эта мысль приучила его ценить то, что у него имелось.

Так продолжалось довольно долго — еще полгода и даже больше. Настала зима, и Новый год они встретили впятером: Костя, Алеша, их мама и папа и Лена. Родители Лены знали о Косте и без возражений отпустили дочку к друзьям в новогоднюю ночь. Да и Ко-

стины родители привыкли к тому, что Лена всегда рядом с их сыном, и принимали ее как родную. Девочка же с одинаковым удовольствием общалась с обоими братьями, но старалась уделять больше внимания Косте — тому человеку, с которым познакомилась благодаря голубю-сизарию. В глубине души Алеша иногда даже завидовал своему старшему брату и его тесной дружбе с девочкой, которая нравилась ему самому. Однако он никогда не высказывал этого вслух и даже не подавал вида, понимая, что Костя, как никто другой, имеет право на такую хорошую подругу, и именно Костя, как никто другой, заслуживает счастья — хотя бы потому, что он уже достаточно настрадался в жизни. И на самом деле Алеше очень хотелось, чтобы у Кости с Леной все было хорошо, потому что он видел, как эта дружба благотворно влияет на брата. Он искренне желал Солнечному мальчику Косте только добра и надеялся на лучшее.

Но, к сожалению, чудес не бывает...

Однажды, когда в погожий весенний день Лена позвонила в дверь их квартиры, дверь ей открыл не Костя, а Алеша. И по выражению его лица, по красным, опухшим от слез глазам Лена сразу поняла, что произошло. Леша мог даже ничего не говорить... И он не сказал, просто пропустил Лену в прихожую.

Некоторое время ребята молчали, поняв друг друга без слов. А потом Лена тихо спросила:

— Когда это случилось?

И Леша ответил глухим, незнакомым голосом:

— Сегодня ночью. Во сне. Он даже не успел проснуться. Видимо, ему снилось что-то хорошее, потому что он ум... ушел... с улыбкой.

Не выдержал, всхлипнул, по-детски вытер нос тыльной стороной ладони и добавил:

— Врачи даже удивились... Они сказали, что при его диагнозе последние месяцы обычно бывают очень мучительны. А Костя... Он был счастлив... Как никогда в жизни. Это из-за тебя, Лена. Спасибо тебе...

Солнечный мальчик Костя умер, оставив после себя лишь добрые светлые письма, которые когда-то писал незнакомой девочке, отправляя их в мир с голубем, как когда-то давно, во время войны, поступал его дед. Но история о мальчике Косте, девочке Лене и голубе-сизаре на этом не закончилась. Девочка Лена выросла и вышла замуж за Костиного брата Алешу. И в день своей свадьбы, отпуская в небо двух красивых белых голубей, они оба вспоминали Костю и в глубине души очень жалели о том, что его больше нет рядом.

А потом у Алеши и Лены родился сын. И его назвали в честь папиного брата — Константином. И этим сыном был ты.

* * *

Я ничего не сказал в ответ, только кивнул. Говорить после этой истории не хотелось. О том, что речь идет о моих папе и маме, я догадался уже давно. Я знал, что меня называли в честь дяди, знал и о том, что тот был замечательным человеком, который очень любил жизнь и умел быть счастливым даже в такой ситуации, в которой любой другой на его месте чувствовал бы себя самым несчастным в мире.

Говорят, что я чем-то похож на дядю Костю. Например, тем, что я тоже люблю голубей. И когда-нибудь я, так же как дядя Костя, приручу сизаря и отправлю с ним весточку в мир. И буду верить в то, что моя мечта тоже обязательно сделает кого-то счастливым.

МАРИЯ
МЕТЛИЦКАЯ



ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ



Шура помнила эту сцену очень отчетливо: конец декабря, совсем скоро самый любимый Шурин праздник – Новый год. Мягкий морозец и редкий медленный снег, танцующий под неярким светом фонаря. Они идут с мамой на каток, точнее, в «секцию» – как говорит любимая Асенька, Шурина бабушка. Шура – в коричневой старой и тесноватой цигейковой шубе, переделанной в курточку, и вязаных рейтузах. Через плечо, на шнурках, связанных между собой, перекинуты ботинки с фигурными коньками. Фигурное катание Шура обожает, а вот ботинки ненавидит. Они черные, мальчишковые, доставшиеся Шуре по наследству. Конечно, она мечтает о белых, из блестящей и мягкой на ощупь, волшебной кожи, с хромированными крючками, настоящих, чешского производства. Но мама говорит, что это дорого и не по карману. Да и вообще, надо еще посмотреть, какая из Шуры фигуристка. «Может, от слова «фигу»?» – спрашивает мама и залиисто смеется. Шура слегка обижается, но мама ее целует и просит не дуться.

Сегодня мама почему-то сопровождает Шуру, хотя идти до катка от дома всего каких-нибудь пять минут, мимо детского магазина «Смена». Каток – во дворе красного кирпичного дома у метро. Дом в народе называется генеральским. Там и вправду живут военные, да еще «в чинах». Шура видит, как из подъезда

выходят толстые важные дяденьки в длинных шинелях и их не менее важные жены — тоже крупные, в богатых каракулевых шубах.

Перед выходом Асенька кричит Шуре вслед:

— Держи крепче мать! Скользко!

Шура отвечает:

— Ага! — И на улице хватает маму за локоть.

Мама «в ожидании» — это выражение бабушки Аси. Она вообще, как говорит папа, любит разные «старорежимные» фразочки. У мамы большой живот. Просто огромный. Через месяц ей рожать. Мама любит пошутить и на вопрос «кого ждете?» отвечает «автoбус». И при этом заливисто смеется. Шура держит маму за локоть и заботливо на нее смотрит.

— Гляди под ноги, — советует мама. А Шуре нравится смотреть на нее.

Мама очень хорошенькая. Ну просто красавица. Как бы Шура хотела быть на нее похожей! У мамы большие карие глаза, густейшие волнистые темные волосы и «самый очаровательный курносый нос на свете». Так говорит папа. А на носу — редкие конопушки. Мама очень огорчается, когда с первым весенним солнышком их прибавляется, и начинает их пересчитывать. А папа смеется и чмокает маму прямо в курносый нос. Ему нравится в маме все, это видно без всяких слов. И Шура смущается и отводит глаза, когда видит, как в коридоре или на кухне отец украдкой обнимает маму и крепко прижимает ее к себе. Шура мышью шмыгает к себе в комнату и слышит, как мама вырывается и тихо говорит папе:

— Ну, хватит, Митя, отстань! Сколько можно, ей-богу!

Шуре почему-то становится обидно за отца, и она злится на маму. А вообще у них самая счастливая семья — в этом Шура совершенно уверена.

Шурино папу зовут Дмитрий Владимирович. Он — хирург в военном госпитале, заведующий отделением и подполковник. Отделение называется «торакальная хирургия». Папа написал по этой теме не одну статью и даже главу в пособии для студентов. Говорят, что он лучший специалист в городе. А это совсем не шутки. Рабочий день у него ненормированный и редко бывает выходной. Папу могут вызвать на работу даже среди ночи — если кому-то вдруг понадобится срочная операция.

Асенька говорит, что еще он «человек кристальной честности», за консультации и операции не берет не то что денег, но и даже презентов в виде коньяка или конфет. Поэтому и живут они скромно, на одну папину зарплату. Тем более что мама сейчас в декрете. Асенька целый день хлопочет на кухне — варит, жарит и печет. Экономит. Папа очень любит поесть, он говорит, что это — его единственная, из простительных, слабость. А мама злится на папу за то, что он не требует у своего начальства большую квартиру — они живут в крошечной двухкомнатной, а ведь скоро их будет пятеро. Папа все отмахивается и говорит — потом. А мама с вызовом спрашивает: «Потом — это когда?»

Наверное, мама тоже хочет жить в генеральском доме. И носить каракулевую шубу с большим воротником. Но папа еще не генерал, а всего-навсего подполковник, так что жить им в генеральском доме пока не положено. Это Шура объясняет непонятливой маме — так она заступает за отца. Но мама фыркает («Отстань!») и, вздохнув, добавляет:

— Много ты понимаешь!

Шура вздыхает и бросает взгляд на свои коньки.

В раздевалке она туго шнурует ботинки, чтобы не болталась нога, и вылетает на лед. Как ей нравится скользить по ровному, блестящему и гладкому льду! Делать «ласточку», и «пистолетик», и «дорожку». И просто кружиться под музыку!

Мама стоит у бортика и машет Шуру рукой. Потом Шура видит возле мамы высокого мужчину в длинном черном пальто. И еще она видит, как оба они неотрывно смотрят на Шурины «пируэты» и о чем-то оживленно разговаривают. Тут Шура отвлекается на Ладку Самсонову, точнее, на ее костюм. У Ладки, конечно, белые ботинки на крючках и еще вязаная белая юбочка с фестонами по краям, белая курточка из кролика и белый беретик, из-под которого выбиваются светлые Ладкины кудри. В общем, сказочная Снегурка, а не Ладка. Так выглядят по телевизору настоящие фигуристки. Правда, катается Ладка не ах. Тренер ее ругает, но все же Ладкой любитесь — это всем заметно. А вот у Шуры сегодня все получается очень хорошо. Она смотрит на маму, и мама поднимает кверху большой палец.

— Здрóрово!

Шура подъезжает к бортику и вопросительно смотрит на маму. Мамин собеседник улыбается ей и говорит:

— Здравствуй, Шура!

Шура ему отвечает и опять смотрит на маму. Мама говорит:

— Познакомься, Шура, это Андрей Васильевич. Мой старинный приятель.

Шура вежливо кивает.

Потом занятия кончаются, и Шура идет в раздевалку, где Ладка хвастается новым нарядом. Девочки обступают ее плотным кругом, не подходит только Шура — ей противно Ладкино хвастовство.

Шура выходит на улицу и видит, что мама все еще стоит со своим приятелем. Они направляются к дому, и мама объясняет, что Андрей Васильевич пойдет их провожать. Шура удивляется и пожимает плечами. Мама и ее спутник идут чуть впереди, и теперь он держит маму за локоть.

У магазина «Смена» они останавливаются и шепотом о чем-то горячо спорят. Шура стоит в стороне и рассматривает витрину. Потом Андрей Васильевич говорит:

— А пойдем, Шура, заглянем в «Детский мир»? Может, найдем там что-нибудь интересное!

Шура теряется и опять смотрит на маму. Мама машет рукой: иди!

И они идут в магазин. Мама остается ждать их на улице.

В магазине полно народу — это как всегда. Народ снует между прилавками и кассой. Шура немного теряется, а Андрей Васильевич спрашивает, чего ей хочется. Шура смущенно молчит. Тогда он берет ее за руку, и они идут к отделу спорттоваров. Сквозь плотную толпу они наконец пробираются к прилавку. И тут Шура замирает: на полке она видит белые фигурные ботинки. Мягкие даже на вид. С блестящими крючками. У нее начинает учащенно биться сердце, и, осмелев, она кивает: эти!

— Ну вот и славно! — говорит Андрей Васильевич. — То, о чем человек мечтает, обязательно должно исполняться!

Он просит Шуру померить ботинки и даже немного в них пройтись.

— Не жмут? — заботливо спрашивает он.

Шура мотает головой. Потом он долго беседует с продавщицей, и вдобавок к ботинкам та выписывает еще и лезвия, и красивые синие пластмассовые чехлы. Андрей Васильевич берет чек, и они идут в кассу — платить. Но Шурина радость все же омрачена: она боится, что мама расстроится и будет ее ругать. Они получают коробку с коньками и выходят на улицу.

— Дотащишь? — улыбается Андрей Васильевич. Вспотевшая от волнения Шура радостно кивает.

— Купили? — спрашивает мама, и Шура с облегчением видит, что она совсем не сердится.

Теперь Шура абсолютно счастлива. Она идет впереди и гордо несет в руках большую серую коробку. Андрей Васильевич провожает их до дома, и они опять о чем-то долго говорят с мамой. Шура стоит поодаль. Ей не терпится поскорее прийти домой, померить ботинки и показать их скорее Асеньке и папе. Хотя наверняка папы, как всегда, нет дома.

Потом Андрей Васильевич, почему-то вздыхая, говорит:

— Ну, что, давай, Шура, прощаться.

Он протягивает ей руку и смотрит на нее долгим, внимательным и почему-то очень грустным взглядом.

— Прощайся, Шура. — Мама тоже грустно вздыхает. Андрей Васильевич присаживается перед Шурой на корточки, поправляет ей шапку, внимательно на нее смотрит и говорит ей странные слова, которые она почему-то запоминает на всю жизнь:

— Будь здорова, девочка, и будь счастлива. Очень тебя прошу! — И добавляет: — Все твои рекорды еще впереди.

Шура смущается и кивает. Они наконец идут к подъезду, и Шура почему-то оборачивается. Она видит, как Андрей Васильевич пристально смотрит им вслед, кричит ему «Спасибо!» и машет рукой.

Асенька не очень удивляется подарку и почему-то качает головой. Шура на Асеньку даже обижается — та не поделила с ней радость. И еще она, кажется, ругается с мамой: Шура слышит, что мама раздражена и говорит Асеньке, чтобы та оставила ее в покое.

Папе удастся показать коньки только на следующий день — он, как всегда, приходит домой поздно, когда Шура уже, конечно, спит. Вот папа очень за Шуру рад, и это видно. Только почему-то и он вздыхает и грустно на нее смотрит.

А Шура продолжает мечтать. Она представляет, что снимет нелепую шубу и рейтузы, наденет голубую весеннюю куртку и колготки — у нее есть пара эластичных, выходных, — закрутит на голове плотную, тугую баранку — и плавно заскользит по гладкому льду. И будет она похожа на прекрасную Людмилу Белоусову, лучшую фигуристку на всем земном шаре, и никакая Ладка с ней не сравнится.

Скоро Новый год, все начинают готовиться к празднику. Папа приносит живую елку — огромную, под самый потолок — и достает с антресолей ящик с елочными игрушками. Шура разбирает эти игрушки. Больше всего ей нравятся стеклянные фигурки — лыжница, Снегурочка и Дед Мороз. Шура очень осто-

рожна: игрушки — еще из бабулиного детства, и не дай бог их разбить.

Асенька печет пироги и варит холодец. По всему дому разносятся восхитительные запахи свежей сдобы, лаврового листа и крепкого мясного бульона. Папа раскладывает стол и застилает его нарядной белой скатертью. Мама протирает салфеткой парадные бокалы. В доме пахнет радостью и праздником. А Шура мечтает только об одном: чтобы скорее закончились праздники и она пошла бы с мамой на каток — ей не терпится надеть новые коньки.

Но после праздников маму увозят в роддом — и через два дня она рождает сестричку Катеньку. Из роддома ее встречают папа и Шура — бабуля готовится к приему нового члена семьи: варит обед, делает влажную уборку и проглаживает пеленки. Мама очень бледная и еле держится на ногах. Она целует Шуру и говорит, что роды были крайне тяжелыми. Дома она сразу ложится в постель, и все начинают хлопотать возле Катеньки: кладут ее на обеденный стол, предварительно постелив на него старое детское Шурино одеяльце, разворачивают тугой маленький сверток.

— Какой чудесный младенец! — говорит Асенька.

Шура с ней абсолютно согласна. Катенька — красавица. У нее карие глазки и бровки «домиком», как у мамы, и густые, совсем не младенческие, темные кудри. И еще гладкие атласные пяточки и умильные крохотные пальчики на руках.

— Очень ладная девочка! — говорит Асенька.

А у папы не сходит с лица счастливая улыбка. Мама лежит в кровати и тоже счастливо улыбается. Счастливы все — это очевидно. Но Шуре кажется, что самая

счастливая — точно она. Катеньку она любит больше всех. Страшно признаться, но ей кажется, даже больше мамы.

Катенька не кричит, спит ночами и ест по часам.

— Чудо-ребенок, — говорит мама. — Не то что ты, Шурка, орала по поводу и без.

Шура слегка обижается, а бабуля цыкает на маму и стучит пальцем по виску.

Папа теперь старается прийти с работы пораньше, бежит мыть руки и тоже торопится к Катеньке. Он целует ее крошечные бархатные ножки и перебирает отросшие нежные волосики. А Катенька смеется, открыв влажные перламутровые беззубые десны.

Теперь на каток Шура ходит с мамой и Катенькой, которая лежит в глубокой розовой с белой полосой коляске. После занятий все девчонки обступают коляску с Катенькой и, конечно, завидуют Шуре.

Так проходит остаток зимы и весна, а в мае папа снимает в Загорянке дачу. И как только заканчиваются занятия в школе, на большом крытом грузовике все переезжают туда. Папа приезжает на дачу в пятницу вечером, и мама с коляской и Шурой идут встречать его на станцию.

Это самое счастливое время для Шуры. Она скучает по папе, но знает, что он обязательно привезет ей новую книжку или куклу. И обязательно пирожные к чаю. И скорее всего, черешню в бумажном кульке, которую она так любит. Мама будет его ругать за то, что дорогие ягоды, как всегда, помялись. И еще папа обязательно купит Шуре вафельный стаканчик пломбира с желтой розочкой — самое вкусное на свете. Дома Шура торжественно вытащит из холодильника граненый стакан с земляникой, собранной ею собст-

венноручно в лесу, на поляне, специально для папы. Почти полный стакан — ну, не хватает чуть-чуть, самую малость, Шура не удержалась и съела несколько ягод. Спать все лягут очень поздно, потому что будут пить на террасе чай и вести долгие семейные разговоры. У Шуры начнут слипаться глаза, и мама станет ее гнать в кровать, а папа разрешит посидеть еще немного. А в субботу они, скорее всего, пойдут на озеро, а вечером будут печь в золе картошку и, может быть, даже жарить шашлыки, если папа привезет подходящее мясо.

Но очень скоро пробежит-пролетит короткое и прекрасное лето и начнется московская жизнь. Тоже, между прочим, не самая плохая.

Школу Шура любит. Есть, конечно, противные учителя — например, трудяша и ботаничка. Но зато есть и другие — русичка Елена Петровна, сестра одного известного, очень известного поэта-фронтовика. Ах, какие она читала ребятам стихи! Или историчка Надежда Львовна. Ее рассказы о Древнем мире или Крестовых походах слушали, открыв рот, даже отпетые двоечники. А математичка Ида Давыдовна! Даже при всей нелюбви к математике на ее уроках Шуре никогда не было скучно.

Да и вообще, старая, темного кирпича, уютная школа, с густым, словно припорошенным весной снегом, яблоневым садом. Любимая классная руководительница Инна Ивановна. Театральный кружок по вечерам в пятницу. Походы в Третьяковку или в Пушкинский. Какао и пирожки с повидлом в школьном буфете. А вечера патриотической песни в актовом зале, где натерты до блеска полы и вкусно пахнет мастикой? А гулянье во дворе? А «классики», «казаки-

разбойники» и «прятки»? И «секретики» из фантиков и цветной фольги, зарытые во дворе...

А еще можно сбежать к метро за фруктовым стаканчиком и поглазеть на цыганок в пестрых юбках, с младенчиками, замотанными в платки и привязанными сзади к материнской спине. Цыганок много, целая стая. Они громко галдят, ругаются между собой на своем языке и продают красные леденцы на палочках — петухов и медведей. Леденцы прозрачные, как стекло, и Шура мечтает их попробовать, но мама ей категорически это запрещает. К цыганкам подходит молодой безусый милиционер и пытается их разогнать, но они совсем не боятся и дружно кричат на него — все вместе.

К метро Шура бегает с Динкой и Розкой, двойняшками. Мама говорит, что они — «бедные девочки». Бедные потому, что очень некрасивые. Шура с мамой спорит и обижается за подружек, но в душе с мамой согласна — двойняшки и вправду совсем не симпатичные. А насчет «бедные» — это вообще смешно. Динка и Розка живут в генеральском доме в большой трехкомнатной квартире, где у них своя комната. Еще у них есть домработница Валя. Мать двойняшек, Белла Арнольдовна, не работает. Она рассказывает в шелковом халате, с кремом на лице и раздает указания Вале. Валя готовит, гладит, убирает квартиру и гуляет с собакой Кузькой. Что делает Белла Арнольдовна, Шура не понимает. Белла Арнольдовна ходит по квартире с телефоном и беседует день напролет. Ей делают массаж, педикюр и маникюр, косметичка и педикюрша ходят к ней на дом. В доме у них красиво и богато — это Шура понимает. На полах — ковры, на стенах — картины, на комоды — вазы.

Отец Динки и Розки — директор магазина «Диета», лучшего, между прочим, магазина в районе. В школьный буфет двойняшки не ходят, а едят на перемене восхитительные бутерброды с ветчиной и копченой колбасой. У Шуры от вида и запаха этих бутербродов кружится голова. Подруги предлагают Шуре половину, но Шура гордо отказывается и бежит в буфет за пирожками. Иногда Шура приходит в гости к сестрам, и девочки предлагают ей испечь печенье или пончики. Несмотря на огромную библиотеку, любимая книга сестер — «Книга о вкусной и здоровой пище», очень тяжелая, с цветными картинками. Девочки увлеченно ее листают и выбирают рецепты. Потом они приступают к делу, и по кухне летает мучная пыль. Печенье, как правило, не получается, и домработница Валя переживает, что они напрасно перевели продукты. Но Белла Арнольдовна девочек не ругает.

В классе случается страшное событие — умирает Лара Орлова. Узкий голубой гроб стоит во дворе Лариного дома на трех табуретках. Лара, худенькая и бледная, лежит в гробу, словно заснувшая принцесса. Снежинки медленно падают на ее спокойное лицо и не тают. Девочки держат друг друга за руки и боятся подойти к гробу поближе. Им и страшно, и интересно одновременно. Лару провожает весь класс и все учителя. Учителя плачут, а дети стоят в оцепенении — они еще не очень понимают, что такое смерть. Шура видит Ларину мать — ее с двух сторон держат под руки, но она все равно оседает на землю.

Потом девочки сидят в детской у двойняшек и обсуждают Ларины похороны. Валя тяжело вздыхает и говорит, что бог дал, бог и взял. Белла Арнольдовна кри-

чит, что Валя темная и деревенская дура, прижимает к себе детей, плачет и выносит коробку шоколадного зефира. Обед отменяется. Белла спрашивает у Шуры про родителей и Катеньку и, закатывая глаза, говорит, что Шурин папа, такой спе-ци-алист, мог бы жить, как сыр в масле. Она трагически обводит взглядом свои ковры, мебель и хрусталь, вздыхая, прибавляет:

— Есть еще приличные люди на свете!

И непонятно, осуждает она этих самых приличных людей или восторгается ими.

Белла Арнольдовна опять тяжело вздыхает, просит Валу сварить кофе и отправляется в спальню отдыхать.

Шурина мама собирается выходить на работу. Эта тема обсуждается на семейном совете. Папа категорически против. Он считает, что мама должна сидеть дома и заниматься детьми. У мамы свои аргументы — она говорит, что на одну зарплату жить невозможно. Последнее слово, как всегда, остается за бабулей. Она твердо и сухо объявляет, что ни в какой детский сад она Катеньку не отдаст и готова с ней сидеть дома. Мама пытается сопротивляться, но довольно быстро соглашается. У мамы улучшается настроение, она достает из шкафа юбки и блузки, приводит их в порядок — подшивает, стирает и гладит. Расстраивается, потому что пополнила и ни во что не влезает. Папа смеется, говорит, что это знак свыше, и еще говорит маме, что она все равно — самая красивая. Шура с ним абсолютно согласна, а мама почему-то злится и плачет.

Мама идет работать в проектный институт чертежницей. Это очень удобно — институт находится прямо в их доме, только в другом крыле. И даже на обед

мама прибегает домой. На маме узкая черная юбочка, голубая, «в огурцах», кофта, и от нее вкусно пахнет польскими духами «Быть может». Шура, кстати, иногда открывает узкий флакончик и капает себе на палец. Очень приятно и пахнет мамой.

По утрам у них сумасшедший дом. Мама, как всегда, опаздывает, носится по квартире, не успевает позавтракать, хватается из кровати сонную Катеньку, начинает ее целовать и почему-то опять шмыгает носом. Папа ждет ее у двери, смотрит на часы и нервничает. А потом хватается за руку, и они наконец уходят.

— Выкатились, слава богу! — вздыхает Асенька и кормит внучек завтраком.

В школе Динка и Розка налетают на Шуру и таинственно шепчут, что в «Детский мир» завезли потрясающие кофты. Вязаные, китайские, с вышитыми на груди розочками. Всех цветов — и белые, и розовые, и голубые, и салатовые. Сказка, а не кофты. Как говорит Белла Арнольдovна, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Кстати, она дочкам купила уже по две на каждую, понятно, разных цветов.

— Дорогие, наверно? — осторожно спрашивает Шура.

— А, ерунда, по двадцать рублей, — небрежно отвечает Динка.

«Ерунда!» — вздыхает про себя Шура. Ну, какая же это ерунда? Но после уроков девочки бегут в магазин. Шура замирает: от кофт и вправду невозможно отвести глаз. Шуре нравится бледно-голубая, с синими розами и перламутровыми пуговицами.

Вечером, набравшись духу, подождав, пока мама отдышится и придет после работы в себя, Шура осторожно заводит разговор про вожденную кофту.

Мама почему-то совсем не сердится, только вздыхает, тяжело поднимается с дивана и говорит Шура:

— Пойдем.

Потом пересчитывает деньги и откладывает в кошелек двадцать рублей.

До закрытия магазина — полчаса, и народу к вечеру там совсем немного. Шура подводит маму к прилавку, и они начинают выбирать. Мама говорит, что голубая кофта простовата, и если брать, то, несомненно, желтую. Шура вздыхает и соглашается. Желтая определенно лучше, чем никакая. Мама направляется к кассе, а продавщица уже заворачивает в бумагу желтое, в розочках, чудо. Вдруг Шура слышит мамин крик и понимает: что-то случилось. Она бросается к кассе и видит, что мама плачет.

— Кошелек вытащили, Шурка! — говорит мама и вытирает ладонью слезы. Вокруг мамы толпятся зеваки и продавщицы. Все утешают ее, а про Шуру никто не вспоминает. Шура одна-одинешенька со своим горем. Потом мама берет Шуру за руки и резко бросает:

— Идем!

По дороге они обе режут в голос. Папа уже дома. Он сидит за столом и ест жареную картошку. Услышав их рассказ, Асенька всплескивает руками, а папа смеется.

— Тоже мне беда! — говорит он.

Ночью Шура, конечно, не спит. Настроение — хуже некуда. Она еще немножко плачет и под утро засыпает. И снятся ей Динка и Розка, понятное дело, в новых кофтах.

День проходит тоскливо — не хочется ни обедать, ни гулять, ни делать уроки. Вечером приходит папа —

совсем не поздно, Шура еще не спит. Он заходит к ней в комнату и кладет на кровать бумажный пакет. В пакете кофта. И не желтая, а голубая. Та самая, из Шуриных снов. Шура бросается к папе на шею и целует его.

— Ты самый лучший на свете! — кричит Шура.

А папа опять смеется:

— Носи, Шуренок, на радость!

И нет человека счастливее, чем Шура. Она меряет кофту и крутится перед зеркалом.

Вскоре случается одна странная история, которую Шура постарается сразу забыть. У метро, куда девчонки побежали за мороженым, она видит маму. Мама стоит с каким-то мужчиной, и он держит ее за руку. Не просто так, а со значением, как сказала бы Асенька. Шура это понимает. Она скорее старается увести двойняшек подальше, чтобы они ничего не заметили. Шура старается об этом не думать, но все равно у нее перед глазами стоят эти двое. Стоят, замерев, и смотрят друг на друга. И похоже, не видят вокруг никого. Мужчина кажется Шуре смутно знакомым, но, положив руку на сердце, она его не очень-то разглядела.

А дома тем временем тоже творится неладное. От Шуры скрывают, но она все видит. Мама часто запирается в ванной и плачет — Шура слышит. Бабуля колотится в дверь, но мама не открывает. А папа, проходя мимо, говорит Асеньке, чтобы та оставила маму в покое.

Потом мама уезжает в командировку. И все это как-то очень странно. Асенька с мамой в ссоре, и папа ходит мрачнее тучи.

— Не останавливай меня, — говорит мама бабуле. — Все равно уеду.

Мама приезжает через несколько дней. С ней творится что-то непонятное. Она то плачет, то смеется, то целует Шуру, то говорит «отстань». Шура беспокоится, что мама болеет, но нет — она снова ходит на работу.

Летом опять снимают дачу. И снова по пятницам Шура с Катенькой встречаются маму и папу на станции. Только они оба какие-то грустные. Мама почти ничего не ест, все лежит в гамаке и курит. Папа пьет на террасе чай, и Асенька, вздыхая, говорит: «Ушел из дома покой», а папа ничего не отвечает. Шура все это слышит, но она занята важным делом: нанизывает на нитку ягоды рябины, делает Катеньке бусы.

В августе собираются на море, но ничего не получается. Папа не может уйти с работы — не на кого оставить отделение. Шура и Катенька очень расстраиваются, а мама говорит:

— Ну и слава богу! Не очень-то и хотелось.

В сентябре снова начинается школа. Динка и Розка, заведя Шуру в угол, жарко шепчут ей на ухо, что они, скорее всего, скоро уедут.

— У папы неприятности, — объясняет Динка.

— Очень крупные, — подтверждает Розка, и обе они делают большие глаза.

— Куда уедете? — понимая, что это страшная тайна, тихо спрашивает Шура.

— Туда, — многозначительно хором отвечают сестры и почему-то поднимают глаза к небу.

— Но это же очень страшно! — пугается Шура.

— Страшнее, чем здесь, не бывает, — трагическим голосом отвечают двойняшки.

Шура мало что понимает, но заранее расстраивается — расставаться с подружками ей совсем не хочется.

Она почти совсем забросила коньки — ходит на каток изредка, по воскресеньям, покататься для себя. Теперь ее больше увлекает театральный кружок и факультативы по химии.

Дома совсем грустно: мама больше не поет по утрам, бабуля все чаще мучается давлением, и папа по утрам делает ей уколы. Мама тоже часто берет больничный и подолгу лежит у себя в комнате на диване и просит ее не беспокоить, а папа еще больше проводит времени на работе.

Иногда, примерно раз в полгода, мама уезжает в командировку. Она долго собирается и просит Беллу Арнольдовну, маму Динки и Розки, достать ей консервы, копченую колбасу, индийский чай и растворимый кофе. Это странно, раньше она с такими просьбами к Белле не обращалась. Уезжает она примерно на неделю, и папа отвозит ее на вокзал. Асенька почти совсем не встает. Шура водит Катеньку в детский сад и кружок бальных танцев.

Динку и Розку на комсомольском собрании с позором выгоняют из комсомольцев. Шура на собрание не идет. На классном часе классная объявляет Динку и Розку предателями родины. Шура опускает глаза, а сестры смеются. Динка с Розкой с родителями уезжают в Америку, от греха подальше, как говорит Белла Арнольдовна. Из Америки они присылают Шуре короткие письма на очень тонкой, почти прозрачной бумаге с цветными бабочками в углу. Шура этих бабочек вырезает и наклеивает на обложку тетрадей.

Умирает Асенька — ночью, во сне. Шура помнит, как в голос, громко плачет мама и просит у бабули за что-то прощения. Еще Шура помнит, что в комнате

стоит красный с черным гроб и в гробу лежит Асенька, почему-то очень маленькая, совсем как ребенок, только в белом платочке на голове; ее очень трудно узнать, никогда раньше платков Асенька не носила. Но папа говорит, что так положено. Он просит Шуру подойти к бабуле и попрощаться и объясняет, что ничего страшного в смерти нет. Но Шура все равно боится.

На кладбище Шуру не берут, она остается с сестрой. Соседки пекут блины и накрывают на стол — с кладбища все приедут поминать Асеньку. На поминках Шура видит, что мама пьет много водки и папа ее все останавливает, но она продолжает пить. Маме становится плохо, соседка ведет ее в ванную и ставит под холодный душ. А мама вырывается, кричит и зовет папу, но папа почему-то не выходит из своей комнаты. Шуре жалко и маму, и папу и еще неловко за маму. Она горько плачет по Асеньке и всем своим детским сердцем понимает, что прежняя, прекрасная жизнь закончилась безвозвратно и никогда их семья не будет жить спокойно и счастливо.

Да что там счастье! В дом приходит настоящая беда, огромная, как весь земной шар. Мама начинает пить. Она уже совсем не похожа на прежнюю маму — добрую, красивую и веселую. Она запирается у себя в комнате и пьет, а потом целый день спит. В доме нет ни обеда, ни ужина, в доме грязь и разруха. После школы Шура пытается прибраться и сварить обед. Получается плохо — Асенька ничему не успела ее научить. И потом, еще очень много уроков — последний, десятый класс. Вечером она забирает сестру из детского сада и подолгу с ней гуляет, чтобы как можно дольше не идти домой. Катенька хочет есть, и Шура

в кулинарии покупает ей булку с холодной серой котлетой и стакан сока.

Папа борется с мамой всеми силами — кладет в больницу и санаторий, делает уколы и кормит с ложки, объясняет Шуре, что это болезнь, и просит маму пожалеть. Но Шура ничего поделаться с собой не может — она почти ненавидит маму, и ей страшно от этих мыслей. Она винит во всем ее, а папу как раз жалеет. Мама ходит по квартире как тень, худющая, с растрепанными волосами и черными кругами под глазами. Шура старается на нее не смотреть. Впрочем, иногда, после больницы, мама приходит в себя — идет в парикмахерскую, красит волосы, покупает новое пальто или туфли, снова красит губы и душит духами. И опять куда-то собирается. Пакует сумку с продуктами и папиросами, покупает у бабулек на рынке теплые носки и шерстяные варежки. И снова папа везет ее на вокзал.

Шура уже не ребенок, и она отчетливо понимает, что все это какая-то большая и страшная тайна. Какие командировки? Мама давно ушла с работы. Она спрашивает у отца, куда едет мать, а он молчит и говорит Шуре, что это мамина тайна и рассказать об этом должна сама мама. Но разговора не получается — мама возвращается из поездки и снова начинает пить. И опять бродит по квартире как тень.

В августе Шура поступает в МАИ, это совсем рядом с домом. Катеньку папа устраивает в китайский интернат. Теперь Шура забирает сестру на выходные домой, но Катенька ехать домой не хочет. Шура ходит с ней в музей или в кино, и Катенька просит, чтобы Шура отвезла ее поскорее обратно.

Папа очень постарел и изменился. Теперь он еще и преподает студентам — денег, как всегда, не хватает. А нужно многое: путевки в санаторий для мамы, одежда и фрукты для Катеньки, новые сапоги и зимнее пальто для Шуры.

Шуре очень нравится в институте. У них образовалась большая и дружная компания, и после лекций все не спешат расставаться и идут в кино или к кому-нибудь домой. Не зовет к себе только Шура, ссылаясь на то, что сильно болеет мама.

В декабре Шура влюбляется и через месяц выходит замуж. Ей очень хочется уйти из дома и начать свою, взрослую жизнь. Ее молодого мужа зовут Миша, он ее одноклассник. Им так здорово вместе: они бегают в театр на «лишний билетик», не пропускают ни одной выставки и бардовских выступлений по клубам. Замечательно, что у Миши есть своя комната — в коммуналке на Чистых прудах. Там, конечно, пыль и разруха, но Шура наводит чистоту и блеск. В доме все время люди — поют песни под гитару, общаются, и Шура не успевает нарезать винегрет и варить глинтвейн из дешевого болгарского вина.

Живут они с Мишкой дружно и весело, как положено студентам. На выходные Шура старается забрать Катеньку к себе. Иногда, по субботам, к ним заезжает папа, как всегда, с огромной сумкой продуктов. Но в воскресенье они зовут гостей — и опять в холодильнике пусто, однако это их несколько не огорчает. Домой Шура почти не заезжает. Ее, конечно, мучает совесть, но она все откладывает эти визиты «на потом».

На летние каникулы они большой компанией уезжают в Коктебель. Снимают крошечную душную ком-

натенку — и удобства их вовсе не заботят. На пляже они играют в волейбол и подкидного дурака, а вечерами пьют во дворе дешевое и кислое молодое вино и жарят шашлыки. Все счастливы и беззаботны, как бывает только в ранней молодости.

Телеграмму о смерти мамы Шура получает за три дня до отъезда. Они бросаются на вокзал и пытаются поменять билет, но страждущих с подобными телеграммами — целая очередь. Они ночуют на вокзале две ночи, и наконец им удается поменять билет. Поезд дополнительный. В нем разбиты стекла и нет постельного белья. Но Шуру это не волнует. Она целый день стоит в тамбуре и смотрит в окно.

На похороны они не успевают. Первое, что Шура видит дома, — отца на кухне. Перед ним — фотография мамы и початая бутылка водки.

— Шуренок! — восклицает отец и, уронив голову в руки, начинает плакать. Шура садится возле него и гладит его по голове. Мишка растерянно топчется в дверях. Они, конечно, остаются ночевать. Отец и Мишка опять пьют, а Шура нарезает немудреную закуску, варит картошку и уговаривает отца хотя бы немного поесть. Он плачет, мычит что-то невразумительное и все время рассказывает, какая красивая лежала в гробу Шурина мать.

Шурина семейная жизнь как-то постепенно начинает терять ясные очертания. Отношения с мужем Мишкой все больше принимают характер дружеских. Им по-прежнему хорошо друг с другом, но все чаще они созывают шумные компании, и все реже им хочется остаться друг с другом наедине. Оба они чувствуют, что их скороспелый и бездумный студенческий брак дает непоправимую трещину.

Летом Мишка уехал на халтуру куда-то под Керчь, строить пионерский лагерь, а через полтора месяца написал Шуре, что у него закрутился роман с поварихой — студенткой ленинградского педа. Объяснял, что все серьезно, серьезнее не бывает. Но был благороден — в связи с его переводом и переездом в Питер к этой самой девице он написал Шуре, что жить она может в его комнате, только пусть не забывает платить коммунальные.

Шура прочла письмо без волнения и даже удивилась своему спокойствию и равнодушию. Мужа, теперь уже бывшего, она совсем не осуждала и в глубине души была рада такой быстрой и легкой развязке. Она обрадовалась одиночеству и в ближайшее время романов решила не заводить. По выходным забирала Катеньку из интерната, и они ехали к отцу. Все вместе, втроем, они ездили на кладбище. Катенька отреагировала на смерть матери спокойно, видимо, привыкла обходиться без нее. А отец горевал безутешно. Долго не уходил с кладбища и все гладил мамину фотографию.

Шура окончила институт и пошла работать в проектный институт. Работа была монотонная и неинтересная, и ей все время казалось, что она проживает жизнь бездарно и пусто. Год спустя у нее случился служебный роман, но предмет ее воздыханий был прочно женат, имел двухлетнего сына и психически неуравновешенную жену, и потому их встречи были нечасты и печальны для Шуры. Он неловко смотрел на часы, а она расстраивалась и начинала плакать. Время для их торопливых и скомканных свиданий выкраивалось нечасто, и было в них больше грусти, чем радости.

Года через два с начала их романа он попытался уйти из семьи и явился к Шуре с чемоданом, но спустя три недели вернулся к жене. Волевым решением Шура положила с ним расстаться — не тут-то было, спустя пару месяцев все закрутилось по новой. Она отчетливо понимала, что это путь в никуда, одна сплошная боль и потеря здоровья и времени. И конечно, было невыносимо видеть друг друга каждый день.

Шура ушла с работы. Новое место находилось довольно далеко от дома, но она даже была рада этому обстоятельству — приползала домой еле живая, и на дурацкие мысли и страдания совсем не оставалось сил.

Однажды среди недели позвонил отец и попросил приехать. Она приехала после работы, замученная и усталая, но, увидев отца в полном здравии, как-то сразу успокоилась.

Отец жарил на кухне картошку. Шура сняла пальто и сапоги и прилегла на диван, но он позвал ее ужинать. На столе стояла бутылка водки. Отец разложил картошку по тарелкам, крупно нарезал репчатый лук и открыл банку сайры. Потом налил водки — себе и Шуре.

— По какому поводу гуляем? — удивилась она.

Отец не ответил и опрокинул стопку. Потом он долго и молча ел, покрывая от удовольствия, и молчал. Молчала и Шура. От водки потеплело внутри и еще больше захотелось спать. Наконец отец доел картошку, откинулся на стуле, закурил и внимательно посмотрел на Шуру.

— Есть разговор, Шуренок, — сказал он. И добавил: — Очень важный разговор.

Шура вздохнула.

— Ну, пап, не томи! Сколько можно!

Отец налил себе еще стопку.

— Для храбрости? — усмехнулась Шура.

— Именно так, Шуренок, представь себе. Для храбрости.

Он опять замолчал и прикурил новую сигарету.

— В общем, так, девочка, — начал он. — Только молчи и слушай. И не перебивай, если сможешь.

Шура вздохнула и кивнула.

— Тебе надо ехать в Архангельск, Шура. Незамедлительно ехать. Билет я уже взял. Он на столе в прихожей. Билет удобный — в поезде выспишься. На работе придется взять отгулы, дня на три или четыре, как сможешь.

Шура удивленно вскинула брови.

— Какой Архангельск, пап? Ты о чем?

Отец подошел к окну и открыл форточку.

— В Архангельск, Шуренок, — повторил он. — В Архангельске живет твой отец. Точнее, умирает. Диагноз мне известен. Плохой диагноз, Шура. Очень плохой. Короче говоря, тебе надо успеть.

Отец стоял к Шуре спиной и смотрел в окно.

— Пап! — жалобно сказала она. — Объясни, пожалуйста, пап, ну, я тебя очень прошу! Что за бред, пап! Какой отец, какой диагноз? — Она всхлипнула и закрыла лицо руками.

Отец сел за стол и разлил по стопкам водку — себе и Шуре. Молча выпили.

— История древняя, Шуренок. Такая древняя, что даже древней тебя, — улыбнулся он. — Говорить мне будет непросто. Это мягко говоря. Я прошу одного: слушать и не перебивать. Все вопросы — потом.

Шура кивнула.

— В общем, эта история началась давно. До твоего рождения, естественно. Мама окончила техникум и уехала отдыхать. На море. Денег тогда совсем не было, и Асенька снесла в ломбард свои золотые часы. Поехала она с подружкой, была у нее такая Света Семенова. Потом жизнь их развела, ты ее не знала. Но это и неважно. — Отец встал, подошел к окну и закрыл форточку. — Выбрали они Бердянск, курорт недорогой и обильный. Сняли комнатку в слободке. От моря далековато, но зато дешевле. Купались, загорали. Бегали в киношку — ну, в общем, как обычно. Кавалеры кружились роем — оно и понятно: две молодые, хорошенькие москвички. Да что там хорошенькие — мама была тогда просто красавица. Впрочем, почему тогда? Она всегда была красавица. Всю свою не очень счастливую жизнь. — Отец грустно усмехнулся. — Кавалеры кавалерами, но мама держалась в стороне. Она всегда была осторожна и избирательна. Отпуск подходил к концу, оставалась всего-то неделя. И тут она встретила его. — Отец замолчал и опустил глаза. — Да, его. И совершенно потеряла свою молодую и прекрасную голову. Ее можно было понять: тридцатитрехлетний красивый мужик, высокий, ладный. В волосах — ранняя проседь. В свои тридцать три — главный инженер большого текстильного комбината где-то под Новосибирском. В Бердянск он приехал на голубой «Волге» — сам заработал, сам купил. Они ездили с мамой на дальнюю косу, на совсем дикий пляж. Пролетела неделя — они не заметили. Нужно разъезжаться — а они не могут разомкнуть рук. Понимают, что это не банальный курортный роман, оба понимают. Но он предельно честен. Сразу, с перво-

го дня знакомства, объяснил ей, что женат. Всерьез и надолго. Есть одна причина – не очень здоровый сын. А если точнее, мальчик серьезно болен, инвалид с детства, еще и слабослышащий – что-то упустили при родах. В общем, полный набор. Да еще и расстояние – сколько верст друг до друга! Он говорил, что любит ее, но будущего у них нет наверняка. Но мама ничего не хотела слушать – она придумывала разные схемы, ей казалось, что все прекрасно можно устроить – в конце концов, самолеты летают, да и поезда еще никто не отменял. Она легко согласилась с тем, что они никогда не смогут быть вместе – ну, в полном смысле слова. Ей было наплевать на расстояния, ее не смущало, что встречаться они смогут крайне редко – хорошо, если в полгода раз. Ее ничего не смущало – она любила и была любима, а это главное. Они разъехались, и началась переписка. Она писала ему «до востребования», а он ей на адрес Светки Семеновой. От Асеньки она все до поры скрывала. Через два месяца он приехал в Москву. На два дня. Поселился в гостинице. Она, естественно, у него. Для матери она придумывала всякие легенды. Эта история длилась почти три года – и всякий раз он предлагал ей расстаться и пробовать устроить свою жизнь. – Отец встал, подошел к плите, налил чайник и поставил его на огонь. – Попьем чайку, Шурка?

Она помотала головой:

– Нет, прошу тебя, дальше.

Отец кивнул и опять сел за стол.

– А потом она забеременела. Тобой. Совершенно сознательно. Он просил ее не оставлять ребенка – не потому, что был подлец, а потому, что имел ужасный опыт – больного сына. А мама и слышать не хотела.

Пока она тебя носила, он вел себя безупречно — помогал деньгами и часто прилетал. Она познакомила его с Асенькой. Та, конечно, ситуацию не приняла: взрослый, женатый мужик, Новосибирск, больной ребенок. Винула во всем только его. Высказала ему все — ты же ее знаешь. Он со всем соглашался. Только что это меняло? В общем, ты родилась. Он по-прежнему приезжал и высылал деньги. А бабушка по-прежнему не хотела о нем слышать.

Мы встретились с твоей мамой, когда тебе было полтора года. Случайно, у общих знакомых. Через месяц я сделал ей предложение. В тот день она рассказала мне все про свою жизнь. И еще сказала, что любит того человека, очень сильно любит. Она была абсолютно, безоговорочно честна. Никаких претензий. А я был согласен на любой вариант, на все, только бы она оставалась со мной. Она думала несколько месяцев, а потом согласилась. Конечно, свою роль сыграла Асенька — мы с ней крепко подружились. Она видела во мне мужа, отца и главу семьи. Видела мое отношение к маме и, конечно, к тебе. Это, наверное, и было главное. Тебя я действительно сразу и всем сердцем полюбил. Сначала — как продолжение мамы. А потом — просто, без всяких оговорок. Сразу и навсегда. Ты и вправду была чудесным ребенком — смышленным, послушным и не капризным. Полюбить тебя было совсем нетрудно, ты сама мне в этом помогала. Мама, конечно, все рассказала твоему отцу. Он ответил, что искренне за нее рад. Наверное, ему действительно было бы легче, устрой мама свою судьбу. Но она наверняка ждала от него другой реакции и других слов. А получается, что получила от него карт-бланш. И тогда, только после этого

разговора, она дала мне согласие. А я, конечно, был счастлив и совершенно уверен, что все непременно образуется — искренняя и идиотская уверенность влюбленного. В общем, расписались. Свадьбы мама не захотела — оно и понятно. Я, как ты понимаешь, был согласен на все. Жить мы начали вроде бы неплохо... — Отец замолчал и посмотрел в окно. А потом повторил: — Да, неплохо. Мне, признаться, хотелось большего. Впрочем, я знал, на что шел. Твой отец вел себя безупречно: посылал деньги, не приезжал и писем не писал. Короче говоря, делал все, чтобы мамина жизнь наладилась. А потом я тебя удочерил и был совершенно счастлив. И об одном просил маму: чтобы она отказалась от *тех* денег. Брать у кого-то, даже у твоего биологического отца, деньги на свою дочь мне казалось неприличным. О его чувствах я, конечно же, не думал. Он появился спустя несколько лет. Приехал в Москву в командировку. Мама тогда была беременна Катенькой, а ты покоряла ледовое пространство.

Шура усмехнулась.

— Конечно, ничего странного, — продолжал отец. — Он просто захотел увидеть свою дочь. Нормальное желание. В конце концов, он мне не докучал все эти годы, и я все понимал и был совершенно спокоен. — Отец вздохнул и закурил новую сигарету. — Оказалось, что зря. Это в смысле того, что я был спокоен. — Он опять замолчал. — Просто они тогда увидели друг друга — и все покатило к чертовой матери. Вся жизнь. Вся наша такая налаженная и отлаженная жизнь. Теперь он опять стал прилетать. Не то чтобы часто, но мне хватало. — Он замолчал и скомкал пустую сигаретную пачку.

— А я его помню, — сказала Шура. — Вернее, тот день, ну, когда он купил мне коньки. Его самого я помню плохо — какой-то высокий и худощавый дядька. Ничем особенным он мне не запомнился, кроме коньков, разумеется. Я помню, что я тогда сильно смутилась и очень удивилась. Но мама сказала, что это ее хороший знакомый, старый приятель, что ли. В общем, она меня успокоила.

— Я помню, как ты была счастлива, — усмехнулся отец. — И ругал себя за то, что не сделал этого сам. Дурак, кретин, помешанный на своей работе! Ругал за то, что не сообразил, а ты у меня не просила. А ведь это доставило тебе такую радость! И очень обиделся на маму — она не должна была этого ему позволять. Так я думал тогда и, конечно, был не прав. Она ведь тогда не о моих амбициях думала, а о том, что чувствовал он. И это было правильно. А что еще он мог для тебя сделать? И я ревновал ее сильно. Так ревновал, что сердце заходило. Понимал, что она все равно там, с ним, а не со мной. Даже после того, как родилась наша общая дочь. — Он замолчал, встал и опять подошел к окну. — Не приведи господь, Шурка, узнать человеку такие муки. Ты знаешь, я не из тех, кто скулит, но, ей-богу, не приведи господь!

Шура кивнула:

— Я все понимаю, пап. — И, помолчав, добавила: — А все ведь считали, что у нас замечательная семья. Все. И я в том числе. Хорошо же вы замечали следы, — горько усмехнулась она.

— Да нет, Шура, это не совсем так, — ответил отец. — У нас действительно была неплохая семья — без скандалов и претензий друг к другу. Мы понимали, что нужно все сохранить, ради детей, разумеется.

А что до моих терзаний — так она ничего не могла с собой поделаться. Есть что-то такое, что неподвластно человеку. И в конце концов, повторяю: она ничего мне не обещала и была абсолютно честна. А все остальное — мои проблемы. Эту жизнь я выбрал для себя сам. Давай чаю, а, Шуренок? Тем более что водка кончилась. Хорош я, нечего сказать, — усмехнулся он. — Родную дочь спаиваю! — Он подошел к плите, снова поставил чайник и засыпал заварки в маленький пузатый заварной, с отколотым носиком, еще Асенькин, наследный и любимый. Налил крутого кипятка, накрыл заварной чайник чистым полотенцем («Пусть настоится») и снова сел за стол. — В общем, смириться со всем этим было непросто, а жить дальше было надо. Помогала работа. Ну, и еще ты и Катюха. Иногда мне казалось, что весь этот кошмар вот-вот закончится. Мама как-то постепенно стала приходить в себя. Или мне так казалось. Хотя нет, так оно и было. Это было понятно только нам двоим — в смысле это была только наша личная, если хочешь, интимная жизнь. Да и потом, все эти хлопоты — ты, Катенька, заботы, дом... Помнишь, она начала тогда вязать?

Шура кивнула. Отец продолжал:

— И вязать, и шить. И училась у Асеньки печь пироги. — Он улыбнулся. — Правда, тесто у нее никогда не всходило, но для этого, наверное, тоже нужен талант. В общем, старалась, как могла. Иногда получалось, но чаще всего нет. И она страдала. Поверь мне, страдала. Пошла на работу, думала, что будет легче. — Отец опять замолчал и открыл новую пачку сигарет. — А дальше... Дальше случилась большая беда, Шура. Очень большая беда. Его, твоего отца, посадили. Было громкое дело, все газеты писали. Хи-

щение в особо крупных размерах, злоупотребление и халатность. Девяносто вторая статья. С конфискацией, разумеется. В общем, пошли обыски и суды. Обыск ничего не дал — у него ничего не нашли и даже удивились, как скромно он живет. Но это роли не сыграло — срок грозил большой, да и дело было показательным. Я уверен, что его подставили — шурувал там главный бухгалтер. Но срок он все равно получил, чтобы другим неповадно было. Правда, немного сыграло роль, что у него был больной ребенок, но все равно хватило — восемь лет. Правда, потом его почти располосинили — пять лет усиленного режима и три года — «химия». Жена его тогда попала в психушку, сына определили в интернат. В общем, представляешь, что с ним было. С мамой. И с нами со всеми. Но что говорить про нас! Смешно. Вот тогда-то и начались мамины «командировки». Ну, это ты, наверное, помнишь. Ей давали свидания, максимум сутки. Жена его ездить не могла. А потом ты знаешь, Шура, что случилось, — мама начала пить. И я был совершенно бессилён — помочь ей у меня не получалось, сколько бы я ни бился. Все дело в том, что она совсем не хотела, чтобы ей помогали. Она оживала, только когда подходил срок поездки, а в остальное время была абсолютно безучастна ко всему. Ну, это ты помнишь — о чем говорить. Еще смерть Асенки — мама тоже чувствовала свою вину. Она собиралась поехать к нему насовсем — после того, как его переведут на поселение. И даже сама просила меня положить ее в больницу, понимая, что надо хоть как-то привести себя в порядок. Но получила письмо, где он ей написал, что к нему приехали жена и сын, сняли дом в поселке. Ни врачей, ни условий там нет, но жена приеха-

ла, и он ничего с этим поделаться не может. Вот после этого мама уже не поднялась — незачем было. Слава богу, ты уже не жила дома и всего этого не видела, да и Катенька жила в интернате. Последние недели были самые страшные — она уже совсем ничего не хотела, ей все было в тягость. Она все время говорила, что устала жить и страдать. И бог ей послал легкую смерть. Смешно говорить, но после последних лет ее жизни это было действительно избавление. — Он помолчал и спросил: — Знаешь, что меня мучает больше всего, Шурка?

Шура мотнула головой.

— То, что я ничего не смог сделать. Ни заставить ее меня полюбить, ни забыть твоего отца. Ни сделать ее хоть капельку, ну самую малость, счастливой. Ни избавить ее от болезни. Ни облегчить ее страданий. НИ-ЧЕ-ГО, Шурка! Я не смог ничего сделать. А говорят еще — сила любви. Значит, у нее она была, эта сила, а мне не хватило. Выходит, что так. — Отец замолчал. — И вообще, в этой истории победителей нет. Одни проигравшие.

— И ты еще винишь себя? — сказала Шура. — А про свою жизнь ты подумал? Про свою исковерканную и покореженную жизнь? Какое чувство вины, пап? Разве ты не делал все, что мог? И даже то, чего не мог? И ты еще казнишь себя? Эти двое сами выбрали свою судьбу.

— А я — свою, — ответил он. — И тоже, заметь, добровольно. Так что виновных искать смешно, девочка. Просто ты должна их понять и простить. А для того чтобы простить, надо хотя бы понять. И тебе самой станет легче жить. Господи, мы ведь с тобой забыли про чай! — улыбнулся он и достал чашки (свою — го-

лубую, с золотым ободком, и Шурину — белую, с желтыми ромашками по краю), налил темную, почти черную, сильно настоявшуюся заварку. Потом достал из шкафа банку варенья и смущенно проговорил: — Вот, Леночка угостила, старшая медсестра. У нее дача в Купавне и большой сад. Говорит, в этом году сумасшедший урожай яблок. Совсем некуда девать.

Потом они долго пили чай и молчали. Отец опять стоял у окна и смотрел на уже темную, почти чернильную улицу. А потом он как-то собрался, подтянулся и повторил Шуре, что надо собираться в дорогу.

— Ты должна поехать, девочка, — настаивал он.

Шура молча мотала головой.

— Должна! — повторил он. — Ты думаешь, его жене было легко просить меня об этом? Но она же это сделала, Шура! И тебе это сделать нужно. В конце концов, ты это сделать просто *должна*.

— Я? — удивилась она. — Нет, пап. Вот здесь ты заблуждаешься. Глубоко заблуждаешься. Ничего я *ему* не должна. И потом, какие у меня перед ним обязательства? Кто он мне такой, в конце концов?

— Шура, ты уже не ребенок. Ты уже взрослая женщина! Со своей, кстати, непростой судьбой. Кто там знает, как сложится жизнь? А про долги — никто никогда не расплатится по счетам, как бы ни старался. На раздумья времени нет, и я не хочу, чтобы в дальнейшем ты о чем-то жалела или не смогла себя простить. Я понимаю, что тебе нелегко, но я тебя хорошо знаю, девочка, и надеюсь на твое благоразумие. — Он улыбнулся и положил свою крупную ладонь на Шурину руку.

— Это вряд ли, пап, — ответила она и убрала свою руку.

— Ну, смотри, — вздохнул он. — Тебе решать.

— Я у тебя останусь? — спросила Шура. — Ехать неохота, да и сил совсем нет.

— Конечно! — кивнул он. — В твоей комнате все постелено.

Шура встала со стула, собрала тарелки и чашки и поставила их в мойку.

— Иди, иди, — сказал отец, — я помою.

Она мотнула головой и включила горячую воду.

— Слушай, пап! — обернулась Шура к отцу. — А вот сейчас, сегодня, когда все это уже в прошлой жизни, почему бы тебе не устроить свою судьбу? Ты ведь еще совсем не старый мужчина, полный сил, умный, красивый, талантливый. Кому, как не тебе, а, пап? Нет, правда, послушай!

Он усмехнулся.

— Ну спасибо, конечно, за комплимент. Приятно это слышать из уст молодой и красивой женщины, пусть даже эта женщина — твоя дочь. Я ничего не загадываю, Шурка. Но не подавать же мне свою кандидатуру на брачный рынок, если таковой имеется? И потом, прошлой жизни не бывает, Шуренок, уж ты мне поверь! — Отец улыбнулся, подошел к Шуре и поцеловал ее. — Спать, девочка. Немедленно! Бросай эти плоски к чертовой матери!

В комнате было душно. Шура открыла настежь окно, и тут же ворвался, словно долго ждал этой минуты, прохладный и свежий майский ветер. Шура укрылась одеялом и блаженно вытянула ноги.

«Господи! Как я устала!» — подумала она. И приказала себе отключиться.

— Завтра! — прошептала Шура. Обо всем этом она подумает завтра.

Когда она проснулась, отца уже не было. На кухне, накрытый полотенцем, стоял пузатый бабулин чайник со свежей заваркой. Она умылась, выпила чаю, съела бутерброд с сыром и посмотрела на часы.

«Ну, вот, как всегда, опаздываю», — подумала она. Второпях подкрасила губы, провела щеткой по волосам и накинула плащ, внимательно и критически оглядела себя в зеркало и поправила выбившуюся прядь. «Ну вот — а теперь к метро, и бегом. И хорошо бы, если бы сразу подошел трамвай. Пешком точно не успею». Она протянула руку за ключами и увидела на полочке перед зеркалом почтовый конверт. Она открыла его — в конверте лежал билет на отходящий вечером поезд. В один конец. Она повертела конверт в руках, поразмышляв, положила его в сумочку и выскочила из квартиры.

На улице Шура запахнула плащ — утром еще было прохладно, но в город уже окончательно пришла весна. Она побежала на трамвайную остановку, и, на ее счастье, через пару минут подошел трамвай.

«Успею, — подумала Шура. — Слава богу, не опоздаю».

Ей действительно нужно было многое успеть. И ни в коем случае не опоздать.

ДИАНА
МАШКОВА



АННУШКА



В тот самый момент Аннушка еще не подозревала, что ее так зовут. Она вообще ничего не знала, кроме спокойствия утробной позы и влажного безмятежного бытия. Того самого, что предшествует основному. И вдруг покой ее нарушился: все вокруг заколыхалось, закружилось. Сначала размеренными толчками. Долго. Мучительно. Потом стало натужно давить со всех сторон. Выпирать и выталкивать из привычной размеренной жизни. Мягкой, податливой еще головке доставалось больше всего. Она против воли втискивалась в невероятно узкий туннель. Застревала на каждом миллиметре. И голова должна была расплющиться, познавая первую боль. Младенец подсознательно поворачивал головку, чтобы протиснуться вперед. Сначала — вбок, как бы глядя на плечо, потом — вниз, подбородок к груди. По-другому нельзя — сверху неумолимо подгоняли. Потом темечко уперлось снова, но уже во что-то более мягкое. Мягкое подождало и поддалось. Ребенок протиснулся, наконец, благодаря чьим-то резиновым рукам, на божий свет.

Свет оказался ужасный — страшный, холодный, яркий. А новорожденной пришлось совершить невероятное количество дел и движений сразу: расширить ноздри, поднять грудь, открыть рот. Все молниеносно менялось и внутри крохотного тельца и вокруг него. Обжигающий воздух ворвался в легкие, с силой расширив их. Аннушка сморщила маленькое личико

и что было мочи закричала. Закричала от боли и рези внутри. А потом перерезали пуповину.

Новорожденную обтирали, мыли, переворачивали. Вокруг происходило столько всего сразу, что у любого взрослого закружилась бы голова. Девочка заморгала и закрыла глазки — режущий яркий свет был плохим и непривычным. А все фигуры вокруг все равно расплывались в белые бесформенные пятна.

Но тут громкие звуки словно навалились с необузданной силой со всех сторон. Голоса, лязганье инструментов, скрипы дверей, шуршание ног.

— Надо ж! — возмущался какой-то голос, в то время как ребенка поднимали и пеленали. — Как только таким никчемным мамашам достаются такие славные детки?

— Тише вы, Марья Степановна, — оборвал его другой. — Роженица услышит.

— А мне что? — отвечала Марья Степановна. — Мне вот дитя жалко, и только.

Малышка, конечно, не понимала — только слышала голоса. А потом от страха и усталости провалилась в полубоморок-полусон.

Новая жизнь оказалась сложной. Менялась она каждый день, каждый час, каждую минуту. Громадное пространство вокруг оказалось заполнено множеством движущихся и неподвижных призрачных фигур. Постепенно тени обретали для ребенка все более отчетливые формы. В некоторых из них — маминой груди, бутылочке с соской — был весьма определенный смысл: утолять невесть откуда взявшийся голод. Пищу теперь нужно было добывать. Находить еду девочка научилась быстро — поворачивала головку на запах и хватала беззубыми деснами сосок. Сосать, конечно, оказалось утомительно, зато приятно.

Приятно было и когда вокруг тельца вдруг становилось мокро и тепло. Правда, сначала тепло, а потом очень скоро — холодно. Только ребенку все равно так нравилось больше. И непонятно было, зачем ее постоянно дергают, заворачивают в новые, жесткие и сухие, пеленки. А в основном девочка спала. Только поесть и просыпалась.

Малышка уже начала было приспособливаться к новой жизни, как в одно прекрасное утро все снова неожиданно изменилось. На нее намотали свежие пеленки, завернули в одеяльце и долго несли по белым извилистым коридорам. Потом отдали маме, которую она уже узнавала по запаху молока, и выпустили обеих на волю. Воля была яркая, солнечная, зеленая. И запах свежий. Мама вышла из дверей роддома, потом из ворот. А на крыльце стоял врач и несколько медсестер, которые беспомощно смотрели им вслед и удрученно качали головами.

Впервые в жизни Аннушка — так ее мама еще в роддоме нарекла — ехала на трамвае. Потом впервые в жизни — на электричке. А потом долго-долго тряслась на руках у матери, которая шла через поле, исправно спотыкаясь о каждую кочку. После электрички пахло от нее противно. Не молоком. Так же как от бутылки без соски, к которой мама то и дело прикладывалась, сидя на деревянной скамье в вагоне электрички. Девочка хотела есть и громко плакала. Но родительница, казалось, крика ее не замечала. Измотавшись то ли от собственного плача, то ли от сильной тряски, то ли от голода, ребенок наконец уснул.

Проснулась малышка в кроватке посреди темной и ветхой избы. Потемневшие бревенчатые стены, в огромных щелях деревянный прогнивший потолок,

заросшее паутиной и пылью крохотное окно и два склонившихся над кроваткой расплывчатых овала с красными пятнами ртов. Маму Аннушка узнала — слабый запах молока робко пробивался сквозь вонь, достигая голодных ноздрей. Она сморщила личико и хотела заплакать. Но мамаша наконец сообразила — достала ребенка из убогой, черной от грязи и гнили кроватки и сунула ей набухшую грудь. Малышка скривила недовольно крошечный рот — молоко оказалось горьким на вкус, — но продолжала сосать, скорбно нахолившись. Голод не тетка.

Она наелась, а мамаша, запахнувшись, попыталась передать девочку на руки смрадному и грязному существу.

— Чего ты мне это суешь? — Голос был грубый и низкий. Аннушка сморщилась и захныкала от страха.

— Ну, как, Василий, дочка твоя! — Мать говорила глупым голосом, заплетающимся языком. — На хоть, поддержи.

— Пошла вон, дура! — отвечал Василий. — Сама притащила в дом невесть что, сама и возись. У нас на двоих-то еды нет. А тут еще третий рот! — Василий погрозил в воздухе дрожащим кулаком, грузно упал на ящик из-под водки, заменявший стул и составлявший добрую четверть обстановки. Голова его свесилась, как у мертвечины. Больше он в тот раз ничего не говорил. Заснул. Мать, раздосадованная, еле попала ребенком в убогую клетку кроватки и плюхнулась на серый от грязи тюфяк неподалеку.

Родители спали. Малышка не закрывала глаз. Ей мешали смрад и холодные, по десятому кругу намокшие пеленки. Она заплакала. Плакала долго. Охрипла. Были бы слезы — утонула бы уже в них. Никто не просыпался. Утомившись, ребенок смолк. И провалился

в бессознательный, заполненный разноцветными пятнами сон, сквозь который до ноздрей доносилась неистребимая убийственная вонь.

К запаху Аннушка изо дня в день привыкла. Ко всегда мокрому и холодному пеленкам — тоже. Она даже не заболела. Благо на улице была жара и в развалившейся хибаре, где девочка находилась теперь все время, стояло вонючее и влажное тепло. На улицу ее не выносили — мамке было не до того. Она то пропадала где-то, то ругалась со своим непутевым супружником, то пила вместе с ним. Иногда на нее находило, если просыпалась, протрезвев. Начинала собирать по всему дому грязные тряпки, пеленки. Заливала их холодной водой в старой бочке и туда-сюда трепыхала трясущейся рукой. Порошка или хотя бы мыла в доме не водилось.

Аннушку купали в хибаре таким же манером. Только воду — и то спасибо — отстаивали на солнце, чтобы согреть. Но купания случались редко. И вся кожа у Аннушки уже через две недели домашней жизни покрылась опрелостями, потертостями и грязными прыщами. Она горела, жглась, саднила. Если может младенец привыкнуть к постоянной боли, то Аннушка привыкла. А слезки у нее так и не появились — даже на второй месяц жизни, как это принято у здоровых и счастливых своими родителями детей. Хотя плакала она много. За что Василий материл жену и гонял ее по дому топором. Аннушка не понимала.

Большую часть времени она проводила в тяжелом темном сне. Поест — и проваливается в дымчатый мрак. Проснется от голода, поплачет немного, мать ей даст горькую грудь — и ребенок снова заснет. Сон спасал. От боли. От страха. От жизни и ее резкого смрада. Все равно ничем другим Аннушку не занима-

ли — и днем и ночью лежала она, никому не интересная в своей прогнившей кровати. Мать с ней не говорила. В темечко не целовала. На руки без надобности не брала. Покормит — и кинет с досадой обратно. Так и росла Аннушка как трава, только хуже. Та хоть на свежем воздухе и в мягкой земле.

К шести месяцам девочка не умела переворачиваться, к девяти не садилась и не делала попыток вставать. А в марте, когда зима вроде пошла на убыль и Василий на радостях перестал печку топить, заболела. Сначала очень долго из носика текло. Даже вся верхняя губа и кожица над ней в одну сплошную корочку от раздражения превратились. Утирать-то некому было. Мать с отцом вечно заняты — или пили или друг за другом с матерными криками по избе носились. Потом вдруг в одну ночь Аннушка стала горячая, как огонь. Глаза широкие. Смотрят не живо. И кашель. Да такой жуткий, что сотрясалась кроха и наизнанку выворачивалась так, словно ее выжимали. У любого человека сердце бы на мелкие кусочки от жалости разорвалось. А мама с папой — ничего. Терпели. Даже к врачу отнести не пытались. Да и где ближайший-то врач? В поселке. Километров десять. Не меньше.

Мать притащила откуда-то белых таблеток. Толкла их в порошок. И Аннушке пыль эту в ротик засыпала. А запивать давала из гнутой алюминиевой ложки подогретым красным вином пополам с водой. Бутылочек детских в доме не держали. Другие интересы. Но Аннушка и так справлялась. Глотала. Хотя половина горького поила всегда мимо стекала и жгла губы, запекшиеся корочкой от долгих соплей. К апрелю болезнь немного отпустила. Жар прошел. И мамаша, довольная хорошим средством, увеличила дозу вина. Девочка кашлять продолжала. Василий брезгливо ко-

сился на кроватку и поносил на чем свет стоит свою жену.

— Вась, — мамин голос всегда звучал просительно и глупо, — пойду, что ли, в лавку схожу. Еды в доме ни крохи, а мне ребенка кормить.

— Водки купи, — наставил жену Василий.

— Не знаю, не хватит, — робко возразила мать, испуганно сжавшись в комок и ожидая удара.

— Что, сука, двадцатку мужу жалко? — завелся он. — Вчера только полтинник заработал — дров для всей деревни наколол. И что — на свои кровные не имею права выпить?!

— Так тридцать-то рублей только и осталось — вчера же сам бутылку купил. — Мама тупо топталась на пороге и вяло размышляла: даст супруг в глаз за споры или нет. Выпить и самой хотелось. Но и есть было нечего — запасы с лета давным-давно подъели. В лесу — ни крапивы, ни грибов, ни щавеля. Одно слово — весна.

— Пошла! — заорал Василий. — Будешь еще из-за этой дряни, — он ткнул толстым грязным пальцем в сторону кроватки, — жизнь мне ущемлять. Обеих зарублю!

Мать выскочила за дверь. А Василий так разошелся от возмущения, что выпить хотел уже сию минуту. В заначке он прятал полбутылки, на экстренный случай, — их и опорожнил. Запьянел, как всегда, моментально. С первого глотка. Обошел вокруг кроватки пару раз. Брезгливо осмотрел сморщенный, зароговевший от грязи и завернутый в тряпки комок. Комок спал и сотрясался порой от жуткого мокрого кашля.

— Дерьмо! — Василий, шатаясь и едва стоя на ногах, плюнул прямо в кроватку. — Я тебе покажу! Дерьмо! Будешь знать, как на мое претендовать!

Он стащил с себя деревянные от отсутствия стирки штаны. Присел посреди хаты на корточки и, с трудом сохраняя равновесие, наложил прямо на пол. Удовлетворенно крикнул. Натянул штаны, засучил рукав и запустил ладонь в горячую еще кучу. Опершись свободной рукой о шаткие перекладки кровати, начал обмазывать ветхую конструкцию собственным, до звона в ушах, вонючим дерьмом. «Будешь знать! — повторял он. — Будешь знать!»

Мамаша к тому времени только добрела до кривого домишки, где располагалась деревенская лавка.

— Клава! — тихо позвала она. На голос выплыла дородная продавщица и поморщила нос.

— Тебе чего?

— Ну. — Мамка застопорилась, размышляя, как быть. Придешь без водки — муж поколотит. Придешь без еды — с голоду помрешь.

— Макароны у тебя сколько? — смиренно спросила она.

— Семь рублей. Давать?

— Ну, — мамаша лихорадочно копошилась скудными извилинами в собственной голове, — давай. И бутылку, — решила она наконец. Оставалось три рубля. На хлеб и то не хватит.

Клава выложила требуемое на изъеденный временем деревянный прилавок.

— Еще чего?

— Да, хлебца бы. Только у меня всего три рубля осталось.

— Подавись! — буркнула Клава, бросив буханку на прилавок. Жалела она эту дуру. Сил нет.

— Спасибо, Клавушка! — расцвела мамаша. — Я отдам. Как будет — сразу и отдам. — Выложила смятые

десятки, схватила добычу и помчалась что есть сил обратно. Мужа утешать.

Открыла шаткую, разбухшую от влаги дверь в свою избушку и, привычная ко всякому смраду, удивленно заткнула нос. Вонь стояла непереносимая. Внутри было тихо и темно. Ничего не разобрать. Постепенно глаза различили — Василий валяется на тюфяке. Аннушка спит, скрючившись, как всегда. Прошла, положила принесенное на стол — картонный ящик из-под соседского телевизора — и вляпалась ногой в мягкую кучу. Не разобрала. Подошла к кровати, тронула ее рукой и отдернулась. Пальцы оказались выпачканы. Мамка рассмотрела их, с запозданием поняла происхождение грязи и разревелась. Кинулась в угол, где валялись нестиранные тряпки, схватила пару и начала с ревом оттирать. Выходило плохо — все попадало в трещинки, щели и не хотело вылезать. Вот бы мыла с водой — да где ж его найдешь? Как могла, протерла. Сбегала, продолжая на ходу капать слезами, за лопатой во двор. Собрала кучу с пола. Выскочила на улицу, бросила в снег. Оттерла снегом лопату. Потом сообразила — взяла еще тряпок, навалила в бочку снега и — в дом. Пока таял снег, не выдержала — открыла бутылку и выпила прямо из горла, закусывая черным хлебом.

Только к году — в конце мая — научилась Аннушка ползать и сразу нашла способ из кровати своей вылезать, во двор выбираться. Выползет на травку. Нарвет весенней зелени. Пососет. На солнышке погрееется. Мать наткнется на дитя — к груди приложит, не наткнется — Аннушка сама ползет ее искать. Там и лето наступило. Девочка продолжала ползать и ни слова еще не говорила. А как? Да и зачем? Кто ее станет тут слушать? В деревне понятия не имели, что в крайней,

перекошенной от старости и запущенной избе, у двух беспросветных алкашей дитя живое родилось. В той хибаре даже мухи не жили — дошли от вони на лету. Да и поживиться ведь нечем. Ни крошки.

Поэтому баба Маня страшно удивилась, когда ей показалось, что во дворе пропойцы Василия ребенок в траве возится. Глаза протерла. Все то же. Поближе подошла и обомлела. И вправду — дитя. На вид месяцев шесть — тощее, маленькое, грязное с ног до головы и ползает прямо по земле. Баба Маня испугалась, как бы эти ироды ребенка не уморили. Да и откуда малышке было взяться? Разве что выкрали — кто ж их знает, откуда они деньги на водку берут. Чем промышляют. Ведь того, что Ваське на деревне иногда удается добыть, и на хлеб не хватит. Старушка побежала обратно — к своему дому. Деда уговорила к алкашам сходить и выяснить, откуда ребенок-то у них во дворе появился. Может, потерянный. Может, ищет кто. А может, украли. Старик для бодрости рюмочку опрокинул — уж больно идти к этим нелюдям не хотелось — и отправился. Добрел до ворот. Но по двору пробираться не стал — крикнул прямо от перекосившейся калитки.

— Эй, Василий! Есть кто живой? — Ответила ему тишина.

Пришлось по заросшему сорняком огороду топтать к самой двери. И там — ничего. Дед уже думал было развернуться и уйти подобру-поздорову, пока никто не тронул, но тут увидел — из-за угла хибары костлявая детская коленка торчит. Подошел поближе — ребенок на траве сидит! Маленький, тощий, весь в земле. Одет то ли в наволочку старую с дырками вместо горловины и рукавов, то ли в тонкий мешок, приспособленный таким же макарон. Волосенки до плеч, жидкие-

жидкие да такие грязные, что цвета не разберешь. Глаза бегают, взгляд затравленный. Дед от жалости чуть на колени перед дитем не грохнулся. Руки к малышке протянул: хотел поднять да бабке своей отнести — пусть хоть отмоет и поесть чего сообразит. Но ребеночек на четвереньки испуганно вскочил, быстро-быстро за дом заполз и в какую-то дырку залез. Дед слезу со старых глаз своих смахнул и пошел, разъяренный, к двери. Выяснять. Пнул дверь ногой и стал всматриваться. После солнца ничего внутри было не разобрать. Тьма непроглядная. Постепенно привыкли глаза.

Дед думал, что такие гадюшники на земле русской сто лет как перевелись. Все-таки в двадцать первом веке живем. Не в каменном. Пол в хибаре земляной. Бревна в стенах как есть — все прогнили. Посреди горделиво высилась ржавая буржуйка. Из всей мебели — черная кособокая клетка, похоже, когда-то детская кровать. Еще два ящика из-под водки, картонная коробка, соломенный рваный тюфяк. А на нем грязными бесформенными мешками Василий с женой. Спят, с утра уже пьяные, мертвецким сном. И как таких иродов земля только носит? Дед подошел к тюфяку. На что стойкий — блокаду подростком пережил, — а от смрада чуть не выворачивало. Тронул носком калоши тот из двух мешков, что с бородой. Тот и не пошевелился. Дед рассердился. Пнул сильней. Без реакции. В глазах от ярости потемнело. Схватил он гнутую кочергу да как огреет мешок по заду. Василий подскочил — глаза кровавые, красные — и, не разбирая дороги, бросился на обидчика. Дед едва выбежать из хибары успел — как пить дать прихлопнет, пьянь беспросветная. Силы-то бесовской некуда девать.

А Василий глаза протер. Осмотрелся. Нет никого. И снова рухнул подле пьяной жены, прижав ее грузным телом к стене.

— Ну что, чей малец-то, узнал? — накинулась на деда баба Маня, едва тот в калитку вошел.

— Отстань, старуха! — бедно промямлил дед, хватаясь за сердце. — Не выяснил ничего.

— Да как же так? — Баба Маня растревожилась не на шутку.

— А так! — рубанул дед воздух рукой. — В милицию надобно идти. Заявление будем писать. Так мол и так, ребенок замечен. То ли украден, то ли потерян.

— Так ты и ребеночка видел? — всплеснула Маня руками.

— Видел, — понурил голову дед. — В войну и то такими тощими и грязными не ходили.

— Что же, как же, — бессмысленно засуетилась жена. — Милицию надо.

— А хоть бы и ее, — вздохнул дед и поплелся в дом. — Бумагу неси.

* * *

Участковый Степан Степаныч день свой рано начинал. Сядет в казенные двадцатилетние «Жигули» спозаранку и давай по полям колесить. В нескольких деревнях сразу побывать надобно. А успеешь за один день владения объехать — назавтра можно и отдохнуть. Чего там ежедневно-то наблюдать? Все свои, известные. И так понятно, что кроме пьяных драк, разбоя да мелких краж ничего не случится. Хотя раз на раз не приходится. Тут два года назад один мужик жену с любовником в супружеской кровати застал. Обоих на лом, как сосиски на шампур, насадил. Сте-

паныч горько усмехнулся в усы. Надо ж, любовь! Хотя ему-то тогда с этой любовью здорово помучиться пришлось. А мужика несчастного на всю жизнь засадили.

Сегодня дело у Степаныча было серьезное — заявление он получил. От стариков Рябининых. Дескать, в деревне нашей появился краденый ребенок. Просим разобраться и дитя родителям вернуть. Степаныч понять ничего не мог. Кому и чьи дети на деревне могли понадобиться? Своих и то с трудом поднимали.

Но Рябинины были стариками порядочными. Сочинять бы всякое не стали. Сын у них успешный — руководит в Питере большой компанией. Весь район об этом знал и к бабе Мане с дедом относился с уважением. Алексей не раз пытался родителей к себе в город забрать. Да они приросли уж к родной земле. Не оторвешь. Летом внуки у них гостили, шумно и весело в доме становилось. А зимой жили тихо. Одни. Сын исправно навещал — и подарков, и денег привозил. Так что Рябинины полное доверие внушали.

Дверь хибары долго не отворяли. Степаныч громко и по-хозяйски стучал. Внутрь идти ему не хотелось — спасибо, нанюхались уже. Лучше было тут, на воздухе постоять. Выплыл наконец из двери Василий Калошин. Хуже бомжа — смрадный, грязный и весь синий от пьянства.

— Калошин, — вопрошал Степаныч, — когда перестанешь пить, скотина?

— К зиме, — обещал Калошин, смущенно заулыбавшись. Силу он уважал. Со Степанычем ссориться не хотел — прихлопнет еще. Вон кобура под мышкой висит.

— Сведения поступили, что ребенок незаконно у тебя в доме появился, — приступил сразу к делу Степаныч.

— Как незаконно? — осклабился Калошин. — Как у всех появился. Жена есть. А я что — не мужик, что ли?

— Про то я не знаю, — поморщился Степаныч. — Документы тащи.

Василий скрылся за дверь. Долго возился там, чем-то натужно грохотал. Потом вывел испуганную жену с немытой девочкой на руках. «Тьфу, — подумал Степаныч, — и это баба! Смотреть противно». На ребенка же вообще без слез глядеть было нельзя. Убогая.

— Ну, что за ребенок? — обратился он к Василевой жене, прикрывая нос. — Откуда взялся?

— Наша с Васей дочка, — проямлила мать. — Звать Калошина Анна Васильевна.

— Свидетельство о рождении есть? — строго спросил Степаныч.

— Нету, — ответила та и вся покраснела. А Василий злобно закрутил глазами и толкнул ее в бок локтем. — А мне не давали, — оживилась мать. — Только бумажку в роддоме выписали, что 27 мая девочка у меня родилась. Справку, значит.

— Вот дура! — сплюнул Степаныч. — Это что же, целый год ребенок без свидетельства? Тащи сюда справку, и чтоб в течение двух дней в поселок сгоняла. В ЗАГС. За свидетельством о рождении. Проверю в четверг. — Потом он подумал, что дней недели в этом доме никто не знает. И упростил: — На третий день то есть.

Степаныч справку измятую посмотрел и уехал. Потом на всякий случай с роддомом городским связался — там все как есть подтвердили. Значит, порядок. Степаныч мучительно морщился: ну, обзавелась семья дитем. Что, их за это судить, что ли? Хоть и ал-

каши, а такие же люди. Имеют право в законном-то браке.

Только баба Маня да дед Рябинин размышляли иначе. И хоть Степаныч им сообщил, что в порядке все и дитя родилось по закону, а звать ее Калошиной Анной Васильевной, успокоиться не могли. Боялись, как бы в хибаре той проклятой девочку до конца не уморили. Опять заявление писали, что голодает дитя, не в чистоте содержится, что надо бы врачей на проверку послать. Степаныч плюнул с досады да сунул писульку в ящик стола. Каких еще врачей? Из центра, что ли, тащить? Да пошлют его там подальше с такими галлюцинациями. И никто никуда не поедет.

Баба Маня стала каждый день спозаранку бегать к алкашам на двор — девочку подкормить. За забором выжидала. А как увидит Аннушку — протянет ей гостинец. То яичко вареное, то картошку, то котлетку и хлеба. Аннушка поначалу боялась брать. Баба Маня на красивой расшитой салфетке оставляла подарок и уходила. Девочка подползала. Брала. Да и то поначалу не знала, что делать, — пососет, пососет и бросит. Но постепенно научилась и очень даже исправно четырьмя зубками жевала, обильно смачивая слюной. А постепенно и к бабе Мане привыкла — подползала и прямо из рук еду брала. Дома-то ей по-прежнему, кроме мамкиной груди, ничего не перепадало.

Баба Маня про свои походы домашним не говорила. А внукам на тот конец деревни вообще ходить запрещала — алкашом Василием пугала. Дед с энтузиазмом помогал. Но здесь дело больше в Аннушке было. Очень боялись старики мальчишкам своим, в тепле да ласке воспитанным, «психологическую травму», как их ученые родители изъяснялись, нанести. Мальчишки-то ведь не знали, что дети по-разному растут.

Маня часто, пока девочку кормила, разговаривала с ней. Объясняла, что и как называется. Про жизнь говорила. Это она ее по имени стала — Аннушкой — называть, и девочка привыкла, отзываться начала. Мать-то с отцом никак ее не кликали. Только теперь девочка стала понимать, что ее Аннушкой зовут. Позовет ее баба Маня, а она радостно головку в ее сторону ворочит и, сверкая коленками, быстро-быстро ползет. Но говорить так и не начала, ни единого слова. Правда, и занятия их недолго продолжались. Как-то утром мамка вышла во двор — после вчерашнего на ногах едва стоит. Увидала бабу Маню подле Аннушки и давай руками дрожащими махать.

— Что ты, Маня, — заплетающимся языком, — нельзя тебе тут! Василий увидит, голову мне оторвет. Да и тебе тоже.

— Да за что же? — возмутилась баба Маня.

— Не любит, когда лезут в нашу жизнь. Любопытствуют. Говорит, бабам одна радость — языком по деревне чесать.

— Да уж. Ему-то радость другая! Ты посмотри, дурища, до чего вы своим пьянством ребенка довели!

— Наш ребенок — как можем, так растим! — Мамаша нервно дернулась и толкнула Маню, сидевшую перед Аннушкой на коленях, в плечо. — Уходи! Чтоб тебя тут больше не видали!

Баба Маня покачнулась, с оханьем с земли поднялась. А Аннушка тем временем к мамкиной ноге прижалась, обняла ее и повисла, как зверек. Маня не выдержала, — слезы на глаза накатились. Так и шла до дома, держась за грудь и роняя с морщинистого подбородка крупные капли. А сквозь них видела Аннушку. Ласкающуюся к грязной, обернутой в изношенный подол ноге.

На этом Манины визиты к Аннушке прекратились — боялась она за внуков своих. Неизвестно, как Василий себя поведет, если о посещениях узнает. На него, пьяного, никакой ведь управы нет. А потом уж жалеть-то поздно будет. Маня другим делом занялась — собирала по деревне старые детские вещи, кому чего не надо, сына попросила все, чего от ребят осталось, привезти — и к калошинской калитке относилась. От себя добавляла всегда чего-нибудь съестного. Только вот не знала, кому куски эти достаются, и от того было на сердце холодно и страшно.

А Аннушка недолго по старушке скучала — забыла. Выпало из памяти, словно не было той никогда, и все. Только жизнь день ото дня все хуже становилась. Голод донимал. Мать, хоть и прикладывала к груди без счета, но Аннушка не наедалась. И все, что могла, во дворе подбирала — пробовала на вкус. Только там теперь ничего хорошего не появлялось — камни, трава да земля.

Василий к тому времени совсем дикий стал. Каждый день с матерью драку затевал, а как Аннушку где-нибудь замечал, все норовил ударить или пинком достать. Только тем ребенок и спасался, что ползать быстро-быстро умел и дырку под домом полезную знал. Если что — шмыг туда и сидит тихо-тихо.

Лето к концу приближалось. Потом осень пришла. На улице похолодало. Трава во дворе сморщилась и пожухла. Приходилось Аннушке теперь дома все время сидеть. И хотя среди вещей, бабой Маней Калошиным доставленных, были и сапожки, и шерстяные носки, и куртки, и свитера, на Аннушку их никто не надевал. Вещи куда-то пропадали. Если Василий поутру мешок у ворот находил, брал и весь, целиком,

куда-то уносил. А к вечеру возвращался пьяный хуже обычного. Бутылку початую с собой приносил.

В доме прятаться было негде — и Аннушке, и матери сильно в такие дни доставалось. Но мать-то привыкшая была и все время старалась ребеночка телом своим прикрыть. Потом Василий выдыхался и плюхался на тюфяк. А мать выпивала из принесенной мужем бутылки и ложилась с ним рядом.

Иногда и на нее находило, когда Василия дома не было, — смотрит на Аннушку недобрый взглядом, словами горькими ругает, ущипнуть или стукнуть больнее норовит. И «уродина» дочь ее, и «убогая», и «безмозглая». И жизнь ей — без того беспросветную — окончательно поломала. Надо было б уйти от Васи, начать все с нуля. А теперь она куда — с дитем-то? Да еще и с таким. Аннушка слушала ее речи и хоть и не понимала всех слов, но от грубости в голосе плакала горько. И не от побоев ей больно было — нет. Отец-то больнее бил. От страшной — острой и жгучей — обиды.

Баба Маня тем временем не выдержала — два месяца уже прошло с тех пор, как она в последний раз Аннушку видела во дворе. И все сыну своему, Алексею, рассказала. Он обещал помочь. Решили, что если уж толку от милиции нет, то нужно привести к Калошиным журналистов. Тем более у Алексея в одной из влиятельных газет был хороший приятель. Пусть полюбуется и напишет. Заодно и фотографии сделает. Может, до администрации или правительства наконец дойдет. А то развели беспредел: одни пьют сколько влезет, другие делают на этом миллиарды. Притом, сколько ни говорят по телевизору о некачественной водке, алкоголиков что-то меньше не становится. Луч-

ше бы вся эта нежить перетравилась как-нибудь. По крайней мере, естественный отбор.

Журналисты появились через две недели — до этого, видимо, никак вырваться не могли. Алексей в конце концов дал приятелю свою машину с водителем. И просил не откладывать.

В результате перед домом Калошиных из серого «БМВ» вывалилось сразу несколько человек. Сфотографировали перекошенный дом снаружи. Потоптались по огороду. Поколотили в дверь. Из избы вышла грязная, с синим лицом, алкоголичка с ребенком на руках. Пустить людей в дом она отказалась наотрез. Объяснила, что муж «ушел по делам», а без него она чужих не принимает. Ну, они ее, с грязнущей тощей девочкой на руках, сняли. И убыли восвояси. А Василий к тому времени уже вернулся и, притаившись за забором, наблюдал. Как только машина отъехала, ринулся в дом, схватил за плечи жену и стал ее трясти, как безумный.

— Чего они тут шарили? — орал он хриплым голосом. — Что вынюхивали?

— Д-д-да ус-с-спокойся, В-в-вась. — Мать от тряски стучала зубами. — П-п-просто д-д-дочку хотели посмотреть!

— Что?! — Василий наконец отпустил. — Эту?! — Он ткнул в ребенка, который с широко распахнутыми глазами застыл в своей кроватке. — Говорил тебе, дура. От нее одни напасти! Я вот сейчас!

Василий рванул к кроватке. Мать пыталась его удержать, но он пер, как бык. Схватил Аннушку. Та заголосила. Мать ухватила ребенка с другой стороны. Василий не выпускал. Они боролись. Повалились на пол, стиснув ребенка в жесткие тиски. Аннушка вырывалась. Кричала от боли и страха, пыталась выпол-

эти из-под их сплетенных безумием животных тел. Не удавалось. Внезапно острая, как нож, боль пронзила ногу где-то пониже колена. Послышался противный хруст разрывающейся кости и ткани. Аннушка потеряла сознание.

Очнулась она нескоро. Сколько времени прошло — неизвестно. Отца в доме уже не было, мать тихо выла, сидя на тюфяке, а сама Аннушка лежала, распластавшись на родительском ложе. В ушах шумело. Тошнота подкатывала к горлу, только рвать было нечем. Глаза заволакивало непроглядной пеленой. А нога горела адским огнем. Аннушка заплакала.

Обе они проплакали три дня. Мать от бессилья, Аннушка от боли. Сначала мамаша пыталась ощупывать ногу, осматривать. Но снаружи никаких повреждений не было видно — только пальцы не шевелились и двигать ножкой девочка не могла. Потом и осмотры прекратились — мать только выла да иногда прикладывала ребенка к груди. Хотя сосать у Аннушки уже не было сил. Да и есть она больше не хотела.

Василий то приходил, то уходил. Жил какой-то собственной жизнью. Не спрашивал ни о чем, на ночь не оставался. Мать после его ухода выла сильнее. А Аннушке было все равно. Лучше бы все ушли и оставили ее в покое. И чтобы кто-нибудь сделал так, чтобы боль прекратилась.

А на третий день в избу ввалились люди, присыпанные первым ранним снегом. Запустили внутрь холод и стали суетиться вокруг Аннушки, которая лежала без сознания и слабо дышала. Говорили с матерью, показывали ей газету, какие-то бумаги. Потом ворвался пьяный Василий, пытался всех растолкать и забрать, как он выражался, «собственную дочь». Его утомонили, нацепив наручники, вытолкали за дверь

и увезли. Потом завернули Аннушку в теплое одеяло и отнесли в белую машину. Мать не переставала выть, глядя вслед удаляющейся карете «Скорой помощи», которая оставляла на девственно-чистом снегу грязные колеи.

Аннушку привезли в больницу. Отмыли. Одели в чистую рубашку и повезли на рентген. Врач в белом халате долго рассматривала снимок на свет, стоя у окна. Потом дала распоряжения медсестрам. Стали готовить гипсовальную. Перенесли туда Аннушку и долго обматывали маленькую, еще не ходившую ножку смоченными в гипсе бинтами.

В больнице Аннушка пролежала до самого февраля. Нога больше не болела. Силы постепенно, благодаря хорошему уходу, возвращались. Даже аппетит появился снова, и Аннушка без возражений съедала все, чем кормила ее с ложечки старая няня. В палате лечилось еще четверо детей, и Аннушка рассматривала их с большим интересом. Пятилетняя Варя со сломанной рукой то и дело подходила к сияющей белизной Аннушкиной кровати и закидывала туда какую-нибудь игрушку, объясняя: «это — зайчик», «это — киска», «это — уточка». Варя была добрая и словоохотливая. А поскольку трое других пациентов в палате оказались мальчиками и ее пушистым зоопарком не интересовались, целиком и полностью сосредоточилась на Аннушке. Рассказывала, без умолку объясняла, а потом еще и вопросы задавала — правильно ли Аннушка все поняла. Но та по-прежнему не говорила. Только с удовольствием брала в руки ласковых на ощупь неведомых зверушек и улыбалась Варе.

К детям каждый день кто-нибудь приходил. К кому бабушка, к кому дед, к кому родители, к кому старшие

сестра и братья. А трехлетний Антон вообще лежал в палате вместе с мамой. Аннушку не навещали. Но чужие взрослые тоже помогали — кто ложку научит держать, кто одежды принесет, кто фруктами угостит. И всегда отворачивались украдкой, чтобы незаметно смахнуть слезу. Аннушка ко всем относилась одинаково — чуть настороженно — и маму свою часто вспоминала. Как она молоком пахла, как к груди прикладывала, как на руки брала. Непонятно было, как так вышло, что она взяла и разом пропала.

В феврале сняли гипс и стали разрабатывать ногу. Постепенно, изо дня в день, Аннушка училась делать первые шаги. К апрелю пошла. Варя бы очень порадовалась, что теперь можно вдвоем бегать по больничному коридору, но ее к тому времени уже выписали. Поэтому радовались взрослые — врачи, чужие родители, медсестры. А Аннушка понимала, что ее все очень хвалят, и в ответ улыбалась.

Дольше держать девочку в больнице не могли и, собрав в пластиковый пакет накопившееся за больничную жизнь имущество — куклу без глаз, подаренную Варей, несколько старых игрушек, вещи, принесенные для нее родителями маленьких пациентов, Аннушку посадили в больничную машину и повезли в детский дом.

Там началась совершенно другая жизнь. И Аннушка инстинктивно, по прежнему опыту, поняла, что придется снова прятаться и убегать. Бегала она пока не очень хорошо, поэтому в случае крайней опасности падала на четвереньки и быстро-быстро уползала. Залазила в шкаф, где хранили старую, до неузнаваемости изношенную обувь — вдруг еще пригодится, — и тихо там сидела. А когда все успокаивалось: старшие переставали драться или воспитательница, наорав-

шишь, уходила, Аннушка вылезала и брела, чуть покачиваясь на неуверенных ногах, к своей кровати. Перелезала через решетку и садилась внутри. Делать было нечего. Игрушки, привезенные из больницы, у нее в первый же день пребывания в детском доме старшие отобрали.

Аннушка снова училась выживать. Старательно работала ложкой, вылавливая из тарелки с жидким супом куски хлебной котлеты, — считалось, что первое и второе нужно класть в одну тарелку: так поживе становится и усваивается легче. Терпеливо выжидала, когда их поведут в туалет, — за случайные неприятности прямо в колготки можно было лишиться за обедом ложки или воспитательской тапкой по голой попе получить. Прятала в кармашек выдавшего виды платья кусочки хлеба, а потом сушила их под матрасом, чтобы съесть, если за какую-нибудь провинность лишат ужина или обеда. Не вмешивалась в общую возню детей, чтобы не зашибли ненароком.

Чаще всего Аннушка молча сидела в кровати и рассматривала трещинки на стене. Иногда, если остальные дети были заняты другими делами, подбиралась к обломкам казенных игрушек и по-своему, тихо и сосредоточенно, играла. Для двух лет она слишком много понимала. Чересчур редко плакала. И по-прежнему ни слова не говорила.

Так и текла новая Аннушкина жизнь. Лучше или хуже прежней — не разберешь. Только теперь очень мамы не хватало. Слово это Аннушка знала хорошо — стоило в детском доме появиться новой женщине, как вся ребятня облепляла ее со всех сторон с криками «мама!», «мама!» и никак не хотела выпускать. Аннушка не бросалась к незнакомкам — она помнила СВОЮ маму.

Однажды та появилась. Пришла к заведующей с разрешением взять к себе дочку на выходные. После лишения родительских прав жизнь у нее сильно изменилась. Василия она бросила, переехала в поселок. Устроилась в ларек ночной продавщицей. Жила теперь с удобствами в отдельной комнате коммунальной квартиры с новым мужем. Говорила всем, что больше не пьет.

Аннушка маму сразу узнала. Бросилась, обняла за ногу, обернутую в подол, и стала силой отцеплять от матери других детей, кричащих «мама!», «мама!» — колотила их по тонким запястьям жестким кулачком. Мать взяла ее на руки, всплакнула. А потом они вместе вышли на улицу. Июнь был в самом разгаре. Солнышко светило, пахло свежей зеленью. Аннушка держала маму за руку так крепко, что ладошка у нее вспотела. Но она и не думала отпускать. Только сильнее сдавливала скользкие пальцы.

Они не говорили. Мама открыла потертую сумку, достала маленькую шоколадку. Сразу развернула и протянула дочери. Та взяла, осторожно, как сокровище, и начала сосать. Шоколадка быстро таяла в горячей ручке, невыносимо хотелось пить, но Аннушка стойчески терпела и старалась не испачкаться. Очень боялась, что мама разозлится на нее и снова уйдет.

* * *

В понедельник утром Аннушку вернули в детский дом. Грязную, плачущую, в синяках. Она упиралась и отказывалась заходить. Села на корточки у самого порога и горько-горько плакала, повторяя одни и те же слова «мама хорошая», «мама хорошая». Это были первые слова в ее едва начавшейся жизни.

МАША
ТРАУБ



ИВАН ДА МАРЬЯ



— Катюш, ты к папе съезди, узнай, как он там...

— Хорошо, мама, съезжу.

— Подарочек ему собери какой-нибудь.

— Да, мама, не волнуйся.

Катя сидела у кровати матери, и ее трясло от бессилия, злобы и такой всепоглощающей ненависти, что ни о чем другом она даже думать не могла.

Мать умирала. Это началось лет восемь назад. Катя работала в городе, мать жила в деревне.

— Катюш, надо бы плиту по весне поменять, — позвонила ей однажды мать.

— Мам, мы же только новую поставили, два месяца назад, — удивилась Катя.

— А ты еще обещала мне стиралку на Восьмое марта подарить, — тоном капризного ребенка сказала мать.

— Так я и подарила, — еще больше удивилась Катя.

— Мне тяжело руками стирать, а старая машинка совсем не крутит, — продолжала мать, как будто не слышала.

— Мам, у тебя в ванной стоит новая машина. И плита тоже новая. Мы ее вместе выбирали. Забыла?

— Ничего я не забыла, — ответила мать обиженно. — А вот ты про меня совсем не помнишь. Живи, мать, как хочешь. А если плита взорвется? Ей же столько лет, сколько тебе! И руки у меня уже совсем

не держат — выкрутить пододеяльник не могу! А тебе все равно!

— Хорошо, мам, приеду, все поменяю, — сказала Катя, чтобы прекратить этот бессмысленный разговор.

Оказалось, что у матери Альцгеймер, она знала о диагнозе, но скрывала его от Кати.

Началось с плиты и стиральной машинки, которые в памяти матери остались старыми и нуждались в замене. Потом стало хуже.

— Ты почему столько времени не звонишь? — закричала мать, позвонив. Катя поговорила с ней накануне.

— Мамуль, мы же вчера с тобой разговаривали...

— Я тебе уже три часа дозваниваюсь! Ты же знаешь, что я на этом новом телефоне цифр совсем не вижу. Три часа звоню и попадаю не туда. А если со мной что-то случится? Как я тебе позвоню? И кстати, почему ты не подходишь к домашнему телефону?

— Мам, я же тебе сто раз говорила — звони мне на мобильный. Я всегда с ним. Домой я только к вечеру добираюсь.

— А как звонить на твой мобильный? А сколько мне это будет стоить? Квитанция придет? Я же до сберкассы не дойду!

— Мам, у тебя там над телефоном записочка висит с цифрами. Я тебе в прошлый раз написала все. Ничего сложного.

— Мне привычнее звонить тебе на домашний. Его я помню.

— Хорошо, только не нервничай.

Катя разрывалась между работой и заботами о матери. Она платила соседке, чтобы та следила за ней,

мыла полы в доме, приносила еду. Женщина оказалась хорошей, внимательной, но мать была недовольна. Каждые выходные Катя рвалась в деревню. Недалеко вроде бы, но за субботу и воскресенье она выматывалась так, что работа в офисе ей казалась отдыхом. Катя приезжала в деревню и начинала уборку — мать жаловалась на пыль, грязные окна, пол в пятнах. Была недовольна сиделкой — та неряха, все вечно переставляет с места на место — ничего найти нельзя. И гладит плохо, с одной стороны, абы как. И полы моет шваброй, а не руками. И готовит плохо — суп и то нормальный сварить не может.

— Мам, у тебя же диета. Тебе нельзя жирное, жареное, — убеждала ее Катя.

— Это ты специально выдумала, чтобы мяса мне не покупать, — стояла на своем мать.

Когда Кате на работе предложили командировку на две недели, она легко согласилась — хотела уехать, чтобы под любым предлогом не звонить матери, отодвинуть от себя ее болезнь.

— Мам, мне нужно уехать. Я не приеду в выходные.

— Ну и не надо. Ты и так тут целыми днями толчешься, — ответила мать. — У тебя хоть работа-то есть? Чего ты дома сидишь? Надо работать. Я в твои годы...

Катя уехала. Но сердце было беспокойно. Она так и не смогла расслабиться, отключиться и хоть на время забыть о том, что ее ждет дальше. Вернувшись, прямо из аэропорта она отправилась к матери.

— Ты чего? — та встретила ее на пороге, как будто ждала. — Что-то случилось?

— Нет, мам, просто приехала тебя навестить.

— Так вчера же только была!

— Мам, меня не было две недели. Я только вернулась из командировки.

— Не морочь мне голову! Какая командировка? Ты же даже не работаешь! Мою пенсию уже потратила! Сама заработать не можешь и меня обираешь!

Кате исполнилось пятьдесят. Теперь она осталась одна — не нужная ни матери, ни единственному сыну, который жил своей жизнью. Сыну от нее нужны были только деньги. Матери вообще непонятно, что было нужно.

Катя держалась за работу руками и ногами, понимая, что тянуть их обоих придется до последнего. Ей нужна была работа, чтобы куда-то уходить, хотя бы шесть часов не думать о том, что ее ждет дома. Сын опять станет сидеть перед компьютером с остекленевшим взглядом. Мать позвонит, и Катя по первым словам будет пытаться понять, в каком она состоянии. Просвет или опять все плохо? Сын бабушку ненавидел и считал ее сумасшедшей старухой. Впрочем, мать он тоже ненавидел, потому что она ему ничего не дала в жизни — ни квартиры, ни денег, ни машины. Он считал, что Катя ему должна. Когда она к нему подходила и спрашивала, как дела, сын надевал наушники и погружался в свой виртуальный мир.

Катя с этим смирилась. Давно.

Как-то она приехала к матери, та вроде была «в себе».

— Катюш, у тебя ребенок-то есть? — вдруг ласково, жалостливо спросила мать.

— Есть, сын, твой внук, — ответила Катя.

— А откуда ребеночек? Ты же замужем не была, — удивилась мать.

Катя действительно родила сына для себя, без мужа. Но мать сделала свой вывод — раз дочь не была замужем, значит, у нее нет ребенка, значит, и внука нет.

На выходные Катя уговорила сына приехать в деревню:

— Бабушка болеет, надо ее навестить. Я тебя очень прошу.

— Она же все равно ничего не помнит. Зачем? — спросил он, не отрывая взгляда от мерцающего монитора.

— Затем! — крикнула Катя.

Сын приехал в субботу, а Катя вырвалась в деревню в воскресенье. Мать придвинула тумбочку к двери своей комнаты, забаррикадировалась и не открывала.

— Mam, открой, это я! — закричала Катя.

— Кто это? — отозвалась из-за двери мать. — Не открую!

— Что с ней? — спросила у сына Катя.

— Чокнулась, — равнодушно пожал плечами сын. — Еще вчера закрылась и не открывает.

— Mam, мама, открой! — Катя скребла дверь.

Наконец мать приоткрыла дверь на узкую щелку. Из комнаты пахнуло мочой.

— Mam, ну ты чего? — ахнула Катя.

— Быстро заходи. — Мать дернула ее за руку, втащила в комнату и опять пододвинула тумбочку. Откуда только силы взялись?

— Что ты? Что случилось?

— Мужик в дом залез. Ходит со вчерашнего вечера. Как хозяин. Убить меня пришел.

— Mam, это не вор, это твой внук. Приехал тебя проведать.

— Какой внук? У меня нет внука. Откуда? Ты еще и замуж не вышла.

Катя села на кровать, не зная, что делать дальше. Мать согласилась выйти из комнаты только после того, как внук громко прокричал, что он уходит и больше не вернется — это было чистой правдой.

Потом мать перестала узнавать даже Катю.

— Ты кто? — спрашивала она.

— Катя, твоя дочь, — терпеливо отвечала Катерина.

— А где Настя?

— Скоро придет.

Настя была той самой сиделкой, которая приглядывала за матерью в течение недели.

— Ты не так все делаешь, позови Настю, она знает, — говорила мать, когда Катя перестилала постель, мыла ее в ванной или кормила из ложечки супом. — Настя мне больше нравится, а ты совсем безрукая.

Катя уже даже не плакала. Просто кивала и звала Настю, суя ей в карман деньги за неделю и за срочный вызов в выходной день.

Нет, это еще был не конец. Еще через год мать вдруг стала узнавать Катю, ждала ее, требовала приехать только ради того, чтобы задать один вопрос: «Как там Ванечка?»

— Ты к нему ездила? Съезди. Как он? — спрашивала мать Катю, когда та, измотанная, выпотрошенная, приезжала с сумками в деревню.

— Все хорошо, — отвечала Катя.

— А ты ему подарочек отвезла? Одеколон ему купила? Он любит одеколон. Не болеет он?

— Не болеет. Все нормально, — отвечала Катя и задыхалась от злости.

Ванечка, Иван Петрович, был Катиным отцом, мужем матери. Бывшим. Давно бывшим. И только он остался в ее памяти, в которой стерлись дочь, внук и даже любимая Настя. Только о нем она беспокоилась, спрашивала и переживала. Больше никто для нее не существовал — только ее Ванечка. Для нее он был самым ценным, самым главным. Ее прошлым и настоящим.

Катя простить этого матери не могла. Все простила, все забыла, но в свои уже немолодые годы она становилась маленькой девочкой, которая все помнила так же остро, как и много лет назад. Ничего не прошло. Время не вылечило.

Иван Петрович Козлов — мужчина с безупречными именем и фамилией, репутацией, биографией и рабоче-крестьянской родословной — родился под Ленинградом. Окончил инженерно-строительный техникум, поступил в институт, откуда и ушел в армию, на войну. Судьба его берегла. Он не умер, не был ранен, не попал в плен. Конец войны он встретил практически здоровым молодым мужчиной, лишь отлежался в госпитале после контузии, не такой уж и тяжелой, как он это преподносил.

Куда тяжелее была любовь к Ивану его лечащего врача — Клавдии Степановны, которая не хотела с ним расставаться и не выпускала из госпиталя. Эта женщина полюбила своего пациента, этого молодого, сильного, статного мужчину, как может полюбить женщина, лишенная всего — быта, дома, семьи, мужа, — и спасла его от гибели. Держала в госпитале до последнего, до Победы, назначая лечение и обследования. Она не хотела его терять. Не могла выписать и отправить на фронт, поэтому подделала документы

и карту, приписала тяжелую контузию. Защитила. Думала, что бережет для себя.

Он не был ей благодарен и совершенно не собирался жить с ней после Победы. Новую жизнь он представлял себе с кем угодно, но только не с докторшей. Он спал с ней, назад на войну не рвался. Считал, что все так, как должно быть, все честно — он получает уход, заботу медсестричек, а платит за это тем, что может дать мужчина женщине. Иван не любил ее, не жалел, не был признателен. Он ею пользовался, считая, что она пользуется им.

Он расстался с Клавдией Степановной легко и радостно, под звук праздничного салюта, стук граненых стаканов, наполненных медицинским спиртом, разбавленным водой. Он получил от нее все, что хотел. Начиналась новая жизнь, и в новой жизни врачиха с отеками ногами и мешками под глазами была ему не нужна.

Из госпиталя Иван вышел героем, победителем. Медсестрички, две из которых были его любовницами, плакали навзрыд и подарили букеты полевых цветов. Он был удивительно хорош в военной форме, любовно отутюженной, в начищенных до блеска сапогах, с медалями на груди, которые дались ему легко. Так же легко, как любовь женщин. Он уходил из госпиталя радостно, спокойно зачеркнув прошлое. Пока он махал безутешным медсестричкам, Клавдия Степановна выпила полстакана спирта, в котором тщательно размешала горсть таблеток. Ее не успели откачать. Иван так об этом и не узнал.

Учитывая безупречную репутацию, биографию и происхождение, Иван Петрович Козлов был на-

правлен на ответственную работу — занял пост коменданта в маленьком городке под Кенигсбергом, который вскоре переименовали в Калининград. Ему выделили дом, двор и дали в руки власть. Для полного счастья и окончательно безупречной биографии не хватало только жены, которая, впрочем, нашлась очень быстро.

Катина мать приехала в этот городок по зову сердца и Сталина — преподавать в советской школе. Она была правильная, идейная комсомолка, будущий член партии, учительница, круглая сирота. Идеальный вариант.

Ивану, который еще в госпитале понял, что женщины его любят только за то, что он мужчина, ничего не стоило очаровать молодую учительницу Машеньку Сидорову, умницу, но далеко не красавицу, что ему было и не нужно. Иван давно понял — чем более непривлекательной ощущает себя женщина, тем в большей степени она становится ему благодарной. Он тщательно проверил будущую жену на предмет родственных связей, происхождения и остался доволен.

Машенька Сидорова влюбилась в него сразу и навсегда. Нельзя было не влюбиться. Комендант с собственным домом. Фронтовик, красавчик, плотный, широкий в плечах, высокий, наделенный властью. После войны — уникальный мужской экземпляр, заботливо сохраненный Клавдией Степановной.

Свадьбу сыграли по меркам послевоенного времени пышную, и Машенька переехала к мужу, в новый двухэтажный дом, который приходила убирать домработница — немыслимая роскошь. Каждое утро Машенька подходила на цыпочках к ванной — огром-

ной комнате, украшенной изразцами, — и смотрела, как муж собирается на работу. Иван знал за собой один недостаток — плохие волосы, жидкие и блеклые, поэтому голову он брил так же, как щетину, — опасной бритвой, которую точил на специальном ремне.

Это посоветовала еще та врачиха, Клавдия Степановна, лично побрив ему однажды голову. Она поднесла к его лицу зеркало и сказала, что он очень красивый. Она смотрела на него и любовалась. Этот взгляд Иван заметил и не забыл. С тех пор тщательно обрабатывал затылок и сбрасывал даже брови. Безволосый, он притягивал к себе взгляды женщин, а отсутствие бровей внушало им страх — панический, на бессознательном уровне. Машенька была тиха и покорна. Замирала, как жертва перед палачом.

Мужа она любила безумно и так же безумно боялась. У Ивана была еще одна особенность — отсутствие мимики. Он умел владеть лицом. Только глаза в момент эмоционального всплеска — обычно прозрачные, голубые с жижей, — темнели, наполняясь зеленцой — подгнившими водорослями. По цвету глаз Машенька определяла настроение мужа.

С этим страхом соперничал только ужас перед живыми угрями, которые плескались в огромных баках для белья, стоявших в ванной. Иван любил жареных угрей, и живые твари никогда не переводились в баках. Машенька не находила в себе сил даже заглянуть в бак, где копошились склизкие, проворные рыбины. Угрей вылавливала и готовила домработница — молчаливая женщина из местных, тайно влюбленная в своего хозяина и брезгливо относившаяся к Машеньке.

Машенька не знала других мужчин, кроме Ивана, и все принимала как должное. Только дома ей было плохо и страшно. Она боялась и угрей, и мужа, и домработницу, поэтому задерживалась на работе, отдавала себя всю детям, ходила на собрания, брала общественную нагрузку и по вечерам тщательно готовилась к вступлению в партию.

То, что она беременна, Машенька обнаружила не сразу. И очень удивилась. Она все знала про Сталина, про партию, но ничего не знала про себя как женщину.

Еще месяц она страшилась сообщить мужу, что ждет ребенка. Боялась, что он ее «заругает». Но Иван даже обрадовался. Ему нужен был ребенок как важный пункт в анкете.

Машенька родила девочку, которую муж назвал Катей. Машенька не спрашивала, почему именно Катей, — постеснялась.

Как настоящая комсомолка, будущий член партии, Машенька не собиралась превращаться в мешанку и с радостью отдала дочку на попечение домработницы, заново окунувшись в мир собраний и совещаний. Она была нужна там, на работе, где под ее надзором находились детишки, которых нужно было учить любить Сталина. Машенька мечтала построить идеальную советскую школу, которая будет соответствовать гордому имени Зои Космодемьянской, которое носила. Она не жалела на это ни сил, ни времени.

...Дочка Катя сразу же прикипела к домработнице и горько плакала, когда мать или отец брали ее на руки. Машенька не ревновала, даже была рада, что дочка понимает, насколько важна для матери работа.

Домработница вцепилась в Катю мертвой хваткой и не выпускала из своих рук.

Катя помнила и огромный дом, и то, как они с отцом ходили на берег моря — он сажал ее на плечи и нес, держа за руки. А она замирала от восторга, высоты и счастья. Катя помнила, что домработница наряжала ее в красивые платья, играла с ней в куклы, немецкие, трофейные, и вплетала в косы банты. Ее детство было настолько счастливым, насколько это было возможным в те годы.

Что произошло потом, Катя не помнила. Ей было лет одиннадцать, когда для нее началась новая жизнь.

В хрущевское время отец потерял работу, и семья была вынуждена переехать в другой город. Он занимался строительством, вечно в разъездах, дома его практически не бывало. Катя с матерью ездили за ним — из города в город, всякий раз обживаясь на новом месте. Машенька устраивалась в ближайшую школу, не зная, надолго ли в ней задержится. Не было больше ни собраний, ни турпоходов. Она стала бледной тенью себя прошлой — вечно запуганной, уставшей, хмурой. Жила в ожидании мужа, таскалась за ним, как побитая, выброшенная на помойку блохастая собака, которая все равно возвращается к своим хозяевам.

Катя тогда уже почти по-взрослому смотрела на отца, который тоже стал другим. Чужим, страшным, посторонним мужчиной.

Она его раздражала и прекрасно это чувствовала, поэтому старалась не попадаться отцу на глаза. Он стал жестоким. За малейшую провинность снимал с гвоздя ремень, на котором точил свою опасную

бритву, и лупил дочь. Доставалось и Машеньке, хотя она не пыталась прикрыть Катю, не вмешивалась.

Что произошло с отцом, Катя так никогда и не узнала, зато запомнила его именно таким, каким он был тогда: лысым, безбровым, жестоким, малознакомым мужчиной, не имевшим ничего общего с папой, катавшим ее на плечах.

Отец мог не дать Машеньке денег на продукты, о новых ботинках для Кати можно было даже не заикаться, но себе ни в чем не отказывал. Он любил бурки, пальто с каракулевым воротником. Одевался, наряжался, подолгу стоял перед зеркалом — ему это нравилось.

Когда они приезжали в новую квартиру, отец заходил первым и осматривал помещение. Он всегда выбирал себе самую большую, лучшую комнату. Или, если это была коммуналка, — самый просторный угол, отгороженный ширмой. Это была его территория, на которую он заходить запрещал. Мать приучила Катю убирать в комнате отца так, чтобы ни одна вещь не была сдвинута с места.

В обязанности Кати входила и уборка ванной для отца. Если в доме ее не было, отец покупал себе огромную ванну, и Катя ведрами со двора носила в нее воду. Отец грел воду ручным кипятильником и лежал, пока вода не остывала. Катя вытаскивала грязную воду на улицу, отдраивала ванну так, чтобы она была идеально белой. Они с матерью мылись в корыте — цинковом, которое висело на гвозде в коридоре. Залезть в ванну они не имели права — отец брезговал.

После ванной он требовал вареников — с вишней или с картошкой и луком. Катя с Машенькой по ночам

лепили вареники, чтобы у него всегда было наготове любимое блюдо.

По вечерам Иван запирался в комнате и подолгу сидел с ручным арифмометром, что-то вычисляя, или поливал фикус, который возил с собой. У него не было друзей, к ним никогда не приходили гости, они тоже никуда не ходили. Катя не могла пригласить в дом подруг и не могла пойти сама — ее никто не звал. Да и отец бы не позволил.

Вся семья, то есть Машенька и Катя, жили по жесткому режиму, который нельзя было нарушать. Как в казарме. Они завтракали в одно и то же время, Катя должна была лежать в постели ровно в девять тридцать вечера и ни минутой позже. Она не могла даже включить свет, чтобы почитать. Отец вообще считал, что книги — это зло и ненужная прихоть. Он читал только газеты.

Помимо арифмометра и фикуса, у отца была огромная физическая карта Советского Союза, которую он возил за собой и вешал на стене в своем «кабинете». Когда у него было плохое настроение, он звал Катю, давал ей в руки указку и требовал перечислить все союзные республики со столицами, показать границы.

Катя географию ненавидела. Около карты ей становилось плохо в буквальном смысле слова — перед глазами плыло, накатывала тошнота, она еле держалась на ногах. Она знала, что за ошибку отец ее выпорет, но ничего не могла с собой поделать. На нее находил такой ступор, что она даже Москву найти была не в состоянии. Отец кричал, что она идиотка, дебилка, снимал со стены ремень и лупил ее, как сивому козу.

Уже будучи взрослой, Катя пыталась понять происхождение этих приступов жестокости, агрессии и ненависти.

Однажды мать подала ему на ужин уже остывшую картошку. Отец вообще любил все горячее, обжигающее, чтобы шел дым или пар. Он схватил табуретку, ударил по столу, отломав ножку, и этой самой ножкой избил Машеньку. Та не сопротивлялась, считая себя виноватой — да, получила по заслугам. Так ей и надо. Эта покорность Катю удивляла, возмущала — она не могла понять, почему мама все это терпит. И главное, почему отец стал таким? Он никогда не пил, не курил. У него не имелось психических заболеваний, тяжелых ран, которые давали бы о себе знать.

Два раза в год отец отправлялся в госпиталь на обследование — поправить здоровье и подлечиться. Ездил неизменно в теплые места — Туапсе или Майкоп. Возвращался всегда с арбузом. Огромным, спелым, который резал лично, ровными дольками, забирая себе на тарелку сахарную серединку.

— А можно мне серединку попробовать? — попросила однажды Катя.

— Нет, — ответил отец.

— Тебе жалко?

— Жалко.

Катя тогда не сдержалась:

— Мам, я тоже хочу серединку, хоть чуть-чуть. Почему он всегда ее ест?

— Ты совсем, что ли, страх потеряла? — Отец изменился в лице.

— А что я такого сделала? — чуть не закричала Катя. — Я просто попросила немножко серединки!

— Иди вон отсюда.

— И пойду!

Катя схватила с тарелки отца кусок, запихнула в рот и выбежала из кухни.

До вечера она бродила по городу, замерзла, проголодалась и с ужасом представляла, что будет, когда она вернется.

Дома стояла тишина, отца не было, мать спала. Катя пробралась на свою кровать, схватив на кухне кусок хлеба, и юркнула под одеяло.

Утром, когда она проснулась, мать сидела на стуле уже одетая.

— Ты поедешь в интернат, — сказала она.

— В какой интернат? — Катя ожидала любого наказания, но не этого.

— В обычный интернат. Собирай вещи.

— Зачем?

— Так отец велел.

— Надолго?

— На сколько надо, на столько и поедешь. Пусть государство тебя воспитывает, я больше не могу.

— Мам, прости меня! — закричала Катя. — Не отправляй меня в интернат! Я больше не буду!

— Это решено, — отрезала мать.

Катя прожила в интернате три года. Сначала она плакала почти каждую ночь, но потом привыкла. Там было много девочек и мальчиков, у которых, как и у нее, родители были живы. К некоторым даже приезжали, привозили гостинцы. К Кате мать ни разу не приехала, хотя она ждала ее каждый день.

Интернатская жизнь мало чем отличалась от лагерной. Катя помнила, что в комнате жили еще пять девочек. Все носили одинаковую одежду, много работали — чистили картошку, мыли полы, пропалывали

грядки на огороде. Четкий распорядок, все по часам. После такой монотонной, тяжелой работы не хотелось ни думать, ни мечтать. Было одно желание — добраться до кровати, упасть и забыться хоть на пару часов. Есть хотелось все время.

За полгода Катя научилась воровать, стоять на стреме, драться, быстро бегать.

Через полгода она сбежала из интерната и добралась до дома — голодная, еле державшаяся на ногах. Мать стирала во дворе белье.

— Мамочка, — кинулась к ней Катя и заплакала. Не хотела плакать, запретила себе, но не выдержала.

— Ты чего здесь делаешь? — Мать вытерла распаренные руки о фартук. В тазу лежали рубашки отца.

— Я домой хочу, — сказала Катя.

— Иди назад, — велела мать.

— Мам, я есть хочу.

— Вот дойдешь до интерната, там и поешь, — ответила мать и отвернулась.

Катя постояла еще и пошла на дорогу, надеясь, что мама окликнет ее. Но мама так и не позвала. Катя вернулась в интернат, где ее наказали — посадили на хлеб и воду на неделю.

То, что мать ее тогда даже не накормила, даже куска хлеба не дала, Катя помнила всю жизнь.

Три года Катя прожила с клеймом «интернатская». Она привыкла к ненависти, к тому, что ее считают уголовницей. Тогда же она узнала, что такое первая любовь и первое предательство. Тогда же она стала ненавидеть людей и особенно отца. Его она ненавидела больше всех на свете. Именно из-за него она попала в интернат.

Катя рано начала приобретать женские формы. О том, что такое лифчик, она понятия не имела, да и не было ни у кого из девочек лифчиков. Все ходили в одинаковых коричневых тяжелых платьях, от которых начинался нестерпимый зуд по всему телу. На платье под мышками оставались следы от пота — белые, ничем не смываемые разводы. Соль въедалась в ткань намертво.

Она привлекала внимание мальчиков — сначала как партнер по играм, потом уже как девушка. Ей свистели вслед, Катя тут же рвалась с места и дралась с наглцом в кровь, на равных.

На Восьмое марта у себя под подушкой она нашла подарок — красивую чашечку с миниатюрной десертной ложечкой и записку: «От Валеры».

Валерка был сыном директрисы интерната. Его побаивались, раз и навсегда признав лидером, хотя он спал в точно такой же комнате на шесть человек, на точно такой же кровати с проеденным клопами матрасом, ходил в интернатской одежде и точно так же, как и все остальные, воровал хлеб из столовой. Правда, у него в отличие от остальных детей водились деньги. Он покупал кулек семечек и грыз их на глазах у всех, смачно сплевывая шелуху. Иногда покупал бублик и делил его на равные части между своими друзьями.

Катя замерла с чашечкой в руках. Она никогда еще не получала подарков. Мать с отцом, с тех пор как она попала в интернат, не присылали ей ничего даже на Новый год. А из того, что Катя помнила, были козья ножка, подаренная отцом для черчения, и теплые рейтузы от матери. Никогда ей не дарили ничего красивого, ненужного и оттого ценного.

Катя каждый вечер разворачивала чашечку, любовалась ею, представляла, как будет пить из нее чай, держала в руках ложечку и засыпала почти счастливая.

А вскоре Валерка поделился с ней семечками, насыпав в ладонь целую горсть, они сидели на скамейке и лузгали их. С того самого дня больше никто не свистел ей вслед, никто не задирался, не лез в драку.

Постепенно они с Валеркой начали разговаривать, рассказывать друг другу о себе. Оказалось, что он такой же одинокий, такой же не нужный никому, как и Катя. Хотя она все равно считала его счастливым — Валеркина мама была рядом, он ее видел каждый день. Его не бросали. Однажды они с Катей даже поцеловались.

— Не бойся, я тебя не дам в обиду, — торжественно пообещал Валерка.

Для Кати, которая привыкла защищать себя сама, эти слова были все равно что признание в любви. Даже больше. Намного больше. Она была нужна Валерке, а Валерка был нужен ей. Они были вместе.

Это произошло на уроке географии, которую Катя продолжала ненавидеть. Они бегали по классу перед началом урока. У Кати было хорошее настроение, она гналась за Валеркой, который должен был повесить на доску карту. Катя бежала между партами и смеялась.

— Давай еще, беги! — улюлюкали мальчишки Валерке, который в последний момент уворачивался, перескакивал через парту. Катя никак не могла его осалить.

Краем глаза она заметила, что мальчишки показывают на нее пальцами и смеются. Она продолжала

бежать, но чувство радости улетучилось. Что-то было не так.

— Беги! — подзадоривали Валерку мальчишки. — Пусть еще кружок сиськами потрясет! — Это крикнул кто-то из подхалимов. То ли тщедушный, вечно сопливый Гарик, то ли жиртрест Витька.

Катя остановилась как вкопанная.

— Ткни ее в сиськи! Ткни ее! — закричали мальчишки.

Валерка тоже остановился и изо всей силы концом скрученной карты ткнул Катю в рано развившуюся грудь. Ткнул так сильно, что Катя охнула и упала.

— Ура! Победа! — заорали мальчишки.

Для Кати это стало предательством, хуже которого не было. Это был позор на весь класс, на весь интернат. Это был удар от человека, которому она доверяла.

Больше Катя с Валеркой не разговаривала, хотя он и написал ей записку «Прости меня», которую она нашла у себя под подушкой. Подаренную Валеркой чашечку Катя растоптала, после чего собрала осколки в совок и выбросила. Ложечку она гнула, пока та не сломалась.

Она видела, что Валерка чувствует себя виноватым, что он сам не знал, как это получилось, но простить его так и не смогла. А еще она не могла понять главного — почему Валерка вдруг изменился, почему ее предал? Почему он поступил так же, как ее отец, — в один момент стал жестоким и готов был сделать больно? Грудь, кстати, у Кати болела еще месяц, синяк долго не проходил. И если Катя и собиралась простить Валерку, то боль в груди от малейшего движения рукой давала о себе знать и напоминала об обиде.

Хотя именно благодаря Валерке она вернулась домой.

На перемене все играли в любимую игру — кидались мокрой тряпкой, которой вытиралась доска. Катя не принимала участия в игре. Сидела за партой и делала вид, что читает. Тряпка — грязная, вся в меле, попала ей в голову. Она повернулась, чтобы посмотреть, кто бросил. Бросал Валерка. Не в нее, а в тщедушного Гарика, который присел и избежал удара. Катя сама себя не помнила. Она схватила чернильницу со стола и запустила в Валерку. Тот не ждал удара, и чернильница благополучно влетела ему в лоб, залив чернилами лицо.

В этот момент в класс вошла директриса.

— Кто это сделал? — спросила она, увидев своего сына, у которого из разбитого лба текла кровь, смешанная с чернилами.

Все показали на Катю.

Буквально через два дня за ней приехала строгая и суровая мать — из интерната ее исключили.

— Я не специально, я не хотела, — промямлила Катя, но ей никто не поверил.

Дома все оставалось как прежде. Мать работала, отец опять уехал на лечение в госпиталь. Катя была предоставлена сама себе — мать махнула на нее рукой. Она могла по три дня не появляться дома, мать бы и не заметила.

Кате было тоже все равно. Каждый день, каждый вечер, каждую свободную минуту она думала о Валерке. Она вспоминала, как они грызли семечки, как сидели на лавочке и разговаривали, как целовались. Катя держала в руках кружку и вспоминала ту самую чашечку, которую ей подарил Валерка. Держала в ру-

ках алюминиевую гнутую ложку и представляла, что держит ту самую десертную ложечку. Она ругала себя за то, что разбила, не сохранила подарок. Ругала за то, что уже не помнит Валерку так четко, как ей бы хотелось. Она скучала по нему, по интернатской жизни. Катя даже просилась у матери назад, в интернат, но мать посмотрела на нее как на больную.

— Тебе место в психушке, — отрезала Машенька и погрузилась в проверку тетрадей.

Катя была согласна на все — на психушку, на побои, на издевательства отца, лишь бы вернуться к Валерке, лишь бы увидеть его хотя бы еще один раз. Увидеть, запомнить — какие у него были руки, какие глаза. Она закрывала глаза и представляла себе Валерку, близко-близко. У него были веснушки, совершенно точно. Только на носу и крыльях носа. Больше нигде. Конопущки она помнила, а цвет глаз — нет.

Она дала себе слово найти Валерку и никого больше никогда не любить. Ведь он был совсем не виноват! Это все мальчишки, которые его подзуживали. А она? Тоже хороша! Катя ненавидела себя. К тому же она начала комплексовать из-за своей груди, продолжавшей расти, из-за волос под мышками и на ногах, которые она боялась сбрить, а спросить у матери не осмеливалась. Она решила, что никому, кроме Валерки, не будет нужна. Никто на нее больше и не посмотрит, что было в принципе недалеко от истины. В новой школе Катю боялись как бывшую интернатовскую. Она была резкая, ничего не боялась, вела себя как уголовница — материлась, умела курить, дралась. У нее были свои законы выживания, по которым она жила. Она никогда никого не закладывала, за пущенную сплетню била нещадно. Не лебезила перед учителями. Ходила

в том же коричневом платье, в котором приехала из интерната, и, если кому-нибудь из девочек приходило в голову сделать ей замечание или отпустить нечаянное слово, она снова пускала в ход кулаки. Катя была изгоем в классе. Одинокой, зачумленной девочкой, которой сторонились.

По вечерам Катя писала длинные письма Валерке — о том, что произошло в школе, о распустившихся ромашках, обо всем, что было важным и неважным. Ни одного письма она так и не отправила — потому что не знала адрес интерната, не было денег на конверт и марки. А еще потому, что хорошо знала — все письма читает лично директриса и только после этого, уже вскрытыми, передает детям.

Катя ждала письма от Валерки. Надеялась, что он ей напишет. Каждый день бегала к почтовому ящику, но письма не было.

Она не могла знать, что Валерка ей писал, но его мать сразу же отправляла письма в мусорную корзину, даже не читая, — была уверена, что такая переписка к добру не приведет.

Валерку Катя запомнила на всю жизнь. Так же как и его подарок — фарфоровую чашечку с тонюсенькой ручкой.

Катя выучилась, уехала в город, поступила в институт. Отец с матерью, видимо, развелся и совсем пропал из их жизни. Уехал в командировку и не вернулся.

К матери Катя приезжала на каникулы, и каждый раз на следующее утро после возвращения дочери Машенька клала перед ней на стол бумажку с адресом.

— Съезди к отцу, узнай, как он там. Жив, здоров? Проведай его, — просила мать.

В первый раз Катя согласилась. Отец, судя по адресу, нацарапанному на бумажке, лежал в госпитале в Туапсе.

Катя поехала, разыскала госпиталь, медсестра сказала, что отца можно найти на главной аллее.

Где искать отца, Катя знала и без медсестры. Шахматы. Он прекрасно играл в шахматы, запойно, самозабвенно. Если в пансионате или в госпитале имелась шахматная аллея с выложенными на земле черно-белыми плитами и большими деревянными фигурами, отец был там. Нет, шахматисты играли, расположившись на лавочке. Большие фигуры — для детей, для развлечения. Но место всегда было неизменным.

Катя спросила у медсестры, куда идти. Та махнула рукой. Катя шла по аллее, задумавшись, и не сразу поняла, что навстречу идет отец.

Он прекрасно выглядел — в шелковой отутюженной пижаме, чисто выбритый, пахнувший «Шипром». Он шел, насвистывая под нос мелодию. Катю он тоже не заметил.

— Папа, — окликнула его она.

Он посмотрел на нее, и Катя пожалела, что окликнула — отца перекосило. Довольная улыбка сменилась гримасой — это был оскал ненависти. Настоящей, лютой, животной ненависти.

— Что тебе надо? — спросил он.

— Ничего, — ответила Катя. — Мама просила тебя найти.

— Зачем? Что вам от меня надо? — Отец произвольно брызгал слюной.

— Ничего не надо.

— Чтобы я тебя больше не видел. И матери передай, чтобы тебя не подсылала, — сказал отец и быстрым легким шагом пошел к главному зданию.

Катя вернулась домой на ватных ногах, с ощущением, что ее окунули в бак с нечистотами. Она не могла забыть оскал на лице отца.

До этого момента она его все-таки любила. Помнила, как он носил ее на плечах. Он был ее отцом. Катя не могла выбросить его из памяти, избавиться так же легко, как отец от нее.

Но этой встречи ей хватило сполна. От дочерней любви ничего не осталось. Нельзя любить человека, который ненавидит тебя так сильно.

— Ну что, ты его нашла? Как он себя чувствует? Болеет? Кушает? Госпиталь хороший? Ему процедуры делают? — Мать с надеждой смотрела на Катю. Она не спросила, как дочь сдала сессию, какие у нее соседки по комнате в общежитии, хватает ли ей на жизнь стипендии. Мать не задала ни одного вопроса. Катя только сейчас поняла, почему мать обрадовалась, что дочь приезжает на каникулы домой. Катя решила, что мама соскучилась по ней, а оказалось, что она хотела отправить ее к отцу. Сама мать поехать не могла — боялась, не решалась, так что Катины каникулы пришлось очень вовремя.

— Все хорошо. Он передавал тебе привет, — ответила Катя.

— Правда? — Мать аж зашлась от счастья. — А что он сказал? Не похудел?

— Нет, там кормят четыре раза в день. Играет в шахматы, — ответила Катя.

— А что еще?

Мать ждала, жаждала подробностей. Ей нужна была информация, которую она обдумывала бы каждый вечер, каждую минуту, представляя себе бывшего, но все еще любимого мужа.

Став уже взрослой, женщиной с незадавшейся личной жизнью, матерью-одиночкой, Катя поняла, что мать всю жизнь любила только отца. Замуж она так и не вышла, хотя за ней ухаживал массовик-затейник из местного Дома культуры. Но вот как можно любить такого мужчину, как можно было ради него сдать родного ребенка в интернат, Катя так и не смогла понять. Да, такое было время — тяжелое. Да, такое было поколение — военное. У них все перевернулось, все встало с ног на голову. Дети для них никогда не были самым главным в жизни. Они искренне считали, что государство воспитает из их сыновей и дочерей достойных членов советского общества, будущих коммунистов. Они верили в свои идеалы, в работу на благо партии, а «мещанство» для них было ругательным словом. Катя все понимала, но простить не могла. Так и жила с комплексом интернатской девочки, загубленной, задуманной, выброшенной за ненадобностью. Не знала, что такое семья, и не смогла построить свою. Не знала, как отдавать любовь, и каждую минуту ждала удара заточкой под ребра. Не понимала, что такое быть женщиной.

Она рано обрела привычку рассчитывать только на себя, встала на ноги, начала работать, зарабатывать. Другого пути у нее не было. И это единственное, чему ее научили, — быть одной. Она приезжала к матери урывками, пусть на два дня. Привозила деньги, продукты. Мать никогда ее ни о чем не спрашивала, никогда не благодарила. Принимала все как должное.

Но каждый раз наутро, дождавшись, когда дочь проснется, Машенька выкладывала на стол бумажку с очередным адресом, по которому можно было найти отца.

— Съезди к папе, посмотри, как он там, — просила она.

Катя ехала. Находила очередной пансионат или госпиталь, где ей давали адрес отца. Она искала нужный дом, квартиру. Дверь открывала женщина, представлявшаяся отцовской женой. Отца дома обычно не было — он или гулял в парке, или играл в шахматы в Доме культуры.

Катя возвращалась домой и докладывала матери — все хорошо, питается замечательно, четыре раза в день, ходит на процедуры, деньги вот передал.

Катя выдавала матери свои, кровные, заработанные, отложенные деньги. Мать радовалась, как девочка. Целовала конверт и надеялась, что однажды муж к ней вернется.

Даже когда у Кати родился сын, мать его не приняла как внука. Мальчик был приложением к Кате, и у Машеньки никакие душевные мускулы не дрогнули.

Тогда Катя действительно поехала искать отца — сказать ему, что он стал дедом. Она нашла его в Туапсе. В справочной ей дали адрес. Катя поехала. Дверь ей открыла очередная жена, которая сказала, что Катин отец ушел на вечерний моцион. Скоро вернется.

Катя пошла в ближайший парк, спросила у прохожего, где собираются шахматисты, и нашла там отца. Он сидел на лавочке, в красивом костюме, в очках в золотой оправе, выбритый, моложавый, уверенный в себе. Катя подумала о маме, которая никак не могла

быть женой этого мужчины — подтянутого, пышущего здоровьем, холеного, умытого, отутюженного, надушенного.

Катя так и не подошла к нему. Не смогла. Перед глазами стоял его животный оскал. Второй раз она этого видеть не хотела. Она ненавидела его и за мать. Та ни разу не ездила отдыхать, подлечиться. Ей даже в голову такое не могло прийти. Мать никогда не жаловалась, боль и болезни переносила на ногах — отца очень раздражало, когда она лежала с температурой. Он не верил в то, что она действительно простудилась. Болеть в их семье мог только он.

Если плохо себя чувствовала мать или заболела Катя, отец испытывал неудобства. Он раздражался, даже впадал в ярость оттого, что все идет не так, как он любит, не так, как он привык. Детский кашель вызывал у него головную боль, запах лекарств — изжогу, а больная жена — презрение.

Катя хорошо запомнила один случай, когда мать добегалась до воспаления легких. Вставала, готовила, утюжила рубашки. Слегла только после того, как температура подскочила до тридцати девяти.

— Надо «Скорую» вызвать, — сказала Машенька мужу.

— Зачем? Я здоров, нормально себя чувствую, — удивился тот.

— Мне плохо. Вызови врача.

— Обычная простуда, что ты выдумываешь?

— Пожалуйста, вызови врача.

— С тобой одни проблемы! — Отец нехотя набрал номер «Скорой», и мать увезли в больницу в тот же вечер.

Он навестил ее один раз — пришел узнать, как долго она пробудет в больнице. Врач сказала, что не меньше двух недель. Отец кивнул и уехал в командировку, оставив Катю-школьницу одну, без денег и еды. Катю подкармливали соседки. Они же выдавали девочке яблоки, котлеты, пироги, чтобы она отнесла маме в больницу.

И даже после этого Машенька не развелась с мужем, не бросила его, ни словом не попрекнула. Его эгоизм она считала нормальным и готова была простить все, даже то, что ему наплевать и на нее, и на родную дочь, ребенка, которого он, не задумываясь, бросил на произвол судьбы. Не умерла же с голоду, значит, все нормально. Соседки подкормили? На то они и бабы, чтобы готовить и кормить. Не его это дело, не его забота.

Потом Катя даже не ездила искать отца. Уходила к соседке на дальнюю улицу и просилась переночевать. Соседка знала, что у Машеньки «не все дома», и Катю жалела — кормила, укладывала спать на свою кровать. Катя возвращалась домой, как будто от отца — с деньгами, подарками. Мать примеряла новый халатик, ночнушку, нюхала колбасу, и у нее даже мысли не возникало, что бывший муж не в состоянии выбрать женскую одежду и уж тем более купить колбасы.

Прошло много лет. Кате казалось, что пролетела целая жизнь. Мать была уже совсем плоха — жаловалась на боли в ногах, желудок болел. Машенька превратилась в старушку — больную, сторбленную, седую насквозь. Она тяжело, натужно кашляла, простужалась от малейшего сквозняка, могла есть только перемолотую пищу. Стала забывать, какой на дворе

месяц. Даже с первого взгляда было видно, что мать больна. Но для Машеньки жизнь остановилась в том времени, когда она была счастливой — полной надежд девушкой, комсомолкой, подающей надежды учительницей. Машенька забыла, сколько ей лет, забыла, что ее любимый муж давно с ней развелся, забыла, что единственная дочь давно выросла. Зато она помнила угрей в баках для белья, пальто мужа с каракулевым воротником, от роскошного вида которого она теряла дар речи, помнила маленькую Катю в красивом платье, берег моря, вдоль которого они гуляли втроем. Машенька осталась в том времени, в котором, как ей казалось, она была по-настоящему счастлива.

Она перестала просить дочь съездить проведать отца. Катя сама ей рассказывала, что они виделись, разговаривали, у отца много работы, он передал деньги. Машенька кивала и счастливо улыбалась.

Катя так и не поняла, почему мать всю жизнь любила этого мужчину. Была ли это любовь или какое-то другое чувство — зависимость, жертвенность, боязнь остаться одной? Но она и так всю жизнь оставалась одна, пока муж разъезжал по курортам, где он находил других женщин, которые соглашались готовить, обстирывать, облизывать, пресмыкаться. Недостатка в этих странных, слабых, одиноких, на что-то надеющихся женщинах — чуть моложе, чуть старше, более или менее привлекательных — отец не испытывал никогда.

Он с ними легко сходилась и так же легко расставался, не вспоминая, не задумываясь о том, насколько больно обидел их, уходя. Они для него были обслуживающим персоналом, как медсестры в госпиталях —

все на одно лицо. Ни к одной из них он не чувствовал благодарности, признательности, нежности и уж тем более привязанности. Ни одну из них не вспоминал добрым словом. Да никаким словом не вспоминал.

Машеньку, которая любила его всю свою жизнь и продолжала любить до самого конца, Иван считал безвольной дурой, обузой, надоедливой мухой, которая жужжит, попав в клейкую ленту, вывешенную над обеденным столом на веранде, и никак не хочет умирать. Трепыхается, приклеившись лапками, брюхом, борется за что-то, надеется вырваться. Дочь Катя оказалась для него лишней проблемой и раздражителем, который появился в его доме. Она не была для него живым человеком, не была надеждой, счастьем, радостью. Эта девочка, которая унаследовала от него только плохие волосы и больше ничего, мешала ему жить — криками по ночам, соплями, вынужденными тратами и постоянным присутствием. От нее он не мог избавиться.

Катя тоже не могла забыть отца, как ни старалась. Она рано начала сесть и лет с тридцати собирала с расчески целые комья волос, которые скатывала в шарик и выбрасывала в унитаз. Она делала начесы, чтобы придать прическе пышность, и каждое утро, собираясь на работу, вспоминала отца. Она не могла брить голову так, как он. Понимала, что его брутальность — от комплексов. У матери, напротив, даже в старости были роскошные, струящиеся по плечам волосы с рыжиной, натуральным завитком. Мать мыла голову только хозяйственным мылом, а умывалась — дегтярным. Никакие шампуни не признавала. От нее всегда пахло этим сочетанием хлорки и дегтя. Катя тоже по примеру матери одно время перешла на

хозяйственное и дегтярное мыло, но ее тошнило от одного запаха. Да и волосы лучше не стали.

Мать болела, Катя ухаживала за ней, как могла, в надежде услышать хоть одно «спасибо», хоть одно «прости». Она мечтала, что мама ей обрадуется, поблагодарит за деньги, за новые шторы, за новый халат. Или просто так. Ни за что. Признает, что вырастила хорошую дочь — честную, умную, работающую.

В последние месяцы, уже перед самой смертью, мать стала совсем невыносима. Она листала альбом с фотографиями и ждала отца.

— Он не присылал телеграмму? Когда приедет? — спрашивала мать. — Надо бы вареничков налепить.

— Налепим, — отвечала Катя.

— И ванну помой, он любит чистую, — говорила мать.

— Помою.

Когда у матери случались просветы в памяти, Катя подсаживалась к ней на кровать и искала ответы.

— Мам, а почему мы так часто переезжали?

— У отца была новая работа. Чтобы ему было удобнее ездить, — отвечала мать.

— Но почему так часто?

— Не знаю, значит, так было нужно. Его очень ценили на работе. Он всем был нужен.

Катя не поленилась и нашла причину переездов. Отец спекулировал на нарядах на строительство, подделывал бланки отчетов. Кладка кирпича, вывоз мусора — он мог приписать многое. Подписывал бланки начальник строительства. Видимо, они делили на двоих. Иначе откуда у отца были деньги на очки, костюмы, одеколоны? Катя вспомнила, что однажды к ним в дом пришли люди в форме. Отец был в госпитале.

Люди провели обыск и ушли. Машенька плакала еще несколько дней — не от страха за себя, а от страха за мужа. На себя и на дочь, которой отец мог сломать жизнь, ей было наплевать.

Катя, осознав, сколько у отца было денег, сколько он лишил их, однажды не выдержала и рассказала матери, что отец — обычный вор, спекулянт и это просто чудо, что его не арестовали, не поймали за руку и не посадили лет на двадцать пять, а заодно и их с матерью. Машенька, выслушав рассказ дочери, начала махать руками, задыхаться и биться в конвульсиях. У нее случился инсульт, и Катя, выхаживая мать, дала себе слово больше не упоминать об отце. Ничего не рассказывать. Придумать для матери тот мир, в котором она жила. Ей не нужна была правда. Она свято верила в то, что ее муж — честный коммунист, прошедший войну, контуженый — вел социалистическое строительство на благо Родины.

Машенька оставалась коммунисткой до самой смерти. Она уже не узнавала внука, Катю воспринимала как чужую женщину, которая почему-то хозяйничает в доме, но упорно слушала радио и смотрела телевизионные программы. Она требовала отвезти ее на избирательный участок, чтобы проголосовать за коммунистов, съесть пирожок с капустой и шоколадную конфету из буфета. Машенька трепетно хранила партбилет, где были проставлены все взносы, которые она перечислила родной партии. Она считала Сталина отцом всех народов и не верила в репрессии и ГУЛАГ — так же, как отказывалась верить в многочисленные измены мужа. Портрет Сталина Машенька повесила на стене, а фотография мужа всегда стояла на прикроватной тумбочке. Одинаковые злобные

лица смотрели со всех сторон и доводили Катю до истерики. Она не имела права их снять и убрать по-дальше — для матери они были иконами.

— Катя, мама умерла, приезжайте, — позвонила Настя.

Катя заплакала — и она, и мать отмучились. Все кончилось для них обеих. Катя приехала. Настя помогала с устройством похорон.

На прикроватной тумбочке лежала фотография — Машенька с Иваном в день свадьбы.

— Она звала Ванечку, — сказала Настя.

— Я знаю, — ответила Катя.

ИРИНА
МУРАВЬЕВА



СИРОТА КОЛЯ



— **Н**у, вот вам наш Николай, — сказал директор и подтолкнул его к сидящим на диване.

Их было трое: старуха, молодая и мужик. У мужика был яркий галстук. Все они вскочили. Молодая крепко, словно утюгом, погладила его по голове очень горячей ладонью. Колька так низко опустил глаза, что они заболели.

Старуха сказала:

— Ну, давай, Коля, знакомиться. Это твои родители, а я твоя бабушка. Лариса Владимировна.

Колька громко сглотнул слюну, но глаз не поднял.

— Ты не стесняйся, Николай, — прогудел директор, — ты поговори с мамой, с отцом. С бабушкой познакомься. А я пойду на урок, меня ждут. — Он прокашлялся и вышел.

Директор был ничего. Он не дрался, не напивался при всех, а прошлым летом привез в детдом ведро клубники — на даче у него выросла клубника. Ее съели, не успев почувствовать вкуса. Потом все ходили с красными рожами, как в крови.

— Ну, Николай, — громко сказал мужик в ярком галстуке, — что ж ты на нас и не посмотришь? Садись рядом, давай поглядим друг на дружку, познакомимся...

— Ты, Коля, не бойся, — перебила его старуха, — мы тебя не съедим, мы тебя искали, ждали...

Молодая молчала. У Кольки так тяжело и противно стучало внутри, что они, наверное, слышали этот стук.

Мужик подтянул его к дивану, Колька вжал голову в плечи и боком сел между молодой и старухой.

— Не запугивай его, Леня, — прошептала молодая и опять погладила его по голове очень горячей рукой, — мальчик не привык...

Колька решил и поднял глаза. Сначала все показалось ему красным, потом ярко-зеленым. Когда краснота и зелень исчезли, он увидел этих троих словно через лупу. У молодой было испуганное лицо с выпуклыми черными глазами. Она была похожа на козу. И ресницы как у козы, и ноздри. Кудрявая, волосы черного цвета. У бабки — красные щеки, нос — пуговкой. Мужик — широкоплечий, с большими руками, сзади из-под ворота рубашки торчат густые волосы.

«Лето, — подумал Колька, — а он как в шубе парится...» И опять опустил глаза.

— Мы — твои родители, Коля, — сказал мужик, — мы тебя потеряли, когда ты был годовалым.

Колька знал, что все они говорят одно и то же. Когда на прошлой неделе толстая тетка в туфлях с блестящими пряжками пришла за Катей-дармоедкой, она тоже наплела, что потеряла ее, когда Кате был год.

— Тебе был год, Коля, — отчетливо сказала молодая, похожая на козу. У нее был громкий, резкий голос. — Шел сильный снег. Бабушка оставила тебя спящего в коляске. И зашла в магазин. Когда она вышла, тебя в коляске не было.

— Почему? — спросил Колька.

— Украли! — вмешалась бабушка. — Украли, Коля! Одна женщина, у нее не было своих детей, она тебя украла и переехала с тобой жить в Подмоскowie. А по-

том сдала тебя в детский дом как своего собственного сына. Но мы тебя разыскали.

— А откуда вы знаете, что это я? — спросил Колька.

Внутри у него по-прежнему сильно стучало, но надо же было разобраться.

— Ты, ты! — заговорили они разом. — Можешь не сомневаться! Хотя ты и изменился за восемь лет, взрослым совсем стал, но мы тебя узнали, а вот ты нас...

И они опять погладили его, потрепали, похлопали.

— Вы что, меня к себе жить заберете? — спросил он, и стук внутри остановился.

— А как же! — быстро сказала бабка. — Ты будешь жить дома и в школу хорошую пойдешь, мы будем вместе читать, ходить в кино, в цирк. Ты любишь цирк?

— Люблю, — хрипло сказал Колька. — Я по телевизору видел, у нас телевизор новый.

Телевизор был не новый, а старый, но все называли его новым, потому что директор отдал свой собственный взамен того, который какой-то крутой подарил детдому. Тот действительно был новым. Колька видел огромный ящик, который привезли на машине, и потом он целый день стоял рядом с директорским кабинетом. А вечером директор увез его к себе. Но зато теперь у них все-таки был телевизор, и детдомовские хвалили директора. Он ведь мог и старый не отдавать, и новый себе взять. Что, его поймают, что ли?

— Ну, вот видишь, — сказала молодая и заулыбалась, — цирк ты любишь. А в детский театр хочешь пойти?

— Если отметки будут хорошими, — перебила настырная бабка, — все зависит от успеваемости.

Мужик в густой волосатой шубе под рубашкой захохотал и погрозил Кольке пальцем.

— Не советую тебе, Коля, халтурить, не советую!

— Вы меня сейчас заберете? — спросил Колька, не поднимая глаз.

— Сейчас не получится, — ответил мужик, — документы нужно оформлять, то да се. Но ты не волнуйся! Никуда мы не денемся!

Ночью Колька не мог заснуть. Страх и радость были такими огромными, что давно перестали уместаться в нем и заполнили сначала комнату, потом коридор, потом полезли на улицу и захватили не только все дома и спящих в них людей, но даже тот кусок неба со звездами, который был виден ему через форточку.

Посреди ночи пьяный Скворушка задышал в лицо перегаром.

— Ну, говнюк малолетний! — прошептал он. — Пропили тебя? Теперь держись! Я тя!.. — Он выругался и больно крутанул Кольку за ухо. — Иди, говнюк малолетний, туалеты чистить! А то вы там блюете, говнюки, а Степан Евгеньевич подтирайт?

Он вытащил его из постели левой здоровой рукой. Правая — короткая, отсохшая, в черной кожаной перчатке — болталась в полупустом рукаве.

Идти надо было через кухню и длинный коридор. В кухне мертво чернели пустые котлы. На столе блеснул замороженный кусок масла. Колька сглотнул слюну.

Скворушка нарочно привел его в девчоночью и сунул в руки осколок бутылочного стекла.

— Отскребай, говнюк! Чтоб ни пятнышка!

Носком башмака показал на линолеум с присохшими потеками. Колька привычно стал на колени и на-

чал скрести. Из большого пальца сразу же потекла кровь.

— Чтоб мне ни пятнышка! — заорал Скворушка и приложил ко рту начатую бутылку. Закинул мохнатый кадык. — Чтоб мне ни пылинки, сирота казанская!

Колька скреб изо всей силы. Кровь лилась на пол.

— Слизывай! — заорал Скворушка и стал багровым от злости. — Пачкаешь тут дерьмом своим! А ну, слизывай! Хирургию устроил!

* * *

Директор сказал, что мама, отец и бабушка Лариса Владимировна заберут его в среду вечером. Значит, осталось еще три дня. Воскресенье, понедельник, вторник. Среда не считается, в среду его заберут. Они ему не наврали. Они его искали и нашли. А тогда шел сильный снег. Бабка, дура, пошла в магазин. Он спал, годовалый пацан. Чужая баба (он видел перед собой пьянчужку с заклеенным глазом, которая вечно торчала на автобусной остановке) украла его из коляски. Унесла к себе в Подмосковье. Мать с отцом плакали. Бабка, наверное, тоже. Искали его, бегали, аукали. Теперь нашли через восемь лет. Заберут к себе. В цирк будем ходить. В детский театр.

В воскресенье утром по телевизору показали фильм «Дикая собака динго». После фильма у детдомовцев было плохое настроение: хотелось сломать что-нибудь, разбить, поколотить друг друга. Плакали здесь редко и за слезы ненавидели. В восемь вечера дежурные учителя заперлись в директорском кабинете, откуда захрипела Алла Пугачева, зазвенели стаканы, а потом дверь отворилась, выскочил Скворушка,

без пиджака — отсохшая кулья наружу, — и заорал, брызгая слюной во все стороны:

— Спать всем быстро! А ну всем спать, говнюки малолетние!

Детдомовские присмирели, со Скворушкой никто не связывался. Только Тамарка-бакинка близко подошла к нему, моргая своими подслеповатыми, мохнатыми, как пчелы, глазами, и выдохнула срывающимся басом:

— А ну, отвернитесь! Не видите, мы раздеваемся?

А посреди ночи из девчоночьей комнаты донесся лай, вой, крик, кто-то визжал, захлебывался. Прибежали дежурные по интернату: Аркаша-Какаша и Тоня Недорезанная, а за ними вдрызг пьяный Скворушка в штанах, мокрых от вина. Тамарка-бакинка плавала в крови, раздирала на себе короткую ночную рубашку с клеймом на животе и, дико выпучив лошадиные белки, кричала «а-а-а», потом переходила на визг и лай, набирала воздуха и опять кричала. Тоня бросилась вызывать «Скорую», а Какаша начал выпихивать в коридор детдомовских. Наконец подъехала «Скорая», прибежали два парня в халатах поверх пальто, втащили носилки. Кровь из Тамарки хлестала так, словно в ней открылся кран.

Вся простыня, одеяло и пол перед кроватью стали черно-красными, а кровь все лилась и лилась. Детдомовские, не обращая внимания на Аркашку и Тоню (пьяный Скворушка куда-то исчез), стояли и молча смотрели.

Никто, даже самые маленькие, не ушли из комнаты.

Парни в халатах, торопясь, перетянули Тамаркину руку резиновыми жгутами и всадили туда огромный шприц, потом начали запихивать между ее раздвину-

тыми дрожащими ногами куски ваты. Тамарка перестала кричать и захрипела. Из рта у нее потекла пена.

— Уберите детей! — закричал один из парней. — Вы что, идиоты, не понимаете, что здесь происходит?

Тамарку переложили на носилки и набросили на нее колючее одеяло. Парни перемигнулись, крякнули, подхватили носилки и осторожно понесли их вниз по лестнице. Тамарка замолчала и лежала как мертвая.

Щеки ее стали странного, почти синего цвета. Колька посмотрел под ноги и увидел на полу кусок чего-то дрожащего, скользкого, похожего на сырую печенку. Он понял, что это вывалилось из Тамарки, когда ее укладывали на носилки, и его затошнило. Их разогнали по кроватям, но спать никто не мог. Нау-тро бледный, как мука, директор кричал в телефонную трубку: «Откуда я мог знать», «Никогда ничего подобного» — так громко, что слышно было через закрытую дверь. Приехал чужой дядька в кожаном пиджаке, щека залеплена пластырем, и прошел прямо в директорский кабинет. Через десять минут туда гуськом вошли все учителя, кроме Скворушки, которого уже увезли куда-то на другой машине.

К середине дня весь детдом — включая самых маленьких, восьмилетних, — знал, что Тамарка-бакин-ка умерла в больнице, потому что воспитатель старшей группы Скворушка сделал ей ребенка, и начиная с лета, два раза в неделю, Тамарка возвращалась в спальню только под утро, вся в засосах, растрепанная, красная, и пахло от нее, как из винного магазина. Кто-то из девочек громко сказал незнакомое слово «выкидыш», и Колька вдруг понял, что окровавленная печенка на полу и была куском этого самого «выкидыша». Тамарка что-то сделала с собой, чтобы ребенка

не было, он стал мертвым внутри Тamarки и вывалился из нее вместе с кишками. Все это Колька понял, конечно, но ему не стало менее страшно оттого, что он все понял.

В понедельник Тоня Недорезанная собрала детдомовских в самой большой комнате, которая называлась актовым залом (в углу пылилось сморщенное знамя!), и сказала таким голосом, словно она только что научилась говорить:

— Ребята, у нас случилось большое несчастье. После тяжелой болезни скончалась ученица девятого класса Тамара Тебуллаева.

— Какой болезни? — гаркнул Сенька по кличке Ханьга. — Ничем она не болела! Скворец ее... — И выкрикнул слово, которое все знали, и Колька тоже.

Недорезанная сделала вид, что не расслышала, и продолжала, обращаясь к сморщенному знамени в углу:

— Дорогая Тамара! Обещаем тебе никогда не забывать тебя и постараемся быть такими же хорошими, честными и отзывчивыми, какой была ты...

Колька вспомнил, как неделю назад Тamarка-бакин-ка устроила темную другой девчонке, Любке, которая залезла к ней в тумбочку за хлебом. Тamarка избил-а Любу так, что та целый день не вставала с кровати, а когда встала, на нее было страшно смотреть.

— Завтра, — громко проглотив слюну, сказала Недорезанная, — мы проводим Тамару Тебуллаеву в последний путь...

Утром гроб привезли из морга и поставили в актовом зале.

Решили сделать торжественные проводы, чтобы отвлечь внимание детдома от причины Тamarкиной смерти. У гроба стоял сгорбившийся, маленький

директор в черном костюме. У него тряслись руки. Рядом с директором, словно приставленный к нему конвой, возвышались две сердитые грудастые женщины в очках. Директор начал было говорить, но споткнулся, затрясся и заплакал, показывая рукой на то, что было в гробу. Больше всего на свете Колька боялся, что нужно будет подойти и заглянуть внутрь. Заиграла печальная музыка, и детдомовские потянулись прощаться.

Подходили по одному, замирали над мертвой Тamarкой, отходили и возвращались в линейку. Все были испуганы, пришиблены и не произносили ни слова.

Колька подошел предпоследним. В гробу лежала незнакомая старуха с ярко покрашенными щеками и губами. Только пушок над верхней губой, мохнатые ресницы и остатки малинового лака на ногтях говорили о том, что когда-то эта старуха была Тamarкой. От страха Кольку качнуло вперед, к самому гробу. Чтобы не упасть, он вытянул вперед руку, ища точку опоры, и дотронулся до ледяного и гладкого. Это был Тamarкин палец, прикрытый розовой гвоздикой.

«Значит, вся она, — ужаснулся Колька, — вся холодная, как этот палец, холоднее снега, холоднее льда, — и совсем по-другому, потому что снег и лед — живые и, если подержать на них ладонь, начнут таять и станут водой...»

На следующий день его забрали домой. Директора не было, завуча тоже. Трое незнакомых людей, которых он уже неделю настойчиво называл про себя жуткими словами «мать», «отец», «бабушка Лариса», приехали на такси. Колька стоял, прижавшись лбом к стеклу, и почти ничего не видел — так обморочно и больно колотилось сердце. Он только разглядел, что мать была в большой синей шапке.

Ноги его приросли к полу, и поэтому, когда Аркаша-Какаша приоткрыл дверь и пробормотал: «Давай выходи, Николай», он не тронулся с места.

— Ну, вот и мы, Коля, — твердым громким голосом сказала женщина в синей шапке, — собирайся, пойдём домой.

Она крепко взяла его за руку с одной стороны, отец — с другой. Бабушка Лариса забежала вперед, словно боясь, что ее забудут.

— Попрощайся со своими друзьями, Коля, — приказала мать. — Мы подождем тебя внизу. — Понижила голос: — Пусть он чувствует себя свободным. Если мы будем рядом, он не сумеет произнести того, что нужно.

Колька ничего и не произнес. Козел и Самолет играли в карты на кровати, Хрипун спал, остальных просто не было. Пошли, как всегда, в город пожить-ся. Колька постоял в дверях, посмотрел на них, а они на него.

— Чего уставился, недомерок? — спросил Козел.

— Так, — ответил Колька.

— Гони четвертак, — пробормотал Самолет, и Колька закрыл за собой дверь.

В коридоре ему велели снять ботинки. Квартира была большая и вся блестела. На одной стене — зеркало, на другой — картина. Красный ковер, синий ковер, потом цветы, много цветов, и тоже блестят. На потолке разные стекляшки. Люстры.

— Вот мы и дома, Коля, — сказал отец и почему-то засмеялся, — проходи, сейчас мы тебе покажем, где твоя кровать, шкаф, все дела.

Его привели в комнату поменьше, чем та, первая, и он увидел кровать под клетчатым одеялом, рядом —

еще одну кровать, розовую, с подушками, письменный стол, лампу с выкрутасами, вещи какие-то, фотографии.

— Это ваша с бабушкой комната, — сказала мать. — Тут все, что тебе нужно: твоя тумбочка, полка для любимых книг, здесь ты будешь делать уроки. А пока что иди в ванную, умойся, и будем обедать.

Ничего не понимая, он пошел туда, куда она сказала, и увидел такое, что даже зажмурился: белое-белое, много разных полотенец, зеркало, разноцветное мыло и пахнет так, что голова кружится. Он прислонился затылком к стене и тут же услышал голос Скворушки: «Наблевали в туалете, говнюки, а кто подтирать будет?» Тогда он изо всей силы затряс головой, и голос Скворушки кончился.

Котлета с картошкой, свежий огурец.

— Хочешь еще? Так нельзя отвечать, Коля. Что значит «хочу»? Нужно сначала сказать «спасибо», а потом уж «хочу». Хочешь еще котлету? Что ты молчишь? Скажи: «Хочу, спасибо» или «Большое спасибо, хочу».

— Дай пожрать парню, с воспитанием можно поременить.

— Пожалуйста, Леня, не делай мне замечаний при ребенке, если тебе что-то не нравится, скажешь потом. Ну, так что, Коленька: еще котлету?

— Нет.

— Почему нет, ты же хотел?

— Я тебе говорю, ты его запугала, парень только-только вырвался, у него небось все поджилки трясутся, а ты с глупостями.

— Леня, я просто сейчас встану и уйду! Если ты еще раз посмеешь сделать мне замечание при ребенке, я умываю руки. Это базис, понимаешь? Это

нужно застолбить с самого начала. Чувство благодарности, правдивость и чувство уважения к старшим. Все остальное надстраивается. Так что, Коля, еще котлету?

— Хочу, спасибо.

— Вот молодец. Видишь, как просто.

Отец передернулся, отодвинул свою тарелку, встал и ушел. Бабка и мать переглянулись. У матери стало красное лицо, у бабки — белое.

Потом бабка побежала на кухню и вернулась с огромным тортом, который он видел только в кино и на витрине. Отец тоже пришел. Мать сжалась.

Отец положил руку ему на плечо. Рука была как железная. Только бы они не передумали, не выгнали меня. Очень хочу, спасибо, очень, спасибо большое, большое, хочу.

...Ночью он увидел Тамарку-бакинку. Ресницы ее бросали тень на белые щеки. Тамарка стала вновь похожей на саму себя, только она уже не была той дикой, свирепой Тамаркой, которая до крови избивала Любку, укравшую у нее хлеб. Она сидела на коленях у седого старика с очень добрыми глазами и плакала. Сквозь слезы она бормотала ему что-то на незнакомом языке, но Колькина душа понимала каждое слово.

«Дед, — захлебывалась Тамарка, — я бросила тебя и побежала, потому что боялась, что они надругаются надо мной. А потом я вернулась, дед, но ты был уже мертвый, и рот твой был забит землей. Я легла рядом и хотела умереть, потому что, кроме тебя, у меня никого не было. Но они меня вытащили и поволокли, а потом я ничего не помню...»

Старик прижимал к себе Тамаркину растрепанную голову и стонал.

«Я попала в Москву, и этот грязный козел сделал то, чего не сделали даже они... Как я могла жить после такого стыда? Как бы я посмотрела тебе в глаза, если бы ты не умер, дед?»

Колька не выдержал и закричал во сне — настолько жалко ему стало плачущую Тamarку и доброго старика, которого и Колька хотел бы назвать «дедом», если бы только тот его услышал.

От его крика в доме переполошились, зажгли свет. Первой вскочила бабушка Лариса, спавшая на своей розовой кровати в той же самой комнате, за ней прибежала мать Вера в кружевном халате, с блестящим от жира чернобровым лицом.

— Кричит! — говорила взволнованно бабушка. — Бужу — не просыпается! Растолкала с трудом, посмотри на него! Горит ребенок, жар!

— Врача надо, скорее «Скорую»! — забегала мать и схватила телефонную трубку.

— Не надо, — грубо оттолкнул ее подоспевший, заspanный и злой отец и, как перышко, вынул Кольку из постели, — ты чего, Николай? Приснилось что-нибудь?

У Кольки громко застучали зубы.

— Ну, ладно, ладно, — смягчившись, сказал отец, положил его обратно на кровать и накрыл одеялом. — Воды хочешь? Принеси ему водички, Вера.

Прошло две недели. Колька постепенно привык к тому, что у него есть отец и мать. Если бы его, не дай бог, спросили: «Любишь их, Коля?» — он бы, не задумываясь, ответил: «Люблю».

Но что такое «люблю», он не смог бы объяснить, потому что, по привычке чувствовать страх, он и сей-

час его чувствовал, в то время как любовь болталась где-то на стороне и страху не мешала.

Больше всего он боялся, что отец и мать передумают жить с ним в одной квартире и отдадут его обратно в детдом. Еще он боялся, что обнаружится ошибка и станет известно, что их родной сын вовсе не Колька, а другой парень.

Бабушка Лариса Владимировна была воспитательницей в детском саду. Не так давно она вышла на пенсию и стала помогать своей единственной дочери Вере вести домашнее хозяйство. Несмотря на относительную молодость, Вера уже защитила кандидатскую диссертацию на тему «Возможности преодоления детских травм» и работала в Ленинском педагогическом институте, где три года назад встретила своего будущего мужа Леонида Борисовича Бабаева, доктора наук и тоже специалиста по психологическим травмам у детей и подростков.

Леонид Борисович считался старым холостяком и вовсе не собирался жениться. Но когда волевая и одновременно застенчивая Вера пригласила его к себе домой на чашку чая, Леонид Борисович оказался приятно поражен богатой и ухоженной квартирой в Мерзляковском переулке, прекрасной мебелью, коврами и картинами. На его удивленно приподнятые брови мать Веры, хлопотливая, приветливая женщина, не такая уж старая, но совершенно не молодящаяся и поэтому казавшаяся значительно старше своих лет, рассказала, что ее покойный отец был грузинским артистом, до того похожим на Сталина, что его даже гримировать было незачем. За это сходство артисту хорошо платили, а на съемки возили по ночам и только на правительственной машине с затемненными стеклами. После смерти Сталина Ве-

рин дед почему-то решил, что теперь он и есть вождь и учитель, и стал приставать к прохожим на улицах, демонстрируя хищный профиль и улыбку. В конце концов обезумевшего актера пришлось поместить в лечебницу для душевнобольных, где он и скончался, до последнего дня называя себя Иосифом Виссарионовичем и беспокоясь за положение на Сталинградском фронте. После его смерти жене и дочери осталась просторная квартира, завешанная коврами, как грузинский замок.

Бабка (то есть дочь) ненадолго вышла замуж и родила Верочку, потом разошлась с мужем, потом похоронила свою собственную мать, вдову многострадального артиста, и целиком посвятила себя воспитанию дочери. Жила она скромно, экономно, но, так как добра было все-таки очень много, Верочке ни в чем не отказывала и научила ее и музыке, и фигурному катанию — короче, дала настоящее воспитание.

И так приятно, сытно, тепло стало Леониду Борисовичу в этой уютной четырехкомнатной квартире в самом центре города, так понравилась ему комната, фонарем выходящая во двор, полный тополей и лип, и замечательно подходящая для его кабинета, что он вдруг махнул рукой и сделал предложение.

Не было желания Леонида Борисовича, которого Вера и Лариса Владимировна не исполнили бы с восторгом, не было ни одной его мысли, которая не была ими подхвачена и одобрена, и, хотя Вера иногда позволяла себе то, что Леонид Борисович презрительно называл «бунтом на броненосце», дальше ее обиженных вспышек дело не заходило, и стоило мужу заиграть желваками, стукнуть рукой по столу или хлопнуть дверью, как она тут же опоминалась и превращалась в тихую овечку с дрожащим от слез подбородком.

Ребенка, однако, не получилось. Вера не беременела, и Леонид Борисович раздражался. Более того: она не приносила ему даже простой физической радости, несмотря на то что в ней самой каждое прикосновение снисходительного мужа отзывалось так, будто к коже подносили горящий факел. Чем больше она стонала, зажимая рот руками, чтобы мать не услышала, чем больше шептала ему: «Дорогой, ненаглядный», тем небрежнее и холоднее он становился.

В конце концов этот неполучившийся ребенок стал основным камнем преткновения.

Если Вера просила Леонида Борисовича не засиживаться допоздна перед телевизором, а лечь спать, он кривил губы и спрашивал ее с тем гадким смешком, от которого кровь останавливалась в жилах: «Последняя попытка? Ну, это без меня!» Если она просила его снять дачу, чтобы не проводить лето в душном, жарко пахнущем асфальтом городе, Леонид Борисович тут же объяснял ей, что дачи снимаются для детей, а не для взрослых. Он использовал ее беду в своих непонятных целях, и в конце концов Вера поняла, не умом, но всем своим нелюбимым тоскующим существом, что Леониду Борисовичу давно осточертели ее жалкие дрожащие поцелуи, и запах ее духов, и скользкое прикосновение ее смазанных кремом щек, от которых он брезгливо вытирался кончиком простыни.

— Усыновляйте, — сказала мать и сжала тонкие губы.

Поначалу Вера ахнула и отвергла эту идею.

— Тогда иди проверяйся, — не отступала мать, — хотя я лично не советую. Если окажется, что дело в тебе, он тебя за человека считать перестанет, а если, не дай бог, окажется, что ты ни при чем, так еще хуже. Разве им можно говорить такие вещи!

Она не пошла проверяться. Насмешки со стороны Леонида Борисовича не прекращались. Тогда Вера решила высказать вслух материнское предложение и с удивлением встретила его оживившиеся глаза.

— А что? — сказал он. — Может, и вправду? Все-таки веселее будет. Мальчишку. Я его рыбалить с собой возьму, в планетарий ходим.

— Это не игрушка, Леня, — строго сказала Вера, покрываясь гусиной кожей от волнения, — это большая ответственность.

— Ну так что? — еще беспечнее отозвался он. — Хватит вам с мамашей баклуши бить, пора делом заняться. Ты пошуруй, поищи, а потом мне доложишь.

Вера начала искать. Ее пугала наследственность. Дети алкоголиков, наркоманов, бомжей отвергались сразу: с ними можно было ужасно нарваться в будущем. На многих детей не было никакой документации, кто они и что, оставалось только гадать. Про Колю же она узнала, что матерью его была семнадцатилетняя беженка из Средней Азии, отец неизвестен, и эта девочка-беженка отказалась от ребенка еще до родов. Младенец, которому дали нейтральную фамилию Иванов, был переведен в Дом малютки, где долго болел, будучи глубоко недоношенным, но потом, к удивлению медперсонала, выкарабкался и к девяти годам стал вполне крепким на вид пацаном с узкими глазами.

После первой встречи с Колькой Вера была в нерешительности: ребенок не вызвал у нее никакого душевного отклика. Но Леонид Борисович сказал «пойдет» и весь остаток дня казался ласковее, чем обычно.

«В конце концов, — сказала она себе, — мы педагоги, мы справимся с любым типом темперамента, мы привыкнем, привяжемся, Лене это необходимо. А у меня, да, у меня будет сын...»

Сын оказался невеселым, пугливым, угловатым. Он много и жадно ел, плохо спал по ночам и — несмотря на свои девять лет — читал по слогам. Вера чувствовала, что он словно бы присматривается к ним и постоянно чего-то боится. За эти две недели он ни разу не подошел, не приласкался, не нашалил, не рассмешил. Разговаривать с ним было не о чем, потому что он не задавал никаких вопросов и, кажется, ничем не интересовался. Во дворе, куда бабушка Лариса выводила его гулять, Колька не прижился. Он не стремился познакомиться с другими детьми, а они явно невзлюбили его, тут же почувствовав чужого. Вера со страхом ждала наступления школы, понимая, что нынешние летние недели — только цветочки, а ягодки начнутся потом, с первого сентября. Психоневролог, к которому она отвела Кольку по причине его ночных криков, не сказал ничего утешительного. «В клиническом смысле слова, — промямлил он, — мальчик скорее всего здоров, но эмоциональных проблем будет много, ребенок травмирован, не получал внимания, не знает, что такое ласка, остро чувствует опасность даже там, где ее нет, в общем, к чему мне вас утешать, сами видите...»

Вера видела, и бабка видела. Видел ли Леонид Борисович, было непонятно, потому что он стал редко бывать дома, приходил только ночевать, вечно куда-то торопился, почти не разговаривал с женой, а тещу обрывал на полуслове, хотя она и так ни в чем ему не перечила.

— Я не понимаю, — плакала Вера, по-восточному заламывая руки, — я не понимаю: ты же сам хотел этого! Что же ты теперь наваливаешь все на нас с мамой! Ему же нужно твое, отцовское внимание! Я не понимаю!

— Я думал, хоть он отвлечет тебя от вечных претензий, — огрызался муж, — вы с мамашей скоро совсем обнаглеете: я тебе не нянька и не домработница!

По ночам Вера рыдала от несправедливости и целый день ходила потом опухшая, красная, подсакивала к каждому телефонному звонку, ожидая, что он позвонит и извинится, а к вечеру красила глаза, наряжалась, пудрила нос, прыскалась духами. В один день все изменилось: Леонид Борисович научил Кольку играть в шашки, сходил с ним в зоопарк и два раза — в «Макдоналдс»; Колька опьянел от счастья. Вера насторожилась и перестала плакать. В субботу все вместе ездили на Ленинские горы, любовались панорамой города, и отец рассказывал Кольке, сколько разных факультетов в Московском университете и какими удивительными вещами там занимаются.

— Так что, — подытожил Леонид Борисович, — учись давай, не разбалтывайся, брат. Видишь, какие перед тобой задачи?

От неожиданного отцовского внимания Колька долго не мог заснуть и слышал все, о чем говорили в большой комнате.

— Вместе, конечно, было бы лучше всего, — задумчиво размышлял отец, — с тобой да с парнем, что может быть приятнее? Но, Веруня, у тебя же подготовительные курсы начинаются! Как ты можешь уехать?

— Я не хочу, — упрямо повторяла мать, — я не хочу так. Ты на курорт, а я тут буду вкалывать? Прекрасное решение!

— Но послушай, — густо, как шмель, гудел отец, — ты же сама хотела, чтобы я сблизился с ребенком. В Сочи — это проще всего. Море, солнце, все время вместе: и плавать его научу, и фруктами откормлю, и в горы сходим, и в кино. Он придет домой — ты его не узнаешь!

— Леня, почему мне все время кажется, что ты меня обманываешь? — испуганно спросила мать. — Почему мне все время кажется, что ты играешь со мной?

— Паранойя, Вера, паранойя, тяжелое наследственное заболевание, — отец звонко поцеловал ее и засмеялся, — так что решили: еду с Колей в Сочи.

Расплющив нос о стекло иллюминатора, он не отрываясь смотрел вниз. Земля стремительно удалялась, и все на ней становилось маленьким.

Вот река, тонкая и синяя, как ленточка, вот поле с черным игрушечным трактором, вот дом — меньше, чем на картинке в учебнике, но главное — ни одного человека! Далекая нестрашная земля без людей, с синими реками. Колька почувствовал к ней жалость, словно перед ним открылось чье-то притворство. Всю жизнь он был уверен, что она огромная, и — вот, пожалуйста!

Вечером после ужина пошли к морю. Колька осторожно наступил на воду, и море сразу же сказало ему какую-то короткую громкую фразу, в которой было много шума. Потом замолчало, словно припоминая, и тут же повторило, только теперь внутри шума пронзительно прокричала чайка. На небе блестело размазанное желтое солнце. Море подымало к нему волны, как рукава без рук.

— Пап! — подпрыгнув, закричал Колька. — Вот это да! Пап!

— А ты думал! — весело сказал отец. — Это тебе не бассейн «Москва».

...Никогда его не заставляли мыть пол в девчоночьей уборной осколком разбитой бутылки. Никогда Скворушка не приходил к нему на рассвете, не запускал руку под одеяло, не шарил, тяжело дыша, потной ладонью по его животу. Не было ночи, когда из Тамарки вывалилась печенка и осталась лежать рядом с кроватью. Ничего этого не было. Его звали Коля Бабаев, а не Иванов, у него были отец, мать Вера и бабушка Лариса Владимировна, все они жили в большой прекрасной квартире с зеркалами, и сейчас он приехал к морю, в которое медленно опускается солнце.

Вот такая была у него жизнь.

— Коля, — сказал отец, когда они вечером лежали в кроватях и Колька почти уже спал, — я хочу тебе кое-что сказать.

Голос отца был странным: словно он не говорил, а кричал: Ко-ля, Я, хА-чу, ска-зАть.

— Завтра сюда приедет одна моя знакомая, — прокричал отец, почти проглотив слово «мая», — будем отдыхать вместе. Веселее ведь, верно?

— Верно, — испугался Колька.

— Но я прошу тебя: не говори маме, что мы отдыхали не одни. Она у нас осталась работать там, в городе, в духоте, ей будет обидно. Понял меня?

— А мама не приедет? — спросил Колька.

— Не думаю, — отец, наверное, сморщился в темноте, потому что слова сжались в трубочку, — не думаю. Понял меня? Ни слова о том, что к нам кто-то приезжал.

— Ладно, — сказал Колька, проваливаясь в блаженный сон, — не скажу я.

Во сне он увидел, как Скворушка чистит грязным ножом картошку. Картошка вскрикивала от боли. Изпод кожуры текла кровь.

— Слизывай! — орал Скворушка и подносил окровавленный комочек к его лицу. — Я кому говорю!

День прошел очень хорошо и весело. Много купались, обгорели, отец играл в волейбол с мускулистыми парнями, потом обедали, ели сливы с мороженым. В восемь часов вернулись в свою комнату, и отец переделся в новые белые шорты и черную майку с изображением дракона.

«Во дела!» — про себя восхитился Колька, увидев дракона на его груди.

— Ложись спать, — не глядя на него, приказал отец, — ты сегодня набегался. А я пойду пройдусь, посмотрю, что и как.

Он плотно затворил за собой дверь и ушел. Колька с ногами взобрался на подоконник, чтобы увидеть, как отец выходит на улицу, но его не было. Колька подождал. Потом высунулся из комнаты. Коридор был пуст, все отдыхающие либо пошли на море, либо еще где-то развлекались.

«Куда ж он подевался?» — забеспокоился Колька и побежал на первый этаж.

На первом этаже висело зеркало и рядом с одной из дверей росла небольшая чахлая пальма в кадке. Колька пощупал ее волосатый ствол и вдруг услышал отцовский голос.

— У-у-х! — рычал отец, задыхаясь.

Колька замер на месте.

— Ну, говори: скучала? — прорычал отец. — Говори!

Никто не ответил. Отец тоже замолчал. Потом раздался женский смех, и отец застонал, словно его убивают. Колька в страхе рванул на себя дверь. Перед ним краснела голая отцовская спина, поджарившаяся на солнце, головы не было видно, она пряталась в чьих-то волосах, рассыпанных по подушке, а справа и слева от отцовской спины вздымались огромные белые ноги с огненными ногтями. Колька зажмурился и тут же услышал:

— А-а-а!

Из-под отца вылезла чужая женщина с горящими щеками и очень большим ртом, которым она пронзительно кричала:

— А-а-а!

Отец приподнялся на локте и обернулся. Колька его не узнал.

Отец был мокрым от пота, пот лил с него ручьями, и волосы на лбу стали кудрявыми и черными. Глаза без очков казались такими яркими, словно в них брызнули морской водой. Огромный, голый, молодой, кудрявый, он делал в кровати то, о чем Колька давно все знал, потому что любой детдомовец начиная с тринадцати лет делает то же самое и потом рассказывает мелюзге, вроде Кольки, что это такое.

Увидев его, отец стал темным, как кровь. Вскочив с кровати, он набросил на себя смятую простыню и, не говоря ни слова, вышвырнул Кольку за дверь, как котенка. С этого вечера все изменилось. Женщину, с которой отец делал то, о чем Колька давно все знал, звали Аллой Аркадьевной. Она была намного красивее матери Веры. Колька догадался, что Алла Аркадьевна была отцовской марухой и он поехал на море, чтобы жить с ней и удрать от матери. Колька же ему вовсе не был нужен, и, хотя отец ни одним словом не заикнулся о том, что случилось в комнате с пальмой,

он начал явно тяготиться Колькиным присутствием и постоянно отсылал его от себя.

— Поиграй, Коля, — обходя его глазами, говорил отец, — с ребятами познакомься. Что ты все с нами да с нами?

Играть он не умел, потому что в детдоме не часто играли.

«Ребят» же в пансионате было немного, и никто из них не выражал желания знакомиться с Колькой. Оставалось море. Он входил в воду и, стоя в ней по горло, ждал волны, подпрыгивал, когда она приближалась к нему, и вместе с нею несся к берегу. Если бы в эту минуту его видели Козел с Самолетом!

Отец лежал на полосатой подстилке рядом с белой, как молоко, Аллой Аркадьевной. Все вокруг были черными и желтыми, только Алла Аркадьевна заворачивалась в полотенце, чтобы солнце не портило ее белизны. У нее были полные длинные ноги, и купальник — белый, с золотом на груди. Сквозь золото просвечивали черные виноградины сосков, а когда она выходила из моря, под животом тоже просвечивало что-то темное, на что, не отрываясь, смотрел его отец и к чему немедленно устремлялась его рука, как только Алла Аркадьевна, набросив на себя купальную простыню, ложилась на полосатую подстилку, спиной к солнцу.

Отцовская рука была жадной и очень горячей. Колька чувствовал ее жар, хотя между ним и полосатой подстилкой было не меньше метра. Закрыв глаза и нахлобучив на лоб кепку с оранжевым пластмассовым козырьком, отец лежал на спине. Левая рука его, свободно откинута в сторону, вяло перебирала раскаленные скользкие камни, а правая была просунута

под живот Аллы Аркадьевны и что-то там делала, двигалась, хотя никто на свете, кроме них троих — Кольки, Аллы Аркадьевны и самого отца, — не подозревал об этом. Алла Аркадьевна то вдруг начинала тяжело дышать, словно ее кто-то душит, то смеялась отвратительным легким смехом, словно ее щекотали, то приподнимала рыжую спутанную голову и шептала отцу: «Перестань, ненормальный!»

И опять падала лицом на подстилку. А отец молчал, хмурился, улыбался, постанывал и левой свободной рукой поправлял лежащую на нем развернутую газету. Колька сам не понимал, почему ему все время хочется вскочить, заорать, изо всей силы ударить по отцовскому животу, сорвать с него эту газету, которую тот все равно не читает, бросить в него большим гладким булыжником, серым от морской соли... Ему хотелось самому просунуть ладонь под ленивую Аллу Аркадьевну, потрогать черные виноградины ее сосков, шею, ложбинку между правой и левой горками на груди, поцеловать ее спутанные рыжие волосы, ее лицо — такое равнодушное, ослепительно-белое, с темными, как малина, оттопыренными губами.

Среди ночи он открывал глаза. Отцовская кровать была пустой, хотя ложились они в одно и то же время и оба сразу засыпали, измученные солнцем и морем. Значит, поспав немножко, отец тихонько, боясь разбудить Кольку, крался к двери, держа в руках свои пляжные шлепанцы, и потом бежал, несся — да, несся, потому что хотел скорее к ней! — скатывался на первый этаж, к двери с пальмой, за которой его ждала блещущая в темноте всеми своими буграми и горками, равнодушная к Кольке, ленивая женщина. И что потом? Потом они ложились в кровать.

И начинали делать то, о чем Колька все знал.

А ведь как хорошо началось! Какое было море, и свет внутри воды, и свет посреди неба, и парусник на горизонте! Приехала рыжая и все поломала. Ее бы избить до полусмерти. Чтобы она вся стала черная.

А то лежит посреди пляжа, выставилась, как сахар, сука.

Он входит в воду. Отец так и не научил его плавать, пообещал только. Море полно медуз, они обжигают людей, хотя, кажется, что такого? Плавают какие-то скользкие тряпки. Все на свете так. Пока не дотронешься — не узнаешь. А дотронешься — и пеняй на себя: зачем дотронулся? Он опускает в воду лицо, смотрит. Здесь-то, у берега, ничего: раковины и водоросли, а если отплыть? Далеко-далеко? Там, наверное, дно похоже на кладбище, в котором лежат люди. Ведь сколько капитанов и разных моряков утонуло в море. Куда же они делись? Умерли все и спустились на дно. Очень просто.

В квартире было по-летнему душно. Мать встретила их в новом платье, с распущенными волосами. Губы накрасила, ресницы, как у куклы.

Наклонилась и два раза клюнула Кольку в щеку. Потом подошла к отцу и подставила ему лицо. Отец усмехнулся.

— Ты ничего не хочешь мне сказать? — хрипло сказала мать.

— Что именно? — раздраженно спросил отец.

Мать не ответила. Сели обедать. Бабушка Лариса принесла сковороду с котлетами. Отец вдруг развесе-

лился, начал шутить, щелкнул Кольку по носу, похвастался, как они замечательно отдыхали вдвоем в городе Сочи, каким чудесным было море по вечерам, как их вкусно кормили.

В столовой зазвонил телефон. Бабка хотела было ответить, но отец оттолкнул ее и схватил трубку.

— Алло! — закричал он и вдруг закрыл за собой дверь.

Что-то он еще говорил там, но было не разобрать. У матери глаза выкатились наружу, как пинг-понговые шарики, бабка притихла. Отец вернулся и принялся за еду.

— Кто это звонил, Леня? — тихо спросила мать.

— Это? — отмахнулся отец. — Это мне звонили по делу.

— По какому? — Мать прикрыла глаза.

— Тебе какая печаль? — грубо сказал отец. — Давно не шпионила?

Мать испуганно посмотрела на Кольку, разрыдалась во весь голос, задохнулась, закрылась ладонями, сбросила на пол стакан с лимонадом и побежала в коридор, словно за ней кто-то гнался. Кольке стало страшно. Он побоялся, что отец догонит ее и избьет. Но отец сидел неподвижно, опустив глаза и сжав в кулаки свои большие волосатые руки. Бабка шуршала салфетками. Наконец отец встал.

— Поговори, поговори, — прошуршала бабка и всхлипнула, — по-людски надо, по-человечески...

— Осточертели вы мне, — тихо сказал отец, — вот вы у меня где сидите, — и провел ладонью по шее, словно отрезая себе голову.

— Поди погуляй, Коля, — приказала бабка, перестав всхлипывать, — потом доешь, поди погуляй...

Вечером, когда он уже разделся и собирался лечь спать, в комнату неслышно, будто кошка, проскользнула мать Вера. Накрашенные ресницы ее слиплись от слез и колышками торчали в разные стороны. У Кольки сразу же заболел живот.

— Коля, — ласково сказала мать, — тебе нравится жить здесь, дома?

— Нравится, — удивился Колька и положил обе руки на пупок, чтобы было не так больно, — а чего?

— Ах, нравится, — пропела мать, — ну а где тебе больше нравится: здесь или в Сочи?

— Здесь, — сказал Колька и тут же испугался, потому что у матери опять полезли наружу глаза, — и в Сочи.

— Но ведь тебе же, наверное, было скучно в Сочи? — прошептала мать. — Ведь папа же был все время занят в Сочи?

Дверь распахнулась, и отец — в белых трусах, босой и включенный — вырос на пороге.

— Хватит! — заорал он и изо всей силы толкнул Кольку на кровать. — Оставь ребенка, идиотка!

Мать раскрыла рот и стала ловить им воздух, как рыба.

— Педагог сраный! — кричал отец. — Кащенко по тебе плачет! Вся в дедушку в своего, княгиня!

Мать убежала, хлопнув дверью. Отец устало опустился на стул рядом с Колькой.

— Вот что, — сказал он и изо всех сил потер лоб ладонью, — вот что: о Сочи ни слова. Понял меня?

Колька кивнул. Из глубины отцовских глаз выплыла белая Алла Аркадьевна.

Сквозь прозрачную ткань купальника просвечивали черные соски. Она посмотрела на Кольку и лениво закачала рыжей головой.

— Понял меня? — строго повторил отец.

— Понял, — сказал Колька, глядя под ноги, — чего не понять...

Ночью он проснулся от грохота. Что-то покати-лось, упало, разбилось.

Над кроватью появилась бабушка Лариса в ярко-бе-лом больничном халате и заплакала:

— Нет у тебя сердца, нет, нет! По-людски надо, по-человечески!

В соседней комнате горел свет. Отец, спиной повернутый к Кольке, показался неправдоподоб-но большим. Под его руками бились чьи-то худые, с черными волосинками ноги. Волосинки стояли дыбом, блестели под лампой. Голос, не похожий на материнский, слишком тонкий, словно девчоно-чий, кричал:

— Уходи! Больно! Больно! Так не хочу! Так не хочу!

— Замолчи! — грохотал отец. — Замолчи, я кому ска-зал! Я тебя свяжу сейчас, если не перестанешь!

Бабка подбежала к волосатым ногам и стала зачем-то кутать их в одеяло.

— Идиотка! — орал отец. — Лекарство нужно! Тазе-пам! В сумке у нее тазепам!

Он отскочил в сторону, чтобы дать бестолковой бабке сумку, и Колька зажмурился от страха. На отце ничего не было, кроме черной от загара кожи, а мать, оказывается, каталась по кровати, быстро-быстро болтая ногами в воздухе.

— Дверь! — приказал бабке отец, на секунду встре-тившись глазами с Колькой. — Дверь закройте!

Бабка захлопнула дверь, и Колька остался в темноте.

Он был предприимчивым, деловым человеком. В тридцать шесть лет — кандидатская, в сорок четыре — докторская. Специалист по детским психологическим травмам, педагог. Его последняя книга «Ошибки и достижения Зигмунда Фрейда в вопросах сексуального развития подростков» была переведена на японский язык. Он трижды ездил на международные симпозиумы и научился есть японское блюдо суши деревянными палочками.

У него была прекрасная квартира, доставшаяся от сумасшедшего грузина, любящая жена, красивая мебель и большая библиотека. Он собирался вот-вот купить новую машину и засесть за новую книгу, которую тоже переведут на японский. Ему уже заплатили аванс. Вера была плоской и неловкой.

Но, в конце концов, не велик труд покопать ее пару раз в месяц. Молча, быстро, ничего не испытывая. Жили и жили. Удобно жили, он многое успевал.

Алла появилась осенью. Его раздавило. Он не был бабником, и женщины, знавшие его до Аллы, тосковали по ласке, потому что он не ласкал их. Они бывали нужны ему только в постели и только на короткое время. Вера же, став его женой, перешла из разряда женщин в разряд бытовых предметов. С ней можно было не церемониться.

Но, оказывается, и для него был припасен капкан. Он сделал шаг, и капкан захлопнулся. Его защемило. Сначала — крайнюю плоть, потом все остальное. Никогда он не испытывал ревности, теперь она его измучила.

Алла была замужем, и этого мужа он видел однажды в метро.

Муж оказался неприятно высоким, выше его, довольно красивым. Было воскресное утро. Алла держала мужа под руку той же самой рукой, которая в пятницу царапала голую спину Леонида Борисовича длинными ногтями. Представить, что мужу позволено то же самое, что и ему, было больнее, чем проглотить бритву. Она сказала ему, что уйдет, если будет куда. Уйти было некуда. У Леонида Борисовича лежали деньги на новую машину, полученные за переведенную и изданную в Японии книгу.

Но этих денег не хватило бы на покупку квартиры. Значит, жилье нужно будет снимать и отказаться от планов на машину. Она сказала ему, что, как только он разведется, она родит ребенка. Леонид Борисович был уверен, что то, что у них с Верой нет детей, не его вина. Однако в глубине души его подтачивал страх: а вдруг? Вдруг? Все это было запутанно и тяжело. Все, кроме наслаждения, которое Алла ему приносила. Он согласился взять из детдома чужого мальчишку, потому что надеялся с его помощью укрепиться в своей прежней, удобной семейной жизни. Расчет его был неверен. Страх потерять Аллу стал сильнее. Сочи — это была ее идея. Она сказала, что приедет, если он все возьмет на себя. Он взял.

В Сочи она сообщила ему, что разводится, муж переехал к матери.

Проверить, говорит ли она правду или играет с ним, как кошка с мышкой, было непросто.

— Если ты ни на что не годишься, — сказала она, — я должна буду пересмотреть ситуацию.

— Что значит: пересмотреть? — помертвел он.

Она посмотрела на него прозрачными глазами.

— А как ты хочешь, чтобы я жила? — медленно спросила она. — Мне придется вернуться к нему, вернее, вернуть его, потому что у нас с тобой будет ребенок.

* * *

Бабка Лариса Владимировна с утра начала собирать вещи и хлопотать.

Сегодня они переезжали на дачу. Мать с отцом еле разговаривали друг с другом — это Колька заметил. Но он заметил и то, что мать стала спокойнее, а отец, наоборот, каждую секунду выходил из квартиры покурить и был очень угрюмым. Бабка два раза спросила мать: «Лекарство не забыла?» И мать отмахнулась с досадой. Вчера за ужином отец почти ничего не ел, хотя ужин был вкусным: вареники с вишнями и мясной пирог. Колька все не мог наесться после детдома и всякий раз удивлялся, что мать так мало кладет себе еды на тарелку.

На дачу переезжали в собственной машине «Жигули». Колька не знал, что они такие богатые, и ахнул: своя машина! Оказывается, все это время «Жигули» были в ремонте.

— Старая лохань, — сказал ему отец и поморщился.

— Может, я ее, это, помою, пап? — предложил Колька. — И колеса, и все...

— Потом, — пробормотал отец, — на даче помоешь.

Что такое дача, Колька пока не знал. Оказалось — небольшой домик с открытой верандой и отцветшим кустом сирени перед крыльцом.

— Предупреждаю, — сказал отец, — я здесь торчать не намерен. Мне нужна цивилизация. Если вас это устраивает — в кусты по-маленькому, — вы и наслаждайтесь.

Мать хотела что-то возразить ему, но промолчала. Отец закурил, сказал, что хочет спать, и растянулся в шезлонге под умершей сиренью.

Мать и бабушка начали раскладывать вещи. Небо вдруг стало темно-лиловым и вспученным, словно его надули изнутри.

— Гроза будет, — озабоченно сказала бабушка.

— Можно, бабуль, я, это, в машине посижу? — спросил Колька.

— Нечего там делать, — огрызнулась мать, — машина для того, чтобы ездить. Можешь погулять пока по нашей улице, но далеко от дома не отходи.

Колька вышел за калитку и, остро чувствуя свою ненужность, побрел по дороге. Слабенькая речушка с хрупким деревянным мостиком отделяла дачный поселок от деревни, в которой шумно носились куры, скрипели колодцы, надрывались собаки. Кольке до слез было жалко этих собак — голодных и старых. «Кур небось зарежут, — подумал он, — зимой съедят, суп наварят, а собаки так и будут лаять, пока не сдохнут».

Он смотрел на черное распухшее небо, зная, что оттуда вот-вот хлынет дождь, и ему стало казаться, что он совсем один в целом свете.

Людей-то не было. То ли они попрятались от надвигающейся грозы, то ли поумирали все, как Тамарка-бакинка. Отец, мать и бабушка Лариса превратились в черные точки, слегка вздрагивающие в самой глубине его уставшей памяти, где тяжелыми глиняными пластинами лежали те, которых он никогда не забывал: мертвая Тамарка, сухорукий Скворушка, Аркаша-Каша, беспомощный директор, Козел, Любка-воровка, ребята и девчонки из старшей группы, Витька-

Хрипун, Самолет... Он чувствовал, что его место там, среди них, а вовсе не здесь, с чужой семьей, в которой мать с отцом скоро съедят друг друга. «А плевать, — подумал он и проглотил соленый комок, — чего мне? Больше всех надо, что ли?»

Справа от него остановился велосипед, подняв целое облако пыли. Парень лет тринадцати-четырнадцати смотрел на него какими-то уж слишком голубыми глазами. Сбоку у него не было одного зуба.

— Ты че? — спросил парень. — Идешь — не смотришь?

— Я ниче, — сказал Колька, — тут, это, не было никого.

— А я тебе — пустое место? — усмехнулся парень и протянул крепкую коричневую руку, знакомясь. — Петр.

— Николай, — обрадовался Колька, и внутри у него все заколотилось.

— Хочешь, ко мне зайдём? — подумав, предложил парень.

— Хочу, — ахнул Колька.

— Ну так садись давай, — и парень хлопнул ладонью по багажнику.

Колька сел, и они покатали. Загрохотал гром, и тут же налитое пугающей чернотой небо с треском лопнуло, засверкало и обрушилось на землю накопившейся в нем обжигающе холодной водой. Незнакомый Петр изо всех сил закрутил педалями. Колька прижался лицом к его обтянутой мокрой футболкой спине и, чувствуя распирающее грудь счастье, успел подумать, что худа без добра не бывает: разрешили бы ему посидеть в «Жигулях», не вышел бы он за калитку, не подружился бы с человеком.

Через несколько минут Петр бросил велосипед и за руку втащил его в свой дом по развалившемуся крыльечку. Колька не успел опомниться.

Он оказался в комнате — очень теплой, потому что в ней, несмотря на лето, топилась печка. В углу стояла кровать под деревенским лоскутным одеялом со множеством маленьких белых подушек. На стене тускло блестели фотографии: военные с выпученными глазами, бородатый старик в орденах, две стриженные девушки в красивых белых платьях, жених с невестой.

В соседней с комнатой маленькой кухне напевал тонкий женский голос: «Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души...»

— Мам! — басом сказал Петр. — Я до станции не доехал, дождик...

— Да бог с ней, со станцией! — отозвался голос, и в комнату вошла женщина с такими же, как у Петра, очень голубыми глазами. И так ясно, так ласково посмотрела она ими на мокрого до ниточки Кольку, что по всему его телу разлилось тепло и стало уютно, как если бы его взяли на руки и принялись укачивать. — Да разве это дождик, — грустно сказала она, — не дождь, а светопреставление! Ты погляди, что за окном творится! Я и печку растопила, чтоб сырости не было. Кушать хотите?

— Хотим, — с достоинством ответил Петр и подтолкнул Кольку к столу.

Она мигом достала из гудящего, как улей, холодильника кусок колбасы, яйца, зеленый лук, сделала яичницу, высыпала в розовую пластмассовую вазочку остаток конфет из бумажного кулька, разложила еду по тарелкам.

— Только вы, ребятки, переоденьтесь, — ласково сказала она, — а то простудитесь, заболите.

И принесла Кольке сухую майку.

Все это было как во сне. Он и впрямь боялся заснуть, потому что ноги и руки его сделались ватными, тело обмякло, а внутри груди — слева — запрыгал солнечный зайчик. От этого ему стало щекотно и захотелось смеяться.

— Ешь давай, — сказал Петр.

Колька принялся за еду, но чудесное ощущение сопливости, тепла и веселья только усилилось.

— Ты чей такой? — спросила она, улыбаясь. — Дачник?

Колька, не выдержав, рассмеялся. И она рассмеялась.

— В каком ты классе учишься? — погладив его по голове, сказала она и вытерла ладонью выступившие от смеха слезы.

— В четвертый перешел, — ответил Колька, подставляя ей затылок. Рука была теплой, мягкой, чуть вздрагивала.

— С родителями ты здесь? — не переставая гладить его голову, продолжала она.

Колька кивнул и вдруг поправился:

— Они говорят: «родители», — прошептал он, — а я откуда знаю? Из детдома я.

Она всплеснула руками и, забывшись, отвела от лица густую прядь коричневых, с сединой, волос. Колька увидел, что правая щека ее покрыта ярко-белой, неживой кожей, похожей на ножку ядовитой поганки.

— И давно ты у них? — спросила она.

— Не, — сказал Колька, — я, это, не помню точно, с мая, вот.

— Ругают они тебя? — тихо сказала она.

— Не, — смутился Колька, — они, это, они сами ругаются.

У него защипало глаза, и он испугался, что сейчас заплачет.

Тогда она придвинулась на табуретке, обеими руками обхватила его и прижала к себе. Она втиснула его внутрь своего большого, теплого тела, и Колька сразу успокоился. Голова его лежала на ее груди, и он близко-близко видел маленькую стеклянную пуговицу и кусок кожи, нежно пахнувшей печным дымом и ягодами.

— Ничего, деточка, — зашептала она, — ничего, маленький. Потерпи, не плачь. Они тебя взяли, значит, ты им нужен, привыкнете друг к дружке, полюбите. Не плачь, маленький. А станет тебе скучно, приходи к нам. Ты у нас и переночевать можешь, и уроки поделаться, поиграете... Ничего, маленький...

Дождь кончился. Петр посадил его на багажник и повез домой.

На небе блестела радуга, и трава переливалась синевой и золотом, почти как Черное море на закате.

— Слышал, че мать сказала? — спросил его Петр у калитки. — Ты к нам приходи. Мать у меня очень добрая.

— А че у нее на щеке? Белое? — спросил Колька.

Петр опустил глаза:

— А это в нее отец кислотой плеснул. Он в тюрьме сидел, а когда вышел, плёснул в нее кислотой из бутылки. Ну, его опять посадили. Мать у меня несчастная. Но ты приходи. Отец нас достает.

— Как достает? — испуганно спросил Колька.

— Ну, как? — глядя под ноги, ответил Петр. — Письма пишет: «Вернусь, убью. Так что жди, не надейся». Очень он на нее зол, на мать.

— За что? — спросил Колька.

— Не знаю, — уклонился Петр, — а только я ее в обиду не дам. Приедет, я его сам убью. Вот что.

* * *

Леонид Борисович набрал номер и услышал, как Алла тяжело вздохнула, прежде чем сказать «слушаю». Этот вздох неожиданно растрогал его. В конце концов, она тоже переживает.

И чем она-то виновата?

— Алена, — сказал он в трубку, — я в Москве, я вернулся с дачи.

— Да? — тихо спросила она. — Неужели? Ну, приезжай.

— Ты что, одна?

— Я одна, — сказала она, — конечно, одна.

«К черту, к черту, к черту, — крутя баранку, остервенело думал Леонид Борисович, — уйду, и все! Проживут! Вера сама зарабатывает! На мальчишку буду давать! Мальчишка меня в упор не видит. Ему — что я, что это дерево, все одинаково, подзаборник! Они только в теории привязываются, а на практике... Как волка ни корми...»

Нечего было себя уговаривать: решение вызрело в нем долго и наконец вызрело, упало с души, как камень. Он любил одну женщину и не любил другую.

Любимая им женщина лежала на диване, входная дверь была не заперта. Он со страхом заметил, что живот ее округлился под белым халатом.

— Ну, — сказала она, не глядя на него, — как семейная идиллия?

Леонид Борисович с досадой поморщился.

— Тебе больше нечего мне сказать?

— А тебе? — И перевела на него прозрачные, дымные глаза.

Голова медленно пошла кругом. Ничего не хочу, только эту бабу. Он стиснул зубы, лег рядом с ней на диван. Все, начинается.

Она засмеялась и отодвинулась.

— Ни, ни, ни! — сказала она и быстро провела ладонью по его лицу. — Доигрался, дорогой.

— Какая разница? — задыхаясь, прошептал он. — Все равно ведь доигрался!

— Какая разница? — пропела она и села на диване, поджав под себя ноги, лицом к нему. — Какая разница? А если сейчас, — понизила голос, — дверь откроется, войдет мой муж и спустит милого друга с лестницы?

Она медленно расстегнула халат, сбросила его движением плеча.

— А-ах! — содрогнулся он. — А-а-а-ах!

Она взяла его руку и провела ею по своей белой шее, потом по левой груди, задержавшись на ярко-красном соске.

— Вот этим, — словно подражая маленькой девочке, сказала она, надувая губы, — мы будем кормить нашего сиротку. Вот отсюда пойдет молочко...

Вдруг она с силой отбросила его руку и отвернулась.

— Что? — испуганно спросил он. — Точно, да?

Она полоснула его сужившимися глазами:

— Представь себе! Точней не бывает!

Навалилась на его подбородок белой грудью и обеими ладонями взяла его за горло.

— А может, мне тебя убить? Надоел ты мне!

Он попытался поцеловать ее, она звонко ударила его по лицу.

— Надоел!

Он вдруг понял, что она не шутит.

— Хорошо, — прохрипел он и завел ей руки за спину, — хватит драться! Я же с тобой не спорю.

— Что значит: не спорю? — спросила она.

— То и значит, — ответил он спокойно, — как ты хочешь, так и будет. Я уйду отсюда.

Вдруг она притихла, легла рядом и прижалась к нему. Леонид Борисович боялся пошевелиться.

— Учти, — глухо сказала она, — это не я попросила, это ты решил.

Он начал расстегивать рубашку, делая вид, что не торопится.

— Да быстрее же! — прошептала она и укусила его щеку горячими губами. — Быстрее!

* * *

...А, Пушкино уже. До чего ему знаком этот перрон, словно бы и не прошло восьми лет. Киоск с газетами. Так. Жизнь поменялась, пишут про другое, ему наплевать, у него свои дела. Пирожки местной выпечки. Раньше мясные продавали по двадцать, капустные — по десять. Теперь деньги другие, пирожки те же. Взял два мясных с непрожаренным луком. Вкусно, горячие.

Какая она теперь? Без груди, изуродованная? Опять у него внутри все запылало. Сосед говорит, вся седая стала. А была? Веселая, легкая, не ходила — летала. Когда ж она поседела? А, вот, наверное,

когда он на нее бутылку вылил. Плеснул — она на пол осела и покатилась, зашлась криком. Красавица моя. Обещал вернуться, видишь, слов на ветер не бросаю. Уродовать тебя не стану, куда ж тебя еще больше уродовать, а жить не дам. Потому что жить тебе незачем. Не любил бы — не стал мараться. Мало их, баб, кошек шелудивых, под чужих мужиков бросаются! Что ж теперь, каждую убивать? Тошно мне.

Рвать меня тянет, язва, должно быть, разыгралась. Гастрит двенадцатиперстной.

Ну ладно. Приехал я, Саша. Александра Николавна. Встречай гостя. Как мы жили-то с тобой поначалу? Как в раю. Все вместе. На рыбалку ездили, в гости ходили. Зарабатывал я, баловал ее сдуру. То одно куплю, то другое. За бананы ветерану войны переплачивал: ему без очереди давали, а я тебе тащил. Выпивал, конечно, как без этого? Ну она плакала, заливалась: «Не пей, Вася! Говорю: не пей!» А мужику без водки — разве жизнь? Вся сила кончится. Как я тогда влип? Ничего не помню. Разошелся по пьянке, бутылкой по башке: хрясть! Проломил. Инвалидом племяша оставил. Всю жизнь на совести. В себя пришел уже в наручниках.

Она таскалась в тюрьму, опухшая, зареванная. Только-только родила тогда, молока было много, вся кофта мокрая. Сам чуть не плакал.

«Жди меня, Саша, вернусь — заживем!» И в письмах писал: «Вернусь — ноги твои мыть буду за то горе, что тебе причинил, капли в рот не возьму, жди, надейся!»

Верил ведь, что ждет. А она закрутила — года небось не прошло. Петьку к матери — и пошла! Спасибо, сосед написал, намекнул — черным по белому.

Терпеть неумоготу было. Рассказал там одному, поделился. Тот говорит: «Ты, птенец, баб не знаешь. Баба так не может, чтоб ее один покрывал. Ей надо силу свою доказать: вот я, мол, какая. Мигну — и все мои. Не убивать за это надо, а воспитывать. Природу исправлять. Они послушные, бабы, любят, когда их воспитывают».

Ну нет, это не по мне. Я вам не Макаренко — воспитывать.

Убью, и все. А потом лягу на твою могилу и с места не сойду, пока сам не сдохну. Моя, моя и есть. Хоть живая, хоть мертвая.

Срок дали — пять лет. Отбыл — приехал. Нагрязнул, как снег на голову. Выследил ее на станции. Сошла с электрички. С хахалем. Мужик как мужик. Мужик-то чем виноват? На ней — платье в горошек, прическа высокая. Супруг законный в тюрьме слезами умывается, а она — причесочку! Так. Шел за ними до самого дому.

Сумерки были. Ух как она шла! Боком к нему, боком, так всем своим горохом к чужим штанам прилепилась, что... Ладно. У меня в кармане нож был. И кислоту раздобыл. Но кислоту на крайний случай. Не кислотой баловаться ехал. Они за дверь. Подождал я для приличия, постучал вежливо.

Она открыла. Я — раз! И всей бутылкой в нее плеснул. Сам не понял, как так вышло. Не хотел ведь кислотой-то. Она и повалилась.

Вся стала черная, как снег весной. Буграми какими-то пошла. Тут этот мужик на меня. Она по полу катается. Дальше — что? Соседи. Мужика оттащили. «Скорая». Унесли ее под простыней. Потом узнал: выжила, грудь левую пришлось отрезать, до кости

прожгло. Ну и на лице тоже. Щеку испортил. Извиняюсь. Сосед написал: живет смиренно, Петьку растит хорошо, ты, Василий, подумай, всяко бывает. Ладно, подумаю.

Восемь лет думал. Вернусь — убью. Принимай, Саша, гостя. В каждом письме правду писал, предупредил. Ни словечка не ответила. Гордая.

Ты меня попроси, попроси, Саша. Ты у меня в ногах поваляйся. Да нет, не попросит. Красавица моя.

Вот, дошел. Что ж меня так рвать-то тянет? Не дело. На диету надо.

Постучал. Дверь не заперта. Толкнул. Она стоит спиной: то ли тесто месит, то ли еще что. Сгорбилась. Седая вся, не наврала. Обернулась.

Вот и встретились.

— Здравствуй, Александра Николавна, не ждала? — А у самого губы прыгают, все слова — забыл.

Молчит. Смотрит. Глазоньки мои, незабудки.

— Не узнала меня? Муж твой. Василий Николаич. Что смотришь? — Нашарил в кармане нож. Тут. Куда ему деться? — Рассказывай, Саша, как жила без меня, как...

Опять все слова вылетели.

— Вася, — говорит, — уходи от греха, Вася.

От греха! Все нутро в нем поднялось. От греха! О грехе-то ты бы раньше вспомнила, когда хахалю свою... подкладывала!

— Ладно, Саша, кто старое помянет...

Вынул ножик, подошел к ней. Она и не думает прятаться. Стоит, как неживая, только глаза синеют. Попроси меня, попроси, я кому говорю! Са-а-ша! Стоит.

Поднес ей нож к горлу.

— Помогите нам, — сказала она и заплакала.

Под «нам»-то он ее и полоснул.

Хрустнуло под рукой что-то. Нож вошел глубоко, ровно. Она упала ему на грудь, кровь, как из крана. Подхватил ее, обнял крепко.

Оба повалились.

* * *

Бабушка Лариса Владимировна варила клубничное варенье. Кольку заставили читать «Робинзона Крузо». Вслух, с выражением. Мать делала вид, что слушает, а на самом деле не спускала глаз с дороги, по которой отец должен был вернуться из города.

— Ты так, Вера, в сумасшедший дом попадешь, — поджав губы, сказала бабка и сняла пузырящуюся пену огромной ложкой.

Мать не ответила. У матери была мигрень, и голову она обмотала серым пуховым платком. Как только отцовская машина подъехала к дому, мать сорвала с головы платок и посмотрелась в зеркало. Отец вошел тяжело, как старик. Лицо — мрачное, небритый.

— А мы заждались, заждались, — пропела бабка, — я уж говорю: да он сегодня в городе заночует, у него дел-то сколько! А ты приехал!

— Заночевал бы, — злобно ответил отец, — если бы мне жить давали... А то ведь... — И пошел умываться.

У Веры задрожал подбородок.

— Молчи, молчи, — зашипела бабка. — Он — свое, а ты — без внимания. Подите погуляйте, потом спать. Ночная кукушка дневную перекукует...

Сели ужинать. Молчание висело над столом. Зажгли свет. Черные бабочки с выпуклыми глазами жались к огню, осы, шипя, тонули в варенье.

Вдруг заскрипела калитка, и рядом с крыльцом появился Петр.

С того дня, как мать его угощала Колю яичницей с луком, прошла неделя.

За эту неделю Петрову мать успели зарезать и похоронить. Коля слышал, как бабушка Лариса говорила об этом с соседкой, и видел, сколько женщин в черных косынках и мужчин в кепках — несмотря на жару — шли к Петрову дому со станции мимо их дачи.

Дом, где жили Петр и его зарезанная мать, был через три улицы.

Ни один человек на свете не знал, что Коля успел побывать там в гостях, но, когда четыре дня назад бабка сказала: «Муж убил, сына оставила», он сразу понял, о ком идет речь.

— Тебе кого, мальчик? — спросила бабка.

— Мне его, — сказал Петр и кивнул головой на Колю. — Выйдешь?

Коля вскочил из-за стола и выбежал.

— Коля! — крикнула мать Вера. — Ты куда? Кто тебе разрешил?

— Я, это, — спохватился Коля, — вот, это друг мой, Петя, у него мать зарезали...

Все трое приподнялись на стульях.

— А ну, идите сюда, — приказал Леонид Борисович.

Коля и Петр переглянулись, но не двинулись с места.

— Я кому сказал? — Леонид Борисович повысил голос.

Они поднялись на террасу.

— Садись, мальчик, — засуетилась бабка Лариса, — чаю попей...

— Не хочу я, — хмуро ответил Петр, глядя в пол, — я попрощаться пришел.

— Уезжаешь? — спросил Колька.

— Тетка к себе берет, в Серпухов, — сказал Петр, — она одинокая, болеет там...

— Так, — сказала бабка тихо, — так это что, твою маму...

Петр поднял глаза. Кольке показалось, что он ослеп, ничего не видит: из голубых глаза Петра стали белыми, и какая-то в них стояла мутная вода, пленка какая-то.

— Мою, — ответил он.

— Отец ее, что ли, твой? — не унималась бабка.

Петр кивнул и вдруг опрометью бросился вниз по ступенькам, хлопнул калиткой. Колька, не спросившись, побежал за ним.

— Когда вы соображать начнете? — захохотал отец на терраске. — Кто же так...

Колька догнал Петра у самого поворота, потому что Петр шел быстро, почти бежал, и кулаком вытирал слезы.

— Петь, — крикнул Колька, — обожди, ты куда?

Петр резко остановился.

— Я мамку мертвую видел, — сказал он, плача. — Гроб-то открыли проститься. Она лежит, горло платком замотано. Все равно как девчонка. И тетка говорит: «Шура помолодела».

— А ты? — спросил Колька.

— Я ничего, — задыхаясь, сказал Петр, — я смотрю, и мне ничего. Наклонился к ней, а у нее ресницы — как задрожат!

— Ресницы? — ахнул Колька.

— Ага, — сказал Петр, — словно она хочет глаза открыть, а не может.

Они замолчали.

— Слушай, — Петр вытер мокрую от слез руку о штаны, — я чего пришел? Мамка тогда, когда ты у нас был, сказала, что ты — несчастный. Она все хотела к вам прийти, на родных твоих поглядеть. Она мне сказала, что, если ты им не нужен, мы тебя к нам заберем. Ну вот.

Колька молчал.

— Я пришел, — сказал Петр, — потому что я сейчас уезжаю. Но я потом приеду, когда большим стану, и заберу тебя, хочешь? Будем вместе жить. Как братья будем. Хочешь?

Голос его задрожал.

— Я тебе напишу. Адрес-то ты свой знаешь?

— Знаю, — кивнул Колька, — Мерзляковский переулок, дом шесть, квартира восемнадцать.

— Ладно, — сказал Петр, — я тебе буду письма писать. А эти тебя в два счета отдадут, на фига ты им сдался? — Он мотнул подбородком в сторону Колькиной дачи.

Колька многое хотел бы сказать ему, но что-то не получалось.

— Правда заберешь? — наконец спросил он.

— Правда, — твердо ответил Петр, — ну, до свидания.

— До свидания, — глотая слезы, сказал Колька, — приезжай скорей.

* * *

Луна плыла по небу и качалась, словно ее напоили и она забыла, куда ей плыть. У нее было плачущее сморщенное лицо. Колька подумал, что там, высоко, может быть, тоже живут люди, а раз так, то ведь

и они, наверное, умирают и их хоронят. Может, луна напилась на поминках?

За стеной разговаривали отец с матерью. Сначала — негромко, потом мать зарыдала, и тут же раздался грохот, словно кто-то рухнул с кровати, и материнский крик:

— Я тебя не пушу!

— А я тебя не спрашиваю! — Отцовский бас перекрыл все звуки. — Не рви на мне майку!

— У! — отрывисто и хрипло ухнула мать и вдруг закувала, как кукушка: — Ку-у-у! У-у!

Зажегся свет, и послышалось торопливое шарканье бабкиных тапочек.

— Я тебя убью! — кричала мать в перерывах между «у-у, у-у». — Я найму людей и убью тебя, ты с ней жить не будешь!

— Ну все, — отчетливо сказал отец, — хватит с меня.

И тут же от дома отъехала машина, словно отец впрыгнул в нее прямо из окна. Колька вжался головой в подушку, натянул на себя одеяло. Ночь была теплая, но его затрясло, как в прошлом году, когда он в детдоме болел корью.

Утром они с матерью поехали в город. Глаза людей в электричке были такие, словно ночью никто из них не мог заснуть от боли.

В окне моросил дождь. За всю дорогу Вера не проронила ни слова.

— Мам, — не выдержал Колька, — мы куда едем-то? Домой?

Мать громко сглотнула слюну.

— Нет, — сказала она, — не домой. В другое место.

— Куда? — спросил он.

— Увидишь, — прошептала Вера, и лицо у нее стало такого же красного цвета, как плащ.

Колька вдруг разглядел болячку на материнском подбородке.

Болячка была замазана белым и поэтому стала сильно заметной на покрасневшей коже. На вокзале мать долго дозванивалась куда-то из автомата, потом что-то записала в блокнот. Взяли «левака». В машине так сильно пахло бензином и вином, что Кольку затошнило, и он испугался, что его вырвет. Хотел было попросить, чтобы остановились, но увидел Верины выпуклые неподвижные глаза и промолчал. Через полчаса машина затормозила у голубого дома с костлявыми балконами. В лифте тоже пахло вином, а кнопки этажей были липкими. На пятом этаже кабинка остановилась, и вошла толстая старуха с зонтом и палкой.

— Вниз? — спросила она почему-то злым голосом.

— Наверх, — таким же злым голосом ответила мать.

Старуха промолчала, но вид у нее стал такой, что еще немного — и она изобьет их своим зонтом. На девятом этаже мать дернула Кольку за руку: «Приехали!» Кольку все сильнее и сильнее тошнило.

Мать позвонила в дверь, обитую коричневой клеенкой.

Алла Аркадьевна, совершенно такая же, какой она была месяц назад в Сочи, — только вместо белого купальника на ней был большой и пышный белый халат, — стояла на пороге. За ее спиной висело квадратное зеркало, в котором отражался ее рыжий затылок, кусок шеи с завитком и рядом — красное лицо матери Веры с болячкой на подбородке.

Кольки не было видно, так как зеркало висело высоко, а он был маленького роста.

— Где? — прохрипела мать.

— Кто? — ласково спросила Алла Аркадьевна.

— Леонид, — прошептала мать.

— Ах, вы за мужем? Сейчас заверну, — и Алла Аркадьевна звонко крикнула в глубину квартиры: — Ле-е-ня! Тут за тобой из партбюро пришли! Одевайся!

Мать сделала было шаг вперед, но Алла Аркадьевна отпихнула ее. Глаза Аллы Аркадьевны стали злыми и темными:

— Но, но, но! — вскрикнула она. — Ты куда? А ну, на место!

Мать левой рукой толкнула ее в грудь, а правой схватилась за рыжие волосы и изо всех сил дернула их. Алла Аркадьевна не успела закричать, потому что из комнаты вышел отец. Таким страшным Колька его еще не видел. Отцовское лицо было искажено, и казалось, что у него не два, а четыре глаза и несколько ртов. Брови сдвинулись в одну лохматую черную полосу, а волосы стояли дыбом, как шерсть озверевшей собаки.

При виде отца мать отпустила волосы Аллы Аркадьевны и подпихнула Кольку прямо в живот Леониду Борисовичу. Колька, не удержавшись, влетел лицом в отцовскую горячую, пахнущую потом рубашку.

— Ребенок же! — закричала мать. — Смотри, ведь это ребенок!

— Замолчи! — прошептал отец, но так жутко, что Колька зажмурился. — Зачем ты пришла?

— Я пришла, — дрожащим голосом ответила мать, — потому что ты не имеешь права бросить семью, потому что я, — и она положила на горло обе

руки, словно ей было больно говорить, — потому что я — твоя жена, а это твой сын...

Леонид Борисович сморщился, все его глаза исчезли.

— Вера! — Он схватился за голову. — Вера! Ведь я тебе говорил! Я ведь тебе все сказал! Не будем мы жить вместе! Не будем! Не можешь ты меня заставить!

— Ой, ну, с меня, кажется, хватит, — пробормотала Алла Аркадьевна и вдруг весело засмеялась: — Родители! Колю бы своего пожалели! Он у вас в психушке кончит!

— Колю? — прошептала мать. — Откуда она знает, что это Коля? — И обернулась к Кольке: — Ты с ней знаком? Видел?

Колька молчал. Больше всего ему хотелось, чтобы все это было сном и чтобы он быстрее проснулся.

— Я спрашиваю тебя, — повторила мать, — ты ее когда-нибудь видел?

Колька замотал головой.

— Ай-яй-яй! — и Алла Аркадьевна погрозила ему большим белым пальцем. — Да разве мы с тобой не знакомы? Разве мы не плавали наперегонки, не играли в дурака?

— Что? — прошептала мать. — Какого дурака?

И вдруг ударила Кольку по лицу.

— Предатель! Убирайся от меня! Гаденьш!

— Перестань, — проревел отец, — идиотка!

Мать разрыдалась. Колька стоял оглушенный и чувствовал, как у него щиплет щеку. Отец вплотную приблизился к ним.

— Вера, — видимо сдерживаясь, сказал он, — я своего решения не поменяю. Мы с тобой еще поговорим. Я буду помогать. Уходи отсюда.

И вдруг высокая, неловкая мать в своем скользком красном плаще опустилась на колени и сказала Кольке:

— Прости отца. Становись. Прости его. Мы не уйдем.

— О господи! — задохнулась Алла Аркадьевна. — Да сделай же ты что-нибудь, Леня! Я сейчас милицию вызову!

Мать не шевелилась. Красный плащ стоял над ней так, словно на спине, под плащом, прятался человек. Алла Аркадьевна высоко подняла волосы обеими руками и ушла куда-то, хлопнула дверью. Колька и отец посмотрели друг на друга.

— Черт знает что, — отчаянно сказал отец, — вот ведь угораздило меня... Коля, уведи маму домой. Успокой ее. Я позвоню вечером. Обещаю.

— Мам, — прошептал Колька, — пойдем, мам, это, домой поедем...

Вера тяжело поднялась с колен. Лицо ее было каким-то голубовато-серым, помада размазалась.

— Пожалеешь ты об этом, Ленечка, — тихо сказала она, — ох, как ты пожалеешь!

В лифте они молчали. Дождь из морозящего стал тяжелым и холодным. Опять поймали машину.

Дом, подъезд, мокрые помойные баки у подъезда.

На двери приклеен листок: «Их разыскивает милиция». Два лица: мужское и женское. Женщина похожа на гиену, которую Колька видел по телевизору.

В квартире было сумрачно, пыльно, окна зашторены. Не снимая плаща, Вера бросилась к телефону и принялась кому-то звонить. Колька пил воду из-под крана и слышал, как она шепчет в трубку:

— Войдите в мое положение! Какая травма? Два месяца — не срок для адаптации! Я профессиональный психолог, я знаю, что говорю!

Вечером приехала бабушка Лариса. Посмотрела на мать, лежащую на диване под пледом. Сварила макароны. Вытащила из сумки банку клубничного варенья и пучок укропа.

— Грибов на участке очень много, — сказала бабушка, — хотела собрать, да потом плюнула. Не до грибов.

Прошло еще несколько дождливых и пасмурных дней. Колька стал бояться ночи, потому что сны ему снились такие тяжелые, что он просыпался в слезах, а однажды даже замочил постель, не удержался.

Мать обнаружила это первая, сделала огромные глаза и позвала бабуку. Бабука велела Кольке идти в ванную, сдернула с кровати его простыню и сказала матери:

— Сама понимаешь, о чем речь... Не мне тебя учить.

Мать сжала виски руками и опять пошла звонить кому-то по телефону.

Случилась же эта неприятность вот почему. Колька видел во сне, что он вырос, стал моряком и служит на подводной лодке. Он плыл на огромной глубине и чувствовал море. Море шумело рядом и со всех сторон обнимало его. Колька успел только подумать, что здесь намного лучше, чем на берегу, как вдруг раздался грохот и вспыхнул огонь. Лодка развалилась на куски, вода вперемешку с огнем хлынула и сзади, и спереди. Колька почувствовал, как запекло сначала в голове, потом в самом низу живота.

Он начал барахтаться в этой огненной воде и звать на помощь. Звал он всех на свете людей, которых знал по именам, но людей этих было не так много, и вскоре Колька начал просто кричать «мама», хотя думал он не о Вере, а о ком-то другом. Ему казалось, что, если он еще немного продержится и будет звать маму, она услышит его и отзовется.

Он почему-то знал, что мама его далеко, не только в другом городе или даже в другой стране, но где-то гораздо дальше, и для того, чтобы она его услышала, надо кричать громко-громко и очень просить при этом, чтобы им с мамой помогли. Кого просить, он тоже не знал, но Тот, которого нужно было просить, понимал, что Колька не знает Его имени, и не обижался на это.

В конце концов в животе его что-то лопнуло, и произошла неприятность.

Вечером пришел отец. Наверное, до этого он позвонил и сообщил, что придет, потому что бабушка вымыла всю квартиру и наготовила очень вкусных — судя по запахам — вещей. Вера ей не помогала, только сидела перед зеркалом и красилась. Накрасившись, она смотрела на себя, как на чужую, потом вскрикивала и бежала в ванную смывать все, что напустила. К восьми часам она все-таки напустилась окончательно, и щеки у нее стали такими розовыми и блестящими, словно на них наклеили конфетные бумажки.

Отец пришел чужой и невеселый. На голове у него была маленькая клетчатая кепочка, и он, видно, отпустил бороду, потому что из подбородка лезла густая щетина, похожая на срезанные в поле толстые стебли сорняков.

— Иди спать, Коленька, — ласково сказала мать Вера, глядя на отцовскую щетину так, словно она сейчас бросится выдергивать ее зубами.

— Да, Колян, — торопливо поддержал ее отец, — ты сейчас лучше иди ложись, а я к тебе потом отдельно загляну, — и вытащил из кармана большую шоколадную плитку. — Сразу только не ешь, а то живот заболит.

Бабка возилась на кухне, так что Колька лег на постель, не раздеваясь и не зажигая света. В соседней комнате закашлял отец и сказал, кашляя:

— Простыл я, погода хуже ноябрьской...

Мать перебила его дрожащим голосом:

— Ты когда думаешь вернуться, Ленечка?

Отец, видимо, не успел ответить, так как бабка ворвалась из кухни и запела:

— От кашля липовый цвет надо заваривать. Шалфей с ромашкой, свеженький боярышник, пустырник, корочку дуба... Полчаса на огне, потомить, потомить, потом через марлечку, через марлечку, и — как рукой... Главное: потомить как следует.

— Вера! — Отец возвысил голос, но бабка опять вмешалась:

— А я тебе пирожков на закусочку, потом горяченькое принесу, ногу баранью запекла с чесночком, и выпьем, как люди, все по-людски, все по-человечески... Верочка-то от плиты не отходила, жена ведь, старалась для тебя, по-людски все...

— Вера! — не обращая на нее внимания, сказал отец. — Я хочу развестись, потому что собираюсь жениться. Она ждет ребенка.

Наступило молчание. Потом мать тихо спросила:

— Ребенка? От кого?

— Прекрати! — заорал отец. — В таком тоне я не разговариваю!

— Но я, честное слово, не понимаю, — так же тихо и странно повторила мать, — от тебя ведь нельзя ждать ребенка, Ленечка, я на опыте убедилась...

— Вера! — Отец понизил голос, но Кольке показалось, что еще секунда, и он набросится на мать с кулаками: — Я пришел не для того, чтобы слушать гадости, а для того, чтобы решить практический вопрос: что ты намерена делать с Колей?

— Забирай его, — равнодушно сказала мать, — что я намерена с ним делать? А ты что намерен?

— Куда я могу забрать его? — пробормотал отец. — Мне некуда!

— А мне незачем! — закричала мать. — Мне незачем!

— Но подожди, — растерялся отец, — так все же нельзя, мы же люди...

— Кто это — мы? — начала было мать, и тут Колька не выдержал.

Непонятной силой его сдернуло с кровати и вытолкнуло в ту комнату, где был накрытый стол, а за столом сидели так и не снявший кепочки отец и розовая, блестящая, как кукла, мать Вера. Они сидели друг против друга, и между ними лежала чья-то небольшая, словно бы детская, до черноты зажаренная нога в прилипших к ней чесночных дольках.

Кольку и до этого ужасно тошнило, но сейчас, при виде черной детской ноги, затошнило до того, что он зажал обеими руками рот и ничего не смог сказать, даже крикнуть не смог. Они вскочили при его появлении.

Он догадался, что речь идет о том, чтобы отдать туда, где страшнее всего, то есть в детский дом, в актовом зале которого лежит мертвая Тамарка-бакинка,

а в кухне гримасничает пьяный Скворушка. У него задрожали ноги, из глаз хлынули слезы, но, поскольку говорить он все равно не мог, само собой получилось, что он упал перед ними на колени, точно так же, как мать Вера, когда их выгоняли из квартиры Аллы Аркадьевны.

— Коля! — завопил отец и тут же схватил его огромными горячими руками. — Коля, да ты что!

Но больше Колька уже ничего не помнил.

Прошло несколько дней. Кажется, все это время он был нездоров, потому что к нему приходил участковый врач, прослушивал его и простукивал. Каждый день бабка заставляла его пить какие-то таблетки, от которых ужасно хотелось спать и было очень сухо во рту.

Потом бабка почему-то исчезла, и мать сказала, что она тоже заболела и поехала лечиться. Колька уже встал с кровати и тихо ходил по дому, не зная, куда себя девать. Мать разрешала ему смотреть телевизор и не заставляла читать ей вслух. В душе у Кольки наступило оупение, и все стало безразличным. Еду мать не готовила, а просто покупала в соседней кулинарии и разогревала на плите. Иногда она забывала накормить Кольку, потому что самой ей совершенно не хотелось есть и она могла, не евши, пролежать целый день на диване, кутаясь в свой серый платок.

Наступила среда, 26 августа. Показывали очень смешной фильм «Бриллиантовая рука». Мать подошла к Кольке сзади, перегнулась через его стул и выключила телевизор. Колька задрал голову и посмотрел на нее. Похожая на козу незнакомая женщина отвела глаза.

— Коля, — сказала эта женщина. Кольке показалось, что рот ее полон травы и она пытается ее проглотить. — Коля, у нас в семье осложнились обстоятельства. У нас большая беда, К-к-оля, — коза подавилась травой, — и мне нужно уехать из Москвы, чтобы поправить свое здоровье. Бабушка тоже лечится...

Два выпуклых глаза неподвижно смотрели на Кольку.

— Но ты должен пойти в школу, — сказали глаза, и рот повторил за ними, как эхо: «Д-д-должен — п-п...»

— Ладно, — вдруг ответил Колька и почувствовал, что у него запекло голову, словно опять начался сон про лодку. — Ладно.

— Так что поначалу ты пойдешь в ту школу, где тебя знают и любят...

Коза вытянула вперед руку и погладила его очень горячей ладонью, как утюгом. Колька отдернул голову от ее руки.

— А потом, — давясь травой, заторопилась она, — потом мы, конечно, заберем тебя обратно. Это — вынужденный поступок, и все это не продлится больше двух-трех месяцев...

— Ладно, — повторил Колька, чувствуя, как печет голову, — ладно...

* * *

Сначала с мокрого песка под детским деревянным мухомором, только что заново покрашенным к началу сезона, поднялась Тамарка-бакинка.

Оказывается, все это время она пряталась в песочнице, а Колька, живший в том же самом дворе, и не подозревал об этом. Потом к ней присоединилась Петрова мать, обняла ее за плечи и поцеловала. И Та-

марка, и Петрова мать были одеты в светлые платья, только на животе эти платья были сильно запачканы чем-то красным. Колька изо всей силы напряг глаза, потому что почувствовал, что сейчас должен появиться еще один человек.

И правда: там, где луна особенно сильно освещала двор, стояла скамейка с прилипшей к ней размокшей газетой и кто-то, в таком же светлом платье, как Тамарка и Петрова мать, сидел на этой скамейке, спиной к Кольке. Лица этой женщины Колька не видел, но даже затылок ее и худая рука вызывали в нем такую сладкую боль, что ничего другого и не нужно было: пусть только она сидит там, внизу, а он на нее смотрит. Но тут Тамарка-бакинка задрала голову и увидела его. Лицо ее засияло, словно увидеть Кольку было огромным счастьем.

— Смотри, — громко, на весь спящий двор, сказала Тамарка Петровой матери, — смотри, Коля!

Петрова мать тоже задрала голову. Он разглядел тоненький красный шрам на ее горле, но щека, которая запомнилась ему в виде ядовитой поганки, была чистой и белой. Петрова мать оказалась не такой, какой она была тогда, на даче, а совсем молоденькой, почти как Тамарка, может, чуть постарше, только глаза ее остались прежними.

— Нашли, нашли! — закричала она. — Ну, слава тебе!

И быстро подбежала к той, которая сидела спиной к Кольке.

— Да не плачь ты! — сказала она. — Нашелся! Гляди, вот он!

Женщина на скамейке повернулась всем телом и вскочила, но Колька по-прежнему не смог разглядеть ее. Глаза его слепило от восторга, сердце коло-

тилось так, что хотелось кричать, и поэтому он видел только кусок сгустившегося света, который становился все ярче и ярче.

— Мама! — сказал он сам себе. — Это ж мама моя!

— Иди, иди к нам, — радостно кричала ему Тамарка, — иди, не бойся! Я им сказала, что ты мне братик, я сказала, что мы найдем!

— Иди скорей! — как эхо, повторила Петрова мать (Колька вспомнил, что ее звали Шурой!). — Иди к ней! — И показала рукой на ту, видеть которую ему мешали слезы.

Он хотел ответить им, что сейчас придет, сейчас, сию минуту, но ноги его прилипли к полу, а в горле остановился ком. Тогда эта незнакомая ему, родная его мама громко заплакала, и тут он наконец разглядел ее. Она была похожа на него, как две капли воды, у нее было точно такое же лицо, которое Колька каждый день видел в зеркале, когда чистил по утрам зубы и умывался, только волосы были не короткими, а длинными, густыми и кудрявыми, как у Тамарки. По движению ее губ он догадался, что мама хочет что-то сказать ему, но не может, потому что плачет. И тут Кольке стало так жалко ее, как никогда в жизни не было жалко никого на свете.

— Ладно, — закричал он, — я сейчас приду! Я уже иду, мам!

«Главное, чтобы не плакала, — торопливо думал он, одеваясь в темноте и не попадая в рукава рубашки, — я уже иду, вот же я!»

Не зажигая света, он нашарил ботинки, положил в карман куртки перочинный ножик, подаренный Леонидом Борисовичем, половинку жевательной резинки, застегнул «молнию» и осторожно вышел из комнаты.

В квартире было темно, из соседней спальни доносилось тяжелое дыхание Веры. Боясь, чтобы она не проснулась, он открыл входную дверь и, не захлопывая ее, чтобы не устраивать лишнего шума, бросился вниз по лестнице. Добежав до площадки первого этажа, он остановился, убедился, что за ним никто не гонится, и вышел во двор. Во дворе никого не было. Он огляделся по сторонам, надеясь, что они зашли в тень густых липовых деревьев. Под деревьями было пусто. Тогда он побежал к песочнице. Мокрый песок был похож на пластилин черного цвета. Колька начал расковыривать его перочинным ножом, но ничего, кроме детской лопатки, не обнаружил. В ужасе он отбросил ножик в сторону и даже не пожалел о нем.

«Где же они?» — заколотилось в нем так, словно кто-то невидимый начал стучать в живот барабанными палочками.

Он чувствовал, что они где-то рядом, ждут его, но как найти их, не знал. Кольку охватила паника. Он принялся бегать по двору, плача и задыхаясь.

— Мама! — закричал он.

Гулкое эхо подхватило его голос, и каждый кирпич простонал вслед за ним: «Мама!» На пятом этаже зажегся свет, из открытого окна высунулась какая-то женщина и перегнулась через подоконник.

— Мама! — не помня себя, надрывался он. — Мама моя!

В доме переполошились. Теперь свет горел почти в каждом окне, и изо всех окон смотрели люди. Колька кричал и кругами бежал по двору.

Иногда он спотыкался и падал, но тут же вскакивал и, не замечая боли, бежал дальше. Наконец в самом последнем окне, на восьмом этаже, появился

Скворушка с бутылкой в руке и голосом, от которого в Кольке остановилась кровь, сказал:

— А я уже иду, иду! Одеваюсь!

Колька упал на землю. Захлопали двери в подъездах, он понял, что все эти люди уже близко и сейчас схватят его. Тогда он собрал последние силы, чтобы еще раз позвать ее:

— Мама!

...Яркий горячий свет накрыл его собою, как одеялом. Колька понял, что это она. От счастья он вскочил на ноги, но тут же резкая боль в груди бросила его обратно на землю. Дышать стало нечем, но мама была тут, она легла рядом с ним и принялась гладить его голову.

Колька успел почувствовать, что становится совсем маленьким, размером с куклу, и обрадовался, что теперь маме будет гораздо легче — она просто возьмет его на руки и унесет.

Так и случилось.

Когда она уходила по двору с младенцем на руках, во двор въехала «Скорая помощь». Она показала на нее глазами двум женщинам, которые шли с нею рядом. Тамарка-бакинка мстительно улыбнулась при виде белой машины с красным крестом на боку, а Петрова мать только покачала головой.

Ни одна из них не стала смотреть на то, как санитары накрывают белой простыней маленькое скорчившееся тельце. Они улыбались новорожденному, который сонно смотрел в ночь молочными глазами и еще не понимал, что с ним происходит.

ЛАРИСА
РАЙТ



ЗОЙКА



Зойке было жарко. Она слышала, как из открытого окна дует ледяной ветер, ощущала его дыхание на своем теле, дотрагивалась кончиками пальцев до почти посиневшей и давно ставшей гусиной кожи, но холода не чувствовала. Напротив, ей казалось, что все ее внутренности горят огнем. Щеки пылали, глаза лихорадочно блестели, лоб был сухим и горячим.

«Наверное, жар», — безучастно подумала Зойка. И следом пришла новая мысль: сначала злая, а потом даже радостная: «Помру, наверное. Ну и ладно. И хорошо даже, и слава богу, будь он неладен. Сидит там в своих райских кущах, и нет ему дела до Зойкиной жизни, которую и жизнью-то не назовешь».

Зойка в одной ночнушке сползла с кровати и подошла к окну. Посмотрела вниз с девятого этажа. Прыгнуть, что ли? Грязными пальцами с обгрызенными ногтями и заусенцами выудила из валявшейся на подоконнике пачки последнюю сигарету и лениво подумала: «А это даже интересно. Другие все рассуждают, где он, край, какой он. А мне и спрашивать не надо. Вот она, каемочка, за которой ни просвета, ни щелочки. Этот ветер, эта пустая комната и несчастный сверток на кровати». Она жадно затянулась и снова посмотрела вниз. Всего секунда, и конец. И уже не страшно, уже не больно, уже не жалко. Зойка даже встала на цыпочки, распахнула окно пошире и перевесилась через подоконник. Потом резко выпрямилась. А вдруг не насмерть? Вдруг овощем еще

лет на пятьдесят? Нет уж, увольте. Уж если прощаться с жизнью, то наверняка. И потом, записку надо оставить. Чтобы знали, кто она, что. Может, тогда чудо случится: кто-нибудь сжалится над ней и захоронит по-человечески. А без записки в общую могилу кинут, и поминай как звали. Хотя поминать-то и некому.

Зойку затрясло, на лбу выступила испарина. От холодного воздуха температура начала падать. Девушка наконец-то почувствовала, насколько озябла. Дрожащими пальцами она закрыла окно и сползла к батарее, прижала к ней свое почти невесомое, прозрачное тело и затихла. Плакать она уже разучилась. Зойка просто сидела, не шевелясь и ни о чем не думая. Она устала переживать и спрашивать себя, почему так вышло. Зойка опустила потяжелевшие веки и заулыбалась, как улыбалась всегда, когда к ней возвращались чудесные воспоминания.

— Это все мне? — Пятилетняя Зоя в одной пижаме стоит на кровати и с восхищением смотрит вокруг. В комнате такое количество воздушных шариков, что, наверное, дом чудом удержался, чтобы не взлететь. Красные, зеленые, сиреневые, оранжевые шары везде: на полу, на стенах, на потолке. Они облепили шкаф, стол, пианино и даже родителей, которые стоят, взявшись за руки, и с умилением смотрят на Зою. В руках у папы еще дюжина шаров, он протягивает эту охапку Зойке и говорит:

— С днем рождения, солнышко!

— Спасибо! — Зойка соскакивает с кровати и обнимает за ноги сразу обоих родителей. Мама гладит ее по голове и произносит смущенно:

— Зоинька, будет еще торт и твой любимый салат, но подарок... это все, что...

— Мамочка! — Зойка поднимает руки и гладит выпирающий мамин живот. — Ну что я, маленькая?! Не понимаю разве?

Мама снова хочет погладить ее по голове, но не успевает. Папа хватает Зойку, подбрасывает вверх в самую гущу шаров и кружит по комнате:

— Большуха наша! Умница наша!

Он прижимает дочку к себе, целует и ласково говорит: «Серденько мое!» А Зойка морщится. Ей не нравится это папино «серденько». Мама говорит, что он скучает по родине, по какому-то непонятному хутору, утверждает, что его туда тянет. А Зойка не понимает, как папу может тянуть еще куда-то, когда мама и Зойка здесь. А еще ведь и братишка скоро появится. Так что папино место здесь, и никуда папу тянуть не должно. А мама смеется и объясняет, что Зойка еще маленькая и ничего не понимает. Вот и неправда! Все Зойка понимает. Она прекрасно знает, что папа вырос на каком-то далеком украинском хуторе, что растила его только мама, которая умерла, когда папе едва исполнилось шестнадцать. Папа жутко боялся попасть в детский дом, быстро продал хату каким-то дальним родственникам, которые его, конечно, надули в деньгах. Зато отвели к знакомой паспортистке, что за большую часть этих денег согласилась прибавить «бедному мальчонке» в документах два года. Так папа вместо детдома отправился прямиком в армию. И командировали его (Зойке очень нравилось слово «командировали») в маленький сибирский Зареченск, в котором кроме военной части да швейной фабрики и не было нечего. Так утверждала мама, а папа всегда с ней спорил:

— Как?! А красивые девушки? — Это он намекал на то, что во время увольнительной встретил маму

и влюбился без памяти. Это тоже было Зойке непонятно. Если без памяти, то точно должен был забыть про свой хутор. Чем ему в Зареченске плохо? Леса, поля, речка широкая, работа любимая, а еще мама и Зойка, и будущий братик, и вообще счастье. Зойке город нравится. Нравятся ямы на дорогах, лужи в этих ямах после дождя, колонка в конце улицы, в которой такая вкусная ледяная вода, коровы в поле и незабудки в лесу. Мама тоже часто мечтательно говорит: «Природа». Она любит свой городок и никуда не хочет уезжать. А папа хочет. Постоянно повторяет:

— Вот родится Митяй, и рискнем.

Поэтому в семье нет лишних денег. Все копится на пеленки и будущий переезд. Даже у Зойки вместо подарков шарики. Но она не расстраивается. Зойке нравятся шарики. И для братика ей ничего не жалко. А про переезд она старается не думать. Если думает, то только о том, что в большом городе есть какой-то там цирк, зоопарк и театры, по которым мама собирается ходить, как только Митяй пойдет в детский сад. Мама и хочет переезжать «поближе к культуре», и побаивается. Говорит: «Цивилизация портит». А еще она опасается оставлять бабушку с дедушкой. Они, правда, не одни. Есть тетя Нина, но взрослые утверждают, что она «непутевая». Зойка не понимает, что это такое. Зойке тетя Нина — младшая сестренка мамы — нравится. Она всегда веселая, ярко одетая. Поет громко, танцует — заглядишься, и молодые люди вокруг нее так и вьются. Кавалеры эти тоже хорошие. Кто конфетку Зойке даст, кто пряник, а один даже платочек подарил с кружевами. Зойка обрадовалась, а мама почему-то рассердилась. Назвала тетю Нину стрекозой, а бабушка почему-то плакала. А тетя Нина смотрела виновато и вздыхала:

— В семье не без урода.

Но, так или иначе, переезд был делом решенным. В Новосибирске папу ждало хорошее место на большом заводе, и они с мамой так часто и воодушевленно говорили о том, что начнется прекрасная жизнь, что Зойка и сама начала потихоньку верить в то, что жизнь в Зареченске не так уж хороша.

Переехали через полгода. С кучей коробок, тюков, старым котом и постоянно орущим Митькой, которому не было никакого дела до такого важного события в его жизни, как отъезд из Зареченска. А Зойка еще долго не могла решить, рада она случившемуся или нет. В Новосибирске вместо уютной родной бабули с ней сидели не слишком добрые тети, у которых на попечении было еще двадцать таких же ребят. Место неизвестно почему называлось детским садом. Деревьев на всей территории росло, наверное, штук пять, трава на газонах жухлая, а кустарники ветхие. В общем, от сада одно название. Какие леса? Какие поля? Одна цивилизация, прогресс, и никакой природы. Река, конечно, имеется. И какая! Всем рекам река. Широкая, полноводная, сильная — Обь. Только Зойке эту реку жалко. Ей бы разлиться на просторах, забурлить, зажурчать, а она стиснута каменными берегами, скована гранитными парапетами — ни нужной свободы, ни должного размаха.

Зато в городе есть много всего интересного. Цирк с клоунами и дрессированными медведями, зоопарк, в котором мартышки корчат смешные рожицы, а Зойка готова полдня стоять у клеток и дурачиться в ответ. А еще в магазинах продаются торты с розочками из крема. Мама говорит, что с бабушкиными пирогами все одно ничего не сравнится, а Зойке стыдно признаться, что вкуснее этих масляных розочек она

в жизни ничего не ела. А кинотеатры! Конечно, у Зойки и в Зареченске были диски с мультиками, но таких больших экранов она никогда не видела. И мультиков в каких-то волшебных очках не смотрела, и попкорн при этом не жевала. Да, и метро ведь! Это отдельный разговор. Метро Зойку завораживает. Шум поезда, грохот рельсов и количество народа. И все куда-то спешат, бегут. И никто друг друга не знает, никто ни с кем не здоровается. Не то что в Зареченске — каждое лицо знакомое. Вот бы сюда Таньку Громушкину — Зойкину подружку. Она бы спустилась с одной стороны платформы, а Зойка с другой. И они бы увидели друг друга издалека, и завизжали бы, и замаха-ли бы руками, и бросились бы навстречу друг другу. И начали бы обниматься, и целоваться, и прыгать от радостной встречи. А все бы уставились на них и удив-лялись: «Ну надо же! В таком огромном метро встре-тить знакомого».

Распластанная на полу Зойка попыталась ше-вельнуть рукой и помахать ею старой подружке. Надо же, кого вспомнила! Таньку Громушкину. Де-сять лет не вспоминала, а вот поди ж ты, нахлыну-ло. И где она сейчас? Живет себе, наверное, в Заре-ченске, школу заканчивает. Это только Зойка под батареей валяется, а другие живут человеческой жизнью и не интересуются неустроенной судьбой своих бывших подруг. Зойка пытается ухмыльнуться. И чего она взъелась на Громушкину? Той ведь тоже было пять, когда их с Зойкой жизнь развела. Она-то чем виновата в Зойкиных злключениях? Просто за компанию со всем остальным миром? Ну, за компа-нию можно.

Под открытым окном фыркает чей-то автомобиль. Зойка хмурится и силится перевернуться. Встать бы

и закрыть фрамугу. Комната вымерзла, никакая батарея не спасает. Автомобиль снова фыркает и протяжно гудит. Зойка из последних сил зажимает руками уши. Она ненавидит машины. Особенно эти клаксоны, что ассоциируются у нее только с одним словом: «Конец!»

Зойка тогда ничего не успела понять, она даже не испугалась и не зажмурилась. Она будто со стороны услышала, как закричала мама, а папа отчетливо и как-то, как она потом вспоминала, безучастно произнес: «Это конец!» Митяй не сказал ничего. Он спал. Так и остался спать в своем детском кресле, только уже навсегда. Их зажало в искореженном грузовиком «жигуленке» — родителей и братика. А Зойку выбросило. Две царапины на ноге и ссадина на щеке — вот и все физические увечья. С моральным, конечно, сложнее. Зойка молчала полгода. К ней водили каких-то странных людей, которые показывали картинки, просили что-то нарисовать, о чем-то рассказать, ласково гладили по голове и утверждали, что они ее понимают. А Зойка хотела только одного: чтобы все они раз и навсегда исчезли и перестали ее доносить своим пониманием, в котором они не могли смыслить ровным счетом ничего. Семилетний ребенок один-одинешенек, и эти взрослые с картинками и ласковыми речами. Взрослых водили врачи. А врачей, наверное, просила бабушка. Во всяком случае, каждый раз, когда в Зойкину палату заходил очередной психолог, бабушкин потухший взгляд оживлялся надеждой, и Зойке было даже неловко, что она не может оправдать этих надежд.

Зойка заговорила, когда однажды бабушка не пришла. Так и спросила:

— А где бабушка?

— Приболела, — и глазом не моргнув, ответила медсестра. — Не переживай, придет скоро. Ты только не молчи больше.

И Зойка молчать перестала, пошла на поправку. Только бабушка все не шла. Неделю не приходила, две. А на третью Зойку одели в какое-то чужое платье, вывели из палаты и поставили перед совершенно незнакомой женщиной.

— Здравствуй, Зоя. — Она приветливо улыбнулась и протянула руку. — Меня зовут Инга Константиновна.

— Угу. А где моя бабушка?

— Зоинька, твоя бабушка пока не может тебя забрать, поэтому ты какое-то время поживешь с нами.

— С вами?

— Ну да. Со мной, с другими воспитателями и ребятами.

— Ребятами?

— Ну да. В детском доме. Не волнуйся, тебе у нас понравится.

— Не понравится.

— Зря ты так думаешь. — Женщина взяла Зойку за руку и уверенно повела к выходу из больницы. — У нас прекрасный коллектив. Дети... — Зойка послушно плелась рядом. Она не слушала, что ей говорила Инга Константиновна. Она думала о том, что папа так боялся попасть в детский дом, что даже сбежал с родного хутора. А куда бежать ей — Зойке? Ей даже не шестнадцать, а только семь, и нет никаких сил выдернуть свою ладошку из сухой, крепкой руки незнакомой тети, что ведет за собой и говорит, говорит, говорит какую-то ерунду о том, какая замечательная жизнь ждет Зоиньку в детском доме.

И началась эта прекрасная жизнь.

— Зоя, ну что ты все стоишь у окна? Дует, простудишься.

— Я бабушку жду.

— Зоя, иди сказку слушать. Сейчас «Снежную королеву» будем читать.

— Не хочу. Я ее наизусть знаю. Мне ее мама часто читала.

— Ну так, может быть, ты сама расскажешь или считаешь?

— Нет!

— Отказываешься, потому что не умеешь читать. Давай с тобой будем учиться.

— Меня бабушка научит, когда поправится.

— Зоя, тебе в сентябре в школу. У нас все детки, которые идут в школу, уже умеют читать.

— А я не пойду в вашу школу!

— Это почему же?

— Я в Зареченске пойду. Мы туда с бабушкой поедем. И будем там жить с дедушкой.

— С дедушкой? — Зойка, конечно, не могла уловить замешательства в голосе воспитательницы.

— Да. У него там знаете, какое хозяйство? Он потому и не приезжает за мной, что не может все это оставить. Коровы, козы, поросята, дом большой, а еще сад, огород. Знаете, как мы там жить хорошо станем! И не пойду я в эту вашу школу! В зареченскую буду ходить вместе с Танькой.

— С какой Танькой? — Воспитательница с опаской оглянулась на тихоню Таню Ивлеву, что в сторонке заплетала косы одноглазой кукле.

— С Громушкиной.

— А... — с облегчением вздохнула наставница. — Ну хорошо.

— Зоя, почему ты не пьешь компот? Он сладкий.

— Это гадость!

— Зоя, так нельзя говорить. Повара работают, стараются.

— А моя бабушка в таких случаях говорила: «Это ж каким местом надо стряпать, чтобы такое дерьмо получилось!»

— Зоя!

— Компот — дрянь. Я его пить не буду.

— Сама ты хорошая дрянь.

— Я на вас бабушке пожелаю.

— Зоинька, — Инга Константиновна, заведующая детдомом, заглянула в комнату, — пойдём со мной. К тебе там пришли.

— Бабушка! — Зойка побежала сломя голову. — Нина?! — В кабинете заведующей сидела тетка. По-прежнему яркая, красивая, модная. Зубы у Нины белые, щеки румяные, юбка короткая, туфли на шпильке. Волосы собраны в конский хвост, руки прижаты к груди:

— Зойка! Какая ты худенькая!

— Так ведь не ест ничего, — сокрушенно заметила Инга Константиновна, — вы хоть скажите ей!

— Ниночка, — Зойка уткнулась лицом в теткины колени, обхватила их руками, — я теперь буду кушать, обещаю. Вот вернемся в Зареченск, я сразу целого поросенка съем, договорились? Мне собираться, да? Я мигом, хорошо? Инга Константиновна, там мой мишка из больницы очень Саше Звонцевой нравится, так я ей оставляю, хорошо? Ниночка, мне и собираться не надо. Можем уже идти. До свидания, Инга Константиновна. Меня, наверное, бабушка с дедушкой заждались. Они ведь старенькие, им ехать тяжело.

Тем более бабушка болеет. Вот они тебя и прислали, Ниночка, правда?

— Зой, — Нина отвела глаза, — я тебе тут чемоданы привезла.

— Какие чемоданы? Зачем? — Зойка почти хохотала в голос. Она была счастлива. Она уезжает. Она спешит домой к родным, она приплясывает от нетерпения.

— С тряпьем твоим. Платья вот, брюки, бельишко. В общем, все, что нашла в доме, то и сложила.

— Хорошо. Не голой же мне в Зареченске ходить, а новое вам, наверное, накладно покупать. Нин, я все понимаю. Я буду старое носить, пока до дыр не протрется. Я аккуратню буду, только бы расти помедленнее. Ну, поехали уже, поехали.

— Зой, — Нина затеребила край своей юбки, — мы не поедем никуда.

— Почему? — Улыбка все еще сияла на Зойкином лице. — Там же хозяйство, дедушка.

— Зой, дедушка как про маму твою узнал, так и помер. У поросят стоял, там и свалился прямо в очистки картофельные. А бабушку нашу парализовало. Сидела она в твоей палате, сидела, надеялась, надеялась. А ты уперлась бараном и молчишь, вот и довела старушку до инсульта.

— Да что вы такое говорите?! — Инга Константиновна подскочила к Нине. Ее всегда спокойное лицо пылало от гнева, ноздри раздувались совсем как у любимой дедушкиной кобылы Красули.

— Нин! — Зойка в каком-то ступоре не обратила внимания на обвинения тетки. — А Красуля где?

— Какая еще красуля?

— Лошадь.

— Я почему знаю, какая из них красуля, какая нет. По мне так они все на одну морду. Продала я хозяйство и дом. На кой мне все это. Я тоже хочу в городе пошиковать.

— Значит, мы тут остаемся? — Зойка снова улыбнулась. Не так широко, как минуты назад, но все так же радостно. — Ну и хорошо. Я уже тут привыкла. С тобой и с бабушкой вообще легко будет.

— Зой, ты остаешься тут, то есть в детдоме. Так будет гораздо лучше для всех.

Зойка затряслась. Плечи заходили ходуном, колени задрожали, из глаз хлынули потоки слез.

— Ниночка, для меня нет! Я не хочу здесь! Я домой хочу! Я с тобой хочу! Я к бабушке хочу!

— Зоя, бабушка в больнице. А когда немного оправится, если оправится, поедет в специальный пансионат для таких, как она, и будет там жить.

— Почему там? Почему не с тобой?

— Она лежит все время, а мне работать надо.

— Так и работай себе, а я за бабушкой стану ухаживать.

Нина запрокинула голову и громко захохотала:

— Ой, не могу! За бабушкой ухаживать она будет! Кто ж тебе даст-то?

— Ниночка, ты только забери меня, а мы уж справимся как-нибудь.

Нина ухмыльнулась. На мгновение в ее озорном, каком-то бесовском взгляде мелькнуло нечто похожее на жалость, но это была всего лишь секунда. В следующую тетя уже качала головой и отвечала:

— Не могу, Зоинька, не могу.

— Ниночка, но я прошу тебя!

— Зой, хватит верещать! Сказано тебе, не могу!

— Зоя! — Инга Константиновна положила свою руку на плечо девочке и сжала его с сочувствием. — Нина сейчас не может, но если у нее поменяются обстоятельства, то она сразу тебя заберет, правда, Нина? — спросила с нажимом заведующая.

— Ну это само собой, — тетка беспечно пожала плечами, — коли поменяются, так я напрямиком разбежусь и заберу племяшку.

— Вот и договорились, — с металлом в голосе произнесла Инга Константиновна. — А сейчас, Зоинька, твоей тете пора идти.

— Ниночка, — Зоя рванулась и вцепилась в красивые теткинны ноги.

— Что ты, дуреха, чулки порвешь!

— Не бросай меня, ладно? Ты только приходи, обещаешь?

— Да приду, приду, пусти, окаянная!

Нина пришла потом один раз, принесла Зойке пряник и сообщение о смерти бабушки. Посидела минут пять, покачала своими красивыми ногами, посверкала белозубой улыбкой и была такова. Зойка потом еще долго рассказывала, что скоро придет ее тетка и заберет к себе жить, пока одна не слишком сердобольная нянечка не осадила ее:

— Не придет твоя тетка. Сдалась ты ей, проститутке! Она хату заимела приличную клиентов водить — и рада. Еще и без квартиры тебя, девка, оставит, помняи мое слово.

— Саш, а кто такая проститутка? — шепотом спросила Зойка подружку ночью в спальне.

— Не знаю, но мне помнится, так папка мамку называл, перед тем как стукнуть.

— Что-то плохое, наверное.

— Да уж точно не хорошее. Надо у старших спросить.

Старшие быстро разъяснили Зойке, что к чему. Девочка решила уточнить и другие неясности:

— А почему она меня без квартиры оставить может?

— Квартира родительская по документам твоя, а по закону тетка, наверное, твой опекун до восемнадцати, а значит, может какую-нибудь сделку проверить и тебя не спросить.

— Так не положено ведь. — Реплика кого-то из старших.

— А кого это останавливало, когда речь о трешке идет. Там подмазал, тут подъехал. Тем более она, если что, и натурой оплатить может. — И старшие звонко и зло расхохотались. Смех над несправедливостью жизни. Отчаянный смех, больной и справедливый. Ведь как говорили, так и вышло. Нет ничего у Зойки. Ни кола, ни двора, ни управы на беззаконие.

Так Зойку предали в первый раз. Если бы в последний.

— Вот наша Зоя. — Инга Константиновна крепко держит Зоину ладошку, потом неожиданно отпускает и легонько подталкивает девочку к паре сидящих в кабинете людей.

— Здравствуй. — Немолодая женщина кивает Зое и заметно смущается. Она все время теребит ремешок сумки и смешно ерзает на стуле. Женщина почему-то кажется Зое несимпатичной. Ее тонкие губы сжаты в узкую линию, взгляд бегаёт по кабинету. Лоб наморщен. И вся она какая-то напряженная, зажатая, неестественная.

— Зоя. Хм. — Это хмыкает сидящий в кресле мужчина, которого до этого Зойка даже и не заметила. Странно. Ведь мужчина большой. Он с трудом помещается в кресле, просто тонет в нем. Ему неудобно, и лицо его выражает страдание.

— Зоя, значит. — Мужчина кривится и поворачивает голову к тонкогубой особе: — Как тебе Мила?

— Ты имеешь в виду Людочка? Да, по-моему, ей подойдет.

— Извините, — Инга Константиновна снова оказывается рядом с воспитанницей, — кажется, мы с вами не обсуждали возможность перемены имени. Это восьмилетний человек, а не восьмимесячный младенец.

— Имена и в двадцать меняют, — еще больше надувается мужчина.

— Да, но по собственному желанию, — настаивает заведующая.

— Инга Константиновна, дорогая, — стул скрипит, а дама ележно улыбается, — никто не будет ничего предпринимать против Зоиной воли.

— Я надеюсь. Зоя, это Тамара Петровна и Игорь Леонидович. Они хотят с тобой познакомиться, поговорить. Может быть, на улице? Там погода хорошая.

Зое помогают одеться, и она выходит с парой незнакомцев в сад. Усаживаются на скамейку, неловко молчат. Тонкие губы разжимаются и произносят в воздух:

— Весна.

— Да, — пыхтит дядька, занимающий полскамейки.

— Ты любишь весну? — спрашивают Зою.

— Нет! — Ответ звучит слишком резко.

— Почему? Такое замечательное время. Природа оживает, птички поют. А Восьмое марта? Такой чудесный праздник! Столько цветов. Ты не любишь цветы?

— Нет! — Зойка вскакивает и убегает в корпус. Она не желает больше видеть этих людей никогда. Мама, папа и Митяй разбились Восьмого марта. Они ехали в кафе.

— Мимозы! — закричала мама, показывая рукой на рыночек справа. Папа слишком резко выкрутил руль, машина дернулась вправо, скользнула на лед, закружилась и вылетела на встречную полосу.

Зоя ненавидит цветы. А от мимозы ее тошнит. И от этой парочки теперь тоже тошнить будет. Однако через несколько дней Тамара Петровна и Игорь Леонидович появляются снова. Они чувствуют себя виноватыми перед крошкой и теперь желают во что бы то ни стало «наладить отношения». Встреча проходит немного лучше. Они интересуются Зойкиной учебой, спрашивают о друзьях и жизни в детдоме. Зойка не слишком охотно, но отвечает. На прощание получает пушистого зайца и обещание скоро увидеться.

— Как тебе новые родители? — интересуются вечером девчонки.

— Кто? — Зойка не понимает. Разве родителей может быть много?

— Ну, эти, которые к тебе приходят. Они же тебя забрать хотят.

— С чего это вы взяли?

— А чего они ходят? Ясное дело, дочку хотят получить. У самих не получается, вот и берут государственных.

— Меня же тетка опекает.

— Я тебя умоляю. Твоя тетка давно уже свою выгоду получила и отказ состряпала. А если раньше не состряпала, так теперь попросили.

— Зачем еще?

— Затем, что ты — идеальный вариант для усыновления.

— Почему?

— Благополучная. Дитя нормальных родителей. Не алкашей, не наркоманов, не ворюг. На тебя очередь, наверное, стоит.

— Скажете тоже. Не пойду я к ним.

— Ну и дура. Такой шанс, а ты нос воротишь! Не ерепенилась бы, присмотрелась.

И Зойка начала присматриваться. А что? Нормальные, в общем, люди. Не хуже других. Не слишком приятные внешне, но Инга Константиновна правильно сказала, что с лица воду не пить. Заведующая и намеками, и увещеваниями, и прямым текстом уверяла Зою в том, что «от такого счастья отказываться нельзя».

— Второго шанса может и не быть, Зоя. А в семье все лучше, чем в детдоме.

— Мне и здесь неплохо. — Зоя не лукавила. Никаких ужасов, которые она себе навывдумывала в первые дни, не случилось. То ли коллектив был хороший, как учителей, так и воспитанников, то ли времена изменились и казенные учреждения начали приобретать человеческие лица, то ли просто повезло. Во всяком случае, жаловаться было особо не на что. К Зое все хорошо относились, появилось и несколько более близких подруг, с которыми можно было и посекретничать по ночам, и похохотать, и даже поделиться последней конфетой.

Кормили в детдоме хорошо, сытно, но сладости, конечно, перепалили редко. Не потому, что дорого, —

не полезно. А некоторых ребят все-таки навещали родственники, и они не прятали гостинцы в тумбочку, а щедро делились с друзьями, к которым никто не приезжал. Зойке нравились будни детского дома: тихие, размеренные, уравновешенные. Некоторая суэта по утрам, когда старшие собираются в школу, а младшие вьются под ногами, сменялась дневной маетой (школьники сидят за учебниками, малыши лепят, рисуют, читают), а потом и вечерней приятцей: хочешь — телик смотри, хочешь — в книжку гляди, хочешь — болтай, хочешь — играй. А Зоя любила танцевать. Включали на пару с подругой в спальне старенький магнитофон и ломались под попу.

— Эх, Зойка, тебе бы в кружок какой-нибудь, вот талант бы расцвел, — сокрушались нянечки, глядя на Зоины кривляния.

Они не льстили. Девочка на самом деле была очень музыкальна и обладала отменной зрительной памятью. Она легко повторяла движения, увиденные в клипах, и делала это настолько уверенно и пластично, что человек несведущий мог с легкостью подумать, что перед ним девочка, что занимается танцами не один год. О Зоинем увлечении знали все. Его и использовали в качестве аргумента.

— Будешь жить в семье — сможешь заниматься тем, к чему лежит душа. Сама ведь знаешь — у нас только хор и лепка, а педагога по ритмике нет, — убеждала Зою заведующая.

Зоя и сама колебалась. Претенденты в родители были внимательны, обходительны, предупредительны. Приходили каждую неделю, приносили игрушки, конфеты, книги, интересовались школьной жизнью. Как-то Игорь Леонидович помог с задачей по математике, а Тамара Петровна выбрала стихотворение для

литературного конкурса и долго репетировала с Зоей «правильную интонацию». Зоя, как любой ребенок, потихоньку оттаивала. Сама не заметила, как начала ждать этих визитов, а потом не хотела, чтобы они заканчивались, и считала дни от встречи до встречи, а затем уж мечтала, чтобы встречи никогда не кончались. И тогда Инга Константиновна сказала:

— По-моему, ты готова.

Уходила торопливо, боясь оглянуться. Знала — за окном второго этажа стоит закадычная подруга Сашка и обливается слезами. Так зачем Зое оборачиваться? Чтобы показывать Сашке свое сияющее лицо? Папа нес Зоин чемоданчик с нехитрыми пожитками, мама крепко держала девочку за руку, а сама она скакала между родителями вприпрыжку и сыпала вопросами:

— А я смогу пойти на танцы?

— А собаку мы заведем?

— А в цирк когда пойдем? Мои родители очень любили цирк. Ой... То есть мои настоящие родители. Ой... То есть.. старые. Хотя не старые, а ну вы поняли. А вам цирк нравится?

— А когда можно будет Сашку в гости позвать? Она уже спит и видит, как ко мне зайвится. Уж очень ей охота мою отдельную комнату посмотреть. Это я привычная. У меня ведь была уже отдельная комната. Одна у меня, другая у Митяя, а третья у родителей. Ой... То есть у мамы с папой. Ой... Ну вы поняли.

И на все ее беспечные вопросы и заявления новый папа отвечал лишь коротким и непонятным «хм». Зойка восприняла это как знак безусловного согласия, но на деле все оказалось совсем не так. Собак, и тем более кошек, держат «одни засранцы. От зверей столько грязи, что век не отмоешься. А еще аллергия, глисты, чесотка и токсоплазмоз!»

— Что? — Последнее слово Зойке было непонятно.

— Болезнь жуткая.

Болезнь, да еще и жутко, конечно, не хотелось, но дети, выгуливающие собак и глядящие кошек, выглядели вполне здоровыми. Зойка им молча завидовала, родители не признавали дома даже рыбок. Впрочем, не только дома. В цирке страшно воняло, а клоуны «демонстрировали дурацкие интермедии». Зойка решила, что последнее — это что-то совсем неприличное. И хотя из своей прошлой жизни ничего такого о цирке не помнила, но и туда проситься перестала. В зоопарке тоже «было нечего делать», с Сашкой «следовало прекратить якшаться», а танцы было «необходимо срочно выкинуть из головы».

— Танцуют одни проститутки, — уверенно заявила мама.

Значение этого слова Зойке объяснять не потребовалось. Угроза была страшная и подействовала. Но можно не ходить на занятия, труднее перестать о них грезить. Тем более когда каждый день ходишь из школы мимо танцевального зала, а там за стеклом твои ровесницы выписывают такие пируэты, что ты всташь как вкопанная и стоишь битый час, позабыв обо всем на свете. А куда торопиться? Слушать отповеди?

— Отсутствие пунктуальности говорит о полнейшей безответственности человека перед другими индивидуумами и перед обществом. — Папа назидательно поднимал указательный палец. — Сегодня ты не пришла вовремя к назначенному часу, а завтра твое опоздание может вылиться во вселенскую катастрофу.

— Теперь лишние полчаса будешь сидеть за уроками, — вступала монотонным голосом мама. — И что нам теперь останется на прогулку?

А хоть бы и ничего не осталось. Зойка ненавидела эти прогулки. Ни пробежаться, ни повизжать, ни на качелях покататься, ни с горки съехать. Чинно ходить по дорожке под ручку с родителями, а иначе грязная одежда, простуда или, того хуже, травма. После прогулки шли ужинать: котлетки паровые, такие же овощи. На гарнир гречка, опять гречка и снова гречка.

— Питание должно быть здоровым, — провозглашала мама.

— Но ведь вкусным оно тоже может быть, — робко пищала Зойка.

— Хочешь сказать, я невкусно готовлю? — хмурилась мама.

Зойка хотела, но не говорила. По правде, даже в столовке детского дома кормили гораздо лучше. Зойка бы душу отдала за щедро политые маслом макароны или булочку с маком. А компот! Какой, оказывается, вкусный был там компот. Родители не признавали ничего, кроме воды. В исключительных случаях травяной чай в качестве успокаивающего.

— Все остальное портит цвет лица и поднимает сахар крови, — изрекал папа.

А Зойка вспоминала прошлое. Ее настоящие родители так не считали. Она помнила, как папа по выходным пританцовывал возле плиты, на которой в турке дымился свежесваренный кофе. Она помнила его ароматный запах и заспанное, но счастливое лицо мамы, когда ей приносили чашку «этой отравы» в постель. И цвет лица у мамы, кстати, всегда был прекрасным. Во всяком случае, гораздо лучше, чем у Тamarы Петровны.

Скучная пошла жизнь у Зойки. Сиди дома да уроки учи.

— Я уже все выучила.

— Почитай книгу.

Читать Зойка любила. Любила веселые книжки про приключения своих ровесников или сказки, но такую литературу в новом доме не признавали.

— Сказки — это абсолютное зло, заставляющее человека верить в иллюзию и ждать чуда.

— А разве плохо ждать чуда?

— Конечно! Нет ничего хуже несбывшейся надежды. Все хотят быть Золушками и Прекрасными принцами, а желать надо реальных вещей. Витание в облаках никогда до добра не доводило.

Зойка не перечила, думала только: «А мама всегда говорила, что папа — ее Прекрасный принц».

Читать ей предлагалось газеты, поэзию и научно-популярную литературу. Позволялось также интересоваться историей. Зойка, возможно, и заинтересовалась бы, если бы о подвигах Александра Македонского или о философии Конфуция прочитала в книгах, предназначенных для ее возраста, но текст, написанный сухим научным языком, наводил на ребенка понятную тоску. Тосковала Зойка и над стихами Цветаевой, Пастернака и Блока. А кто не затоскует в десять-то лет.

Девочка уныло вспоминала вечера в детдоме. Можно было смотреть телик, или играть в настольные игры (этого родители тоже не признавали, считали, что «любая игра развивает азарт и к добру не приводит»), или зачитываться историями Носова и Драгунского, или просто болтать с подружкой.

Единственным развлечением в новой семье были походы в консерваторию. Хотя и это больше походило на рутину. Непременно каждую пятницу, вне зависимости от репертуара. Папа надевал один и тот же костюм, мама одно и то же черное платье с кру-

жевым воротничком, Зойке вплетали в косы ненавистные белые банты (все девчонки давно с резинками ходят, одна она с ленточками, как какой-то урод) и отпраплялись «питаться искусством». Папа кивал в такт музыке, мама сидела с блаженной улыбкой, Зойка всеми силами пыталась не заснуть. Она знала, что «интеллигентные люди обязаны восхищаться классической музыкой и ценить ее». Но знать — не значит любить. Любят сразу, искренне, с первого взгляда.

— Вкус можно развить, — вздыхала мама, глядя на потяжелевшие Зойкины веки. Но ничего не получалось.

— Не знаю, что с ней делать! — всплеснула руками мама, когда Зойка всхрапнула на очередном концерте.

— А что тут сделаешь? — горько усмехнулся папа. — Детдом.

Зойке было и стыдно, и неприятно, и обидно. Она не оправдывала ожиданий, она не подходила. А еще она никак не могла заставить себя полюбить этих странных людей. Вот прямо как классическую музыку, которая казалась ей чужой и далекой. И также они. Будто вылеплены из другого теста. И зачем им только понадобилась она — Зойка? Однажды набралась храбрости и спросила. А в ответ:

— Я и сама теперь не знаю, — призналась мама. — Как-то так вышло.

— Да уж, — надул и без того толстые губы папа.

Зойку не любили, не хотели, не принимали. Сдать назад не позволяла проклятая интеллигентность, приласкать — природная сухость, а полюбить... А никто и не обязан любить чужого ребенка, если не считает его своим. Зойка своей не стала. Ее не прогоняли, ей не грубили, ее не наказывали. Ее терпели. Терпели

с трудом и кислым выражением лица. А Зойка терпеть устала. Она ушла первой.

— Заберите меня обратно, — попросила Ингу Константиновну и зарыдала громко, истошно, открыто. И такое наступило облегчение, такая благодать. Все два года своей приемной жизни Зойка плакала часто, но тихо, в подушку, чтобы только не услышали, не пришли, не стали отчитывать, закатывать глаза и поднимать вверх пальцы и вздыхать понимающе: «Детдом».

Назад Зойку оформили без проволочек. Новые родители навсегда исчезли из ее жизни так же внезапно, как и появились. И никаких слов на прощание, и никаких просьб о прощении. Ошиблись люди. Бывает. А ребенок? Ну, что ребенок — переживет как-нибудь.

Зойка скорее радовалась, чем грустила. Жизнь снова наполнилась красками: вкусным обедом, смехом друзей, играми, представлениями, мечтами. А главная даже сбылась. Заведующая всегда испытывала к Зойке особое расположение, и желание девочки заниматься танцами не оставило ее равнодушной.

— Рядом открылась студия, там согласны тебя посмотреть. Если обнаружат задатки, будут заниматься бесплатно.

Задатки обнаружили сразу. Еще через полгода сказали, что речь идет о безусловном таланте, а через год отправили на областной конкурс.

— Девочку надо ставить в пару, — безапелляционно заявила руководитель студии после Зойкиной уверенной победы в сольной номинации. — С ее уровнем можно дойти до вершин.

А где ее найти, эту пару? Обеспеченные и родители, и деньгами за партнера бьются. Они в дефиците: редкий, почти вымирающий вид. Девочек, желающих

танцевать, гораздо больше, чем мальчиков. А последних с желанием да с талантом — по пальцам пересчитать. Их всех до Зойки разобрали и держат. И будь она хоть сто раз перспективнее, найти того, кто согласится уйти от партнерши, родители которой оплачивают костюмы, тренировки и конкурсные взносы, практически невозможно. Ведь придется принять все расходы на себя. С сироты-то взять нечего.

Но Инга Константиновна обещала что-нибудь придумать, и Зойка поверила, что у заведующей получится. У той всегда все получалось. Впрочем, сильно о партнере она не мечтала. Ей было достаточно репетиций, стука каблучков по паркету, легкого кружения и чувства ритма. Зойка жила сегодняшним днем и тихо радовалась тому, что в ее жизни кроме детдома появилось что-то еще. И это были не только танцы...

Зойка с трудом отползла от батареи. Теперь все тело горело. Жаром сводило каждый мускул. Она облизала пересохшие губы и, оперевшись на кушетку, подняла на нее свое измотанное тельце. Непослушными руками собрала разбросанные вещи. Кое-как натянула на себя выдавшие виды штаны и растянутый свитер, нахлобучила шапку с оторванным помпоном, завернулась в огромную куртку (спасибо дядьке, что подвозил ее два месяца назад и не заметил, что вместе с пассажиркой сделал ноги и его новенький пуховик).

Зойка встала на ноги и поморщилась. Надо как-то добраться до двери. Ее мутило. Казалось, сделает шаг и рухнет. Но нет — устояла. Еще один — и снова стоит. Пожалуй, в таком темпе можно передвигаться. Последнее усилие — обувь. Хорошо, что валенки. Никаких тебе молний, шнурков, липучек. И тепло опять же, хоть и до первой ямы. Валенки валенками, да мок-

нут без галош. Зойка, пополневшая в своем одеянии размера на три, шаркая валенками, вернулась к кушетке и неловко подхватила лежащий там сверток. Посмотрела на него без особого интереса, повертела перед собой, раздумывая, как бы примостить поудобнее. Наконец прислонила к левому плечу, прочно обхватив правой рукой. С сомнением оценила поклажу, стянула с кушетки старое покрывало, обернула сверток от греха подальше. Замерзнет еще.

До дороги было всего ничего — метров сто. Но Зойке и они казались огромным расстоянием. Она не дошла — доковыляла и вытянула дрожащую руку. Кому вытягивать? Много ли бомбил в три часа ночи, да еще и на задворках города. Но повезло.

Минут через десять вдалеке показались тусклые фары. Старенькие «Жигули» остановились возле девушки, едва не обдав ее густой дорожной жижей. Зойка только и смогла, что прислониться лбом к стеклу. Водитель замахал руками, начал что-то орать из-за стекла. Ясное дело — решил, что обдолбанная. Но дать по газам побоялся. Еще упадет на дорогу, а там переедет кто-нибудь. Неохота грех на душу брать. Вышел из машины, подскочил к Зойке.

— Мать твою... — но осекся, увидев сверток. Открыл заднюю дверь, усадил в машину. — На Садовую тебе?

Зойка только плечами пожала. Ей-то откуда знать. Дядька вроде понятливый попался. Отвезет куда надо. А где это самое «надо» — на Садовой или на Лесной — разницы нет.

— Родители твои где? — стал допытываться водитель. Зойке с заднего сиденья было не разглядеть, любопытничает или переживает. А не все ли равно. Отозвалась:

— Померли.

— Извини. А другие родственники или опекуны там какие имеются?

— Все переимелись, — ослабилась Зойка и прикрыла глаза. Как ни старалась, снова провалиться в забытие не получалось. Такая короткая и уже казавшаяся нескончаемой жизнь мелькала перед глазами, как фонари за окнами «жигуленка».

Инга Константиновна Зойку всегда выделяла среди воспитанников, а уж после неудавшегося усыновления и вовсе стала проявлять особенную заботу. Глядя на Зойку, заведующая как нельзя лучше ощущала несправедливость жизни и постоянно думала о том, что «этой не место в детдоме». Конечно, никто из детей не заслуживает сиротской жизни, общих игрушек и слова «мама», звучащего только в песенках и стихах. Но все же одним детдомовская судьба оказалась предопределена по рождению. Родители алкоголики, наркоманы, преступники. В общем, гены, которые обмануть сложно. А тут все должно было сложиться по-другому. Судьба — злодейка, иначе и не скажешь. И за что она выбрала эту девочку? И умненькая, и симпатичная, и музыкальная. Танцует вон как хорошо. По возможности Инга Константиновна сама провожала Зойку на занятия и возила на конкурсы. Обычно детдомовская ребятня обходилась без провожатых. Зойке было неловко.

— Что тут идти, всего-то за угол завернуть, — бухтела девочка, но ей было приятно. Инга Константиновна Зойке нравилась. Нравилась всем: тихим голосом, величавой статью, пронизательным взглядом из-под густых ресниц, которым прожигала провинившегося воспитанника. И ведь ни крика, ни слова упрека, один

только взгляд, а боялись его, трепетали перед ним, как перед самым страшным наказанием. А еще Зойке нравилось, как вдруг такая умная, уверенная в себе заведующая неожиданно терялась и начинала оправдываться перед Зойкой:

— Да мне все одно по пути. Чего поодиночке топтать, когда можно вдвоем?

И Зойка соглашалась. Соглашалась с удовольствием. Она любила эти прогулки. Пусть и короткие, пусть до угла, а сколько всего сказанного: и о хорошем кино, и о поэзии, и о будущем непременно светлом, и о танцах, и о книгах. А несказанного еще больше.

А однажды Зойкины занятия перенесли на воскресенье. Выйдя из класса, она увидела заведующую.

— Шла мимо из магазина, решила тебя навестить. Знаешь, дружок, пойдём-ка ко мне в гости. У меня сегодня щи.

Щи Зойка терпеть не могла, но перед приглашением не устояла. Да и как можно. Только пискнула нерешительно:

— А не помешаю?

Мешать было некому. Жила Инга Константиновна одна. Квартира однокомнатная, но большая и уютная. Кухня метров пятнадцать с объемным холодильником, деревянной мебелью и чудными цветными баночками и бутылочками с навеки засунутыми в них яркими, радующими глаз овощами. В комнате, похожей на танцзал, кожаная мебель, японский телевизор, книжный шкаф, уставленный собраниями сочинений, и буфет с непременно чешским хрусталем. Ванная уставлена тюбиками, флаконами и склянками. Одни тапочки, один халат. На полке в гостиной только одна фотография. Со снимка приветливо улыбались пожилые мужчина и женщина.

— Родители, — пояснила хозяйка квартиры, заметив Зойкин интерес. — Папа был директором школы, мама — учитель музыки. Так что моя судьба оказалась предопределена.

— Почему?

— Повторяю родительскую профессию.

— Это вовсе не обязательно. Мои родители танцевать не умели.

— Конечно, бывает по-разному. — И Инга Константиновна погладила Зойку по голове. Зойка замерла и улыбнулась.

С каждым днем этих прикосновений и улыбок (сначала робких, зажатых, неуверенных, а потом и открытых, широких, искренних) становилось все больше. Зойка уже ждала, когда заведующая позовет ее в гости, а та делала это чаще и чаще. Они пили чай, болтали, гуляли. Бывало, Инга Константиновна смотрит на часы и говорит с притворным испугом:

— Ох и засиделись мы с тобой. И что теперь будет? На улице темно и страшно.

— Не зна-а-ю, — хитро отвечала Зойка.

— Придется тебе на раскладушке постелить.

И Зойка ночевала у заведующей. Ночевки в выходные становились частыми, а затем и вовсе регулярными. Девочки в детдоме открыто говорили Зойке о том, что заведующая скоро заберет ее к себе. Зойка отмахивалась, но втайне, конечно, мечтала об этом. Про себя она уже называла Ингу мамой. Как хорошо, если бы у нее была такая мама! Как было бы здорово, если бы у такой мамы была она — Зойка. У мамы умной, доброй, красивой и очень-очень одинокой. Ведь нет никого и ничего, кроме работы. Одна фотокарточка на полке.

Зойкины визиты продолжались больше года. Девчонки поджужживали.

— И чего тянет?

— Вот скоро решится, и заживешь, Зойка, королевишной.

— Вышку, небось, получишь.

— Ага, и сюда работать воспиталкой.

— А потом и заведующей станет.

— Да пошли вы!

— Да не дуйся, Зой. Счастье же привалило.

— Чего обижаться-то? Вот вернется Инга из области, точно заберет тебя. Поди там соскучится. Ох, как все изменится, Зойка.

Из области, куда ездила на какой-то съезд, Инга Константиновна действительно вернулась изменившейся. По-прежнему была приветлива, ласкова, гладила по голове и обнимала, но домой не звала. Сначала отмалчивалась, потом начала оправдываться:

— Понимаешь, Зой, дела у меня. Я в область все время мотаюсь. Ну не ездить же тебе со мной.

«Ездить. И в область. И к черту на кулички! И на край света!»

— Ты взрослая девочка, должна понимать.

— Я понимаю, — отвечала Зойка и ничего не понимала.

— Да что ж тут непонятного?! — удивлялись девчонки. — Хахаля завела, к нему и мотается. Ясное дело.

— Она сказала, работа.

— Да какая работа в выходные?! Она тебе яснее ясного сказала: «Взрослая девочка, должна понимать».

Зойка сначала отмалчивалась и тихо плакала в подушку, потом бросалась на обидчиц с кулаками. Еще топала ногами и кричала, что Инга Константиновна заберет ее, и тогда все они заткнутся. Инга Констан-

тиновна забрала. Свою трудовую книжку из детского дома. Она вышла замуж и переехала к мужу в область. Все заткнулись. Жалели. Но было ли Зойке от этого легче? Она слышала шушуканья за спиной, и не только от девчонок, но и от воспитательниц:

- Поматросила и бросила.
- Прикормила кутенка...
- Заморочила девке голову.

Голова была холодной и трезвой. Все-таки Зойке уже исполнилось тринадцать. Розовая пелена с глаз упала, мир предстал во всей своей циничности, жестокости и несправедливости. И как жить в этом мире без холодной головы и трезвого расчета? Но сердце... Сердце было горячим. Оно ныло, тосковало, обижалось, негодовало, болело. И всю эту боль, весь свой надрыв, всю опустошенность Зойка передавала через танец. Ее движения стали еще более пластичными. Ее руки, ноги, бедра, плечи не просто танцевали — они разговаривали, жили ритмом и музыкой. На паркете из Зойки улетучивалась вся подростковая угловатость, зажатость и нерешительность. Она забывала обо всем, раскрывалась и становилась до того женственной, легкой и прекрасной, что от этого преобразования захватывало дух.

— Тебе надо расти, расти, — переживала руководитель студии.

С очередного конкурса в Омске руководитель студии вернулась окрыленной.

— Есть чудесный мальчик. Просто создан для Зои. И остался без партнерши. Они только что выиграли Гран-при, но теперь она уезжает учиться за границу. Ее родители решили: танцы танцами, а образование важнее. А ведь у девочки готовая профессия была в руках. Ладно, это их дело. Это шанс, понимаете?

— Понимаю, — кивала головой новая заведующая, — но не представляю, как я могу помочь. Отпустить ребенка — подсудное дело. Пусть подадут документы на опеку, суд примет решение, и тогда...

— И тогда пройдет еще целый год, а ребята смогли бы уже станцеваться и, скорее всего, даже выиграть не один конкурс. Вы поймите, что Зоя — не простая девочка.

— А вы поймите, что в России непростые законы. Ребенок — собственность государства, и я не имею права распоряжаться им по своему усмотрению.

Заведующая держалась на своем где-то месяц, но после визита к ней мамы будущего Зойкиного партнера колесо фортуны завертелось неожиданно быстро. Уже через неделю Зойка сидела в Омске в гостинной шикарной квартиры и во все глаза смотрела на юношу, которого ей только что представили.

Игорю шел шестнадцатый год. Он был высок, плечист и прекрасен. Светлая волна густых волос над высоким лбом. Ярко-черные брови вразлет. Зеленые глаза, в которых уже уверенно плясали искры обольстителя. Бархатный баритон, кошачьи движения танцора, и в каждом движении, в каждом взгляде — осознание собственной неотразимости. Умной, взрослой женщине все это показалось бы смешным и нелепым. Но Зойка... Зойка влюбилась в первую же секунду. Игорь показался ей божеством. И с этим божеством она будет танцевать, репетировать, проводить целые дни и даже жить в одной квартире.

Надо ли говорить, что очень скоро Зойка проводила со своим партнером не только дни и занималась во все не танцами, а делами, далекими от божественных.

И развязка тоже оказалась весьма прозаичной. Года через полтора Зойка почувствовала недомога-

ние и догадалась, что беременна. Никакого беспокойства она не почувствовала, даже обрадовалась. Рановато, конечно, но у настоящей любви и должен быть такой результат. Конечно, придется сделать перерыв в танцах. Плохо, наверное, на взлете. В своей области они уже выиграли все, что могли, и тренер все чаще говорил о Москве. Ну, ничего страшного. Поедут в следующем году. А с ребеночком бабушка с дедушкой помогут.

А помогать никто не собирался.

— Пригрели змею на груди! — шипела потенциальная свекровь, забыв о том, что иначе как Зоинькой змею еще вчера не называла.

— Да... Дела, — вторил ей муж, вынимая из бумажника пухлую пачку денег. — Решите вопрос, девочки, и забудем об этом.

— Как решите? Что значит решите?! — Зойка заметалась по комнате. Она жабой открывала рот и в своих метаниях то и дело останавливалась у дивана, на котором без всякого стеснения развалился Игорь. Зойка хватала его за руки, а он брезгливо отдергивал их и отворачивался.

— Это же ваш внук или внучка! Это же твой ребенок! — На красивом лице Игоря заходили желваки. Он встал и резко бросил Зойке:

— Я еще сам ребенок. — Хлопок двери вонзился ножом в Зойкино сердце.

— Выбора нет, — развела руками будущая бабушка и кокетливо посмотрела на себя в зеркало. — Какая из меня еще бабушка?!

Проблему поехали решать в лучшую больницу к шикарному врачу. У этой семьи вообще все было шикарным: квартира, машины, мебель и сын, которому полагалась шикарная невеста с шикарной ро-

дословной и шикарным приданым. Зойка не тянула ни по одному пункту. После унижительного осмотра на кресле у шикарной врачихи девушка тихо плакала у приоткрытой двери кабинета. Но услышанное мгновенно высушило слезы.

— Я, конечно, сделаю, но за последствия не ручаюсь, — сказала врач.

— В каком смысле?

— Срок большой, матка детская. Скорее всего, потом никогда не родит.

— Танцевать сможет?

— Если захочет — сможет.

— А остальное неважно. Какое мне дело до ее потомства.

Когда мамаша Игоря выплыла из кабинета, Зойки и след простыл. Она два дня скиталась по подвалам, обдумывая свои дальнейшие действия. Казалось, она придумала блестящий план и бросилась его выполнять. Открывшему на ее звонок дверь Игорю коротко бросила:

— Мать позови! — А так хотелось прижаться, обнять, завывать в голос, найти защиту. Сердце хотело. А голова понимала, что нечего искать, не о чем просить. Не мужчина Игорь, а так — одна обертка, фантик. Обидно любить фальшивку. Обидно, но не стыдно. Любви стыдиться нельзя. А Зойке было стыдно, стыдно своего чувства, так и не отпуславшего, давящего, сводящего с ума. Но следовало оставаться сильной.

— Явилась? — усмехнулась хозяйка. — Одумалась наконец?

Зойка подняла на нее упрямый взгляд и отчеканила:

— Слушайте меня внимательно. Никаких аборт делать не хочу и не буду. Вы создаете мне условия —

я продолжаю танцевать с Игорем. Обычная сделка. Заработаем денег — исчезну из вашей жизни.

— Исчезнешь, — язвительный кивок в ответ. — И быстрее, чем думаешь. Я партнершу для мальчика найду быстрее, чем ты спустишься с этой лестницы. А на тебя, милочка, еще и заявление в полицию напишу. Не пожалею выкинуть пары колечек, чтобы воровкой выставить.

— Да как вы смеете?!

— Смею. Я в отличие от некоторых в пятнадцать лет хвостом не крутила, чтобы выйти замуж за богатенького. Я и в коммуналке пожила, и на съемной квартире, и поработала от звонка до звонка.

Зойка растерялась. Вот значит, как о ней думают.

— Мне от вас ничего не надо. Только на ребенка.

— Нас твой ребенок не интересует!

— Но ведь это ваш... — Зойка срывается и кричит во весь голос.

За соседними дверьми слышится возня. Хозяйка шикает на нее:

— Не произноси этого слова! Убирайся! — И она вытащила из-за двери сумку с нехитрыми Зойкиными пожитками. — Можешь вернуться только за деньгами на аборт, если, конечно, мозги включишь.

— Я вернусь в детдом, и вам мало не покажется.

— Никто тебя туда не возьмет. За твои здешние выкрутасы заведующая взятку взяла — не побрезговала. Ей твое возвращение совсем не нужно. Она заявление о пропаже воспитанницы вмиг оформит, а я еще и своим о краже дополню, и попляшешь ты, красавица, не по сцене, а по этапу. Так что прекрати мне тут сопли лить и угрозы швырять. И не будь дурой! Деньги бери!

— Давайте. — Зойка дрожащей рукой взяла деньги.

Их хватило на несколько месяцев. Койка на съемной квартире, хлеб и молоко. Пока были силы, работала курьером. Хоть какой-то заработок. На другую службу устраиваться не пыталась. Боялась — начнут проверять, отправят в детдом, а оттуда в тюрьму. Куда Зойкиному слову против тонны лжи от двух уважаемых теток?

Хозяйка квартиры, пожилая алкоголичка, вздыхала и качала головой, глядя на растущий Зойкин живот. Но деньги брала — ей надо было на что-то пить и чем-то закусывать. Деньги заканчивались, курьерский заработок не спасал.

Потерпев неуплату какое-то время, старушка-алкоголичка явилась в квартиру с неопрятным мужиком и с порога заявила:

— Все, Зойка, теперь он будет на твоей койке жить.

— А мы и вдвоем можем, — скабрёзно улыбнулся мужик.

Зойка, ничего не ответив, быстро покидала в сумку вещи и снова отправилась в никуда. Вышла на улицу, на последние деньги поймала машину, попросила:

— К вокзалу.

По дороге уткнулась головой в стекло. Ни одной мысли, никакого плана. На светофоре вдруг увидела Игоря. Он стоял по-прежнему красивый, уверенный в себе, держал за руку симпатичную девушку и что-то увлеченно ей рассказывал. Только вот божественного в нем ничего не осталось. «Сволочь», — лениво подумала Зоя и обрадовалась — отпустило. Выходя из машины, зачем-то прихватила большой водительский пуховик. Хотя было зачем. Зима приближалась, а на Зойке тонюсенькая осенняя ветровка. Из старой детдомовской куртки она давно выросла, а вещи, что

покупали ей в семье Игоря, на вынос не дали. «Take away» в программу обслуживания не входил.

На вокзале купила билет до первой попавшейся станции — подальше и подешевле. Оказалось, симпатичный городок и даже не слишком маленький. Можно затеряться, родить, а потом уже придумать, как устроить свою разломанную жизнь.

«И как ее устроить?» — думала Зойка, уперевшись головой в стекло, пока старенький «жигуленок» вез ее по нужному адресу. Сверток на ее плече заворочался и запищал. Зойка посмотрела в кулек: личико сморщенное, глазки тусклые, голова лысая, ручки — закорючки. Вдруг подумалось с умилением: «Доченька». Зойка шмыгнула носом. Стоп! Стоп! Самой бы выжить. Все давно решено. Эту в «окно жизни», а самой как-нибудь устроиться. В кулинарное пойти учиться или на парикмахера. Хорошие профессии, денежные, а как устроится, тогда ребенка и заберет.

Наивно? Очень. По-детски? Ужасно. Но зато по-человечески.

— Приехали. — Водитель оборачивается к пассажирке. — Давай, помогу. — Он обходит машину и открывает заднюю дверь. — Ну, давай руку.

— Я сама. — Зойка отшатывается. — Но сил нет не то чтобы выйти из машины, а даже пошевелиться.

— Пойдем, пойдем, детка. — Сердобольный мужичок вытягивает Зойку из машины, и она неловко валится на снег вместе с ребенком.

— Ай-ай-ай! — Водитель подхватывает их на руки. — И что же ты раньше-то в больницу не поехала.

— Стойте, стойте, — Зойке кажется, что она кричит, а на самом деле с ее губ срывается еле слышный

шепот, — мне в больницу нельзя. Мне только к «окну жизни». У вас же в городе есть такое. Я узнавала. Я ее оставляю временно. А в больницу нельзя. Меня оттуда в детдом и в тюрьму. — Она пытается вырваться, но мужичок оказывается крепким.

— А без больницы на погост, — сурово бросает он и упрямо тащит свою поклажу к двери с надписью: «Приемный покой». — Дура ты, — по-отечески ласково говорит он Зойке, — не найдешь потом свое дитя.

— Почему? — пищит Зойка. — Я и число сегодняшнее помню, и время. Который сейчас час? Вернусь сюда и все узнаю. Где моя девочка? Что?

— Узнаешь-узнаешь. Что усыновили твою крошку и все у нее замечательно. А кто усыновил и куда — это, извините, тайна.

— Усыновили? — пугается Зойка.

Для нее нет ничего страшнее такой перспективы. Для нее все усыновители — мерзавцы, предатели и слабаки. И она не хочет такой судьбы для своей дочери. Но как подарить ей другую? Зойка пытается спросить совета у того, кто первым проявил к ней участие. Она неожиданно понимает, что мужичок абсолютно прав. Ей Инга Константиновна даже адреса Сашки Звонцевой не дала. Ту удочерили во время Зойкиного первого похода к приемным родителям. И как Зойка ни упрашивала — письма писать буду, о жизни рассказывать, — заведующая не дрогнула: не положено.

— Если Саша захочет — сама напишет.

А кто же захочет, вырвавшись из детдома в нормальную жизнь, опять туда возвращаться. Это только у Зойки судьба — злодейка, а Сашке, видимо, повезло. Не было от нее весточки. Порвала она со своим си-

ротством раз и навсегда. Зойка расстраивалась, но не обижалась. Хорошо все у подружки, и ладно.

— Ладно, — шепчет Зойка, разговаривая со своими видениями.

— Вот и прекрасно, — строго говорит склонившаяся над Зоей женщина в белом халате.

Зойка мотает головой. Что за чертовщина?! Каким образом мужичок стал женщиной? Оборотень да и только! Она щурит глаза от внезапно обрушившегося на нее яркого света и снова вертит головой, пытаюсь скинуть с лица какую-то странную маску, которую к ней прижимают. Она еще успевает отчаянно испугаться и хочет закричать: «Где?! Где мой сверток?!» Но наркоз оказывается сильнее.

Зойка приходит в себя и обводит глазами больничную палату, ощупывает чистое накрахмаленное белье и медленно вспоминает: ночь, машина, мужик и... ребенок. Ребенок! Девушка резко садится и вскрикивает. Болью сводит низ живота и левое запястье, из которого от толчка выскочила капельница. Отсоединились еще какие-то проводки, и непонятные приборы возле Зойкиной кровати теперь пищат что есть силы. Тут же открывается дверь, и в помещение впархивает молоденькая, пухленькая и, сразу видно, — добрая медсестричка, у которой на халате написано «Липа».

— Ты чего, девонька, удумала? Тебе вставать нельзя. Вот полежишь еще чуток, окрепнешь, и тогда мы с тобой вместе попробуем.

От прикосновения ласковых рук Зойке сразу становится легче. Она послушно укладывается, тем более что сил сидеть больше нет. И все же она не забывает спросить:

— Дочка. Где моя дочка?

— Ой, такая девочка хорошая! Все детское отделение не нарадуется. И здоровенькая, и кушает хорошо. Повезло тебе! Как назовешь-то?

— Анютой, — шепчет Зойка мамино имя.

— Красиво. А кто у тебя роды принимал? — как бы между прочим интересуется медсестра. Ясное дело, хотят найти виноватых и привлечь. Только и привлечь некого.

— Сама я.

— Как это сама? Что за ерунда!

— Вот именно, что ерунда. Ну, помучилась пару суток. Думала, помру уже, а потом она вылезла. Я ножик нащупала, по пуповине чиркнула, потом простынь минералкой смочила, обмыла ребеночка. Я все как надо сделала, вы не думайте. И укутала, чтобы не простудилась.

— Как надо, как надо, — вздыхает медсестра, укрывая заснувшую слабенькую девочку.

Через несколько дней Зойка под руководством доброй и внимательной Липы уже сносно справляется с Анюткой: кормит, пеленает, чистит носик и ушки, обрабатывает пупочек, сюсюкает. Ей и страшно, и интересно, и ужасно волнительно. Их скоро выписывают в новую взрослую жизнь, и это замечательно, волшебно и очень ответственно.

Анютка сладко спит в своем кювезе, Зойка лежит на кровати и лениво листает журнал. В палату заходит заведующая роддомом — та самая женщина, что разговаривала с ней строгим голосом в приемном покое. И Зойка тут же подхватывается, неуклюже вскакивает и застывает солдатиком. Разве что чести не отдает.

— Ну, как вы? — Заведующая наклоняется над кювезом.

— Все хорошо.

— Завтра в путь?

Зойка кивает.

— Боишься? — Врач участливо кладет руку на Зойкино плечо.

— Немного, Мария Степановна. Ну, знаете, как примут, что скажут.

— Ничего не скажут, а примут хорошо.

— И все-таки...

— После того, что ты прошла, бояться нечего. И как только ты оказалась в том заброшенном доме?

— Просто нашла его и жила.

— А чем питалась?

— Да чем придется. Немного напрошайничаеть, и на хлеб хватает.

— Эх, Зоя, Зоя, и где была твоя голова? Почему сразу к нам не пришла?

Зойка молча опускает голову. Ей нечего сказать. Все ее стоны про боязнь тюрьмы и детского дома Мария Степановна слышала уже раз сто.

— Ладно, девочка, все хорошо, что хорошо заканчивается. Главное, все живы, и даже матку тебе спасли, а ведь уже сепсис начался. — Заведующая укоризненно качает головой, и Зойка краснеет.

— Ну ладно, ладно. — смягчается врач и обнимает девушку. — Все у тебя будет хорошо. Ты молодец, Зоя. Главное, ты теперь не одна. Есть люди, которые помогут. Все, моя дорогая, отдыхай.

Мария Степановна убегает по своим делам, а Зойка снова ложится на кровать. В кармане халата она тербит бумажку с адресом приюта, где ее ждут. Там живут

такие же девушки, как она, с маленькими детьми. И не просто живут, а приобретают профессию и только потом уезжают в самостоятельную жизнь.

Зойка уедет в Зареченск. Как знать, возможно, Танька Громушкина все еще там. А если не Танька, так хоть кто-нибудь. А если никого, то хотя бы улицы, дома, деревья, воздух ее счастливого детства. И там у Зойки все будет хорошо. Теперь обязательно все будет хорошо. Она выучится на повара, или на парикмахера, или даже на косметолога, или... Да неважно на кого. Зойка с умилением смотрит на крохотное, сморщенное личико. Права Мария Степановна. Ох как права. Важно только то, что она теперь не одна. Они — Зойка и Анютка — теперь вместе.

ТАТЬЯНА
ТРОНИНА



НОВАЯ ЗОЛУШКА



— Ребята, просьба не расходиться! — В кабинет, где проходили занятия пятого «А», заглянула директор школы, Анна Геннадьевна. — К нам тут приехал представитель киностудии, он ищет молодые таланты... Желающие могут записаться. Петя, да вы проходите, не бойтесь, они вас не укусят.

Анна Геннадьевна протолкнула в класс рыжеволосого молодого человека в оранжевом свитере, а сама исчезла.

Молодой человек, тот самый, которого звали Петей, отчаянно краснея и сутулясь, вышел к доске.

«Наверное, он и в школе точно так же стеснялся, — с сочувствием подумала Арина. — Странно. Я думала, что взрослые уже не стесняются!»

— Добрый день, — прокашлявшись, произнес этот самый Петя. — Друзья... наша киностудия снимает фильм для детей. Про детей. В смысле, кино для детей. Нужны молодые актеры. Для массовки, ну, и на роль главной героини. — Молодой человек опять прокашлялся и закончил расстроено: — Мы до сих пор не нашли актрису на роль героини, представляете?

Класс зашумел. Не так часто ребят приглашали сниматься в кино! Можно сказать, совсем нечасто. А если откровенно, то в первый раз.

— А какое кино? — строго спросила Сабрина — первая красавица класса, девочка с роскошной черной косой. Она и одевалась лучше всех в классе. А может

быть, и в школе... По крайней мере, так утверждала сама Сабрина.

Она сидела впереди Арины и на протяжении всех лет, что девочки учились вместе, часто оборачивалась и бросала на Арину укоризненные и снисходительные взгляды. Потому что Арина ничем не выделялась — ни нарядами, ни прической, ни яркими туфельками. Ни даже сережками.

Вот у Сабрины сережки — с настоящими бриллиантами! Туфли — из дорогого бутика. Мобильный телефон последней модели. А платье — куплены папой-бизнесменом в Италии...

Каждый раз Арине под этими взглядами становилось неловко. Но что она могла поделать? Не напоминать же каждый раз однокласснице, что они с мамой живут вдвоем, без папы, а мама — обычная медсестра в поликлинике...

— Сюжет всем известен, — чуть приободрившись, сказал Петя. — Это история про Золушку. И мы ищем девочку на ее роль.

— Почему девочку? — опять строго спросила Сабрина. — Золушка же была взрослой девушкой, она в конце сказки выходит замуж за принца!

Мальчишки заулыбались, захихикали, подталкивая друг друга локтями. А братья-близнецы Горлановы, Толик и Вадик, захохотали в голос и принялись корчить рожи представителю киностудии. Эти братья ни минуты не могли просидеть спокойно даже на уроке, а тут уж и вовсе разошлись.

— Ну кому интересна старая сказка... — немного обиделся рыжеволосый Петя с киностудии. — Ее все наизусть знают. Наш фильм будет по мотивам известной истории. Вы в курсе, ребята, что такое «по мотивам»?

— В курсе, конечно, — холодно кивнула Сабрина. — Это когда перевернут всю историю и с ног на голову поставят. А зрители потом возмущаются!

— Ну, не хотите, не снимайтесь, — обиженно ответил ей Петя. — Мы силой никого на съемки не тащим. А вот все желающие могут записать адрес и телефон нашей киностудии. Приезжайте в эту пятницу, завтра, с родителями. Во второй половине дня, как раз после уроков. Будет отбор кандидатов. Есть желающие?

— Есть! — подняла руку Арина. Ну как она могла упустить такой шанс? Ладно, пусть ее и не выберут на роль Золушки, но может в массовку удастся попасть...

Вслед за ней потянули руки и другие девчонки. Да и часть мальчишек тоже мечтали сняться в кино.

— Минутку! — возмутилась Сабрина. — Может, я как раз и желаю сниматься! Может, я единственная, кто на роль Золушки годится. Может, я ваш фильм спасу, и вы мне потом спасибо скажете!

— Спасибо! Пожалуйста! Спасибо! Да не за что! — дурачась, наперебой заорали Толик с Вадиком.

Арина записала телефон и адрес киностудии.

Потом, когда рыжий Петя ушел, вдруг вспомнила, что мама в пятницу задерживается допоздна, до восьми часов вечера идет прием в поликлинике. А что, люди тоже работают, и не все больные могут прийти днем...

«Ладно, — подумала Арина. — А я тогда Олю попрошу со мной съездить!»

Оля жила в квартире напротив и приглядывала за Ариной, когда та была совсем маленькой, если мама Арины задерживалась на дежурстве. Оля теперь училась в институте, но все равно свободного времени у девушки хватало. Они, Арина и Оля, до сих пор как подруги болтали, если в лифте сталкивались. Как

старшая и младшая подруга, конечно... Оля добрая, Оля не откажет! А на киностудии можно сказать, что Оля — старшая сестра...

Вспомнив об Оле, Арина приободрилась. Собрала портфель и спустилась в раздевалку.

Одноклассники почти все разбежались. В раздевалке находились Толик с Вадиком — за ними пришла их бабушка — и Сабрина с ее мамой.

Толик и Вадик орали, бегали, прятались за вешалками, а бабушка гонялась за ними, пыталась натянуть на мальчишек куртки.

— Толик! Вадик! Да утомонитесь уже! Никакого сладу с ними... — пожаловалась бабушка маме Сабрины и, пытаясь отдышаться, плюхнулась на скамейку. — И учатся из рук вон плохо. Что из них вырастет? Вот, хорошо, что мозгов у них хватило на съемки записаться.

— Как, и вы туда же? — подняла вверх тоненькие, словно нарисованные брови мама Сабрины. Мама Сабрины выглядела настоящей фотомodelью.

— А чем мы хуже? — подбоченилась бабушка Толика и Вадика. — Может, у моих ребят талант. Киноактерский талант! Вон сколько интервью этих актеров, где они признаются, что в школе плохо учились...

— Да при чем тут это, — снисходительно произнесла мама Сабрины. — Математику с литературой не обязательно на отлично вызубрить, чтобы на сцену выходить. Но у актера должен быть поставлен голос. Походка должна быть поставлена тоже! Техника речи тоже... У нас Сабриночка на специальные курсы ходит, где всему этому учат. Вокал, танцы! Я думаю, ей всерьез роль Золушки светит.

— Правда, мам? — обрадовалась Сабрина и искоса стрельнула в Арину снисходительным, как и у ее мате-

ри, взглядом. «Вот, мол, и не надейся, что тебя в кино позовут!» — говорил этот взгляд.

— Правда, моя деточка! — сказала мать Сабрины и звонко поцеловала дочку в лоб.

«Эх, не возьмут меня даже в массовку... — неожиданно расстроилась Арина, натягивая на ноги свои выдавшие виды ботинки. — Наверняка там, на киностудии, не только наш класс будет. Полно интересных девчонок, красивых и ярких! Сабрину на роль Золушки возьмут, других девчонок в массовку...»

Но потом вспомнила, как ее собственная мама говорила ей, чтобы она никогда не сдавалась. И что у всех людей равные права. И не может быть человек хуже или лучше других, если одет не по моде или чего-то не знает... Одежду можно купить, а новым знаниям — выучиться. Гораздо хуже — когда человек ничего не хочет делать и ни во что не верит.

Словом, Арина твердо решила идти в пятницу на пробы.

Для начала, из дома уже, позвонила Оле, своей старшей подруге и соседке, описала ситуацию.

— Пойдешь со мной? — спросила Арина и затаила дыхание.

— Конечно, пойду! — обрадовалась Оля. — Это ведь такой шанс. Ой, я хотела бы побывать на настоящей киностудии... Вдруг какого-нибудь известного актера встречу. А когда?

— В пятницу, во второй половине дня! — выдохнула Арина.

— Отлично! Я как раз свободна, у нас в этот день всего три пары, — сказала Оля.

— Пары? Какие пары? — не поняла Арина.

— У вас в школе уроки, а у нас лекции, их называют пары. Они по времени как раз как пара школьных

уроков! — засмеялась Оля. — Так когда выдвигаться, Арина?

— Ой... Я не знаю! — вдруг испугалась девочка. — Вроде все контакты записала, а про время забыла... Но это ничего. Я сейчас кому-нибудь из класса позвоню, уточню.

— Жду! — сказала Оля.

Арина положила трубку и набрала городской номер братьев Горлановых.

— Алло, Толик?

— Это не Толик, это Вадик, — прозвучало в трубке.

— Ой, прости... Вадик, ты мне не подскажешь... — начала было Арина, но в трубке зашуршало и прозвучал еще один голос:

— Это не Вадик, это Толик!

— Какой Толик, когда Вадик! — заорал первый голос.

«Все ясно, — подумала Арина. — Это они по спаренному телефону разговаривают, одновременно!»

Но толку от братьев не было никакого. Они орали друг на друга и решительно не слышали вопросов Арины. Послушав еще немного их вопли, Арина тихо положила трубку. Пожалуй, лучше позвонить Сабрине. Ну и что, что Сабрина задирает нос. В принципе, она не такая уж вредина, должна помочь. Сабрина наверняка запомнила время, раз всерьез нацелилась на роль Золушки.

— Алло... Сабрина, добрый день, — вежливо сказала в трубку Арина. — Не могла бы ты подсказать, на какое время назначены пробы?

— Ой, Арина... Привет. Ты тоже собралась на киностудию?

— Да.

— Ой, да ты мне конкурентка, получается... — хихикнула Сабрина. — Ладно, шучу. Начало проб в восемнадцать ноль-ноль.

— Спасибо большое! — Арина положила трубку, затем снова позвонила Оле и сообщила ей точное время.

Засыпала в этот день Арина счастливая. Она мечтала попасть на съемочную площадку. Ну да, сама Арина не ходит на танцы и вокал, но она обожает петь и танцевать, правда, делает это дома, когда никто не видит. Например, убирает в квартире к приходу мамы и поет. Или пылесосит и пританцовывает...

И сон Арине приснился соответствующий. Будто она, в красивом платье с широкой юбкой, в блестящих туфельках, с волосами, закрученными в локоны (а не с привычным хвостом на затылке), вальсирует в огромном зале, а вокруг стоят ее одноклассники и еще какие-то люди — много, много! — и все хлопают в ладоши и радостно ей улыбаются. Потому что она танцует прекрасно и людям приятно смотреть на нее. Ну, как если бы Арина всем подарок сделала, что ли...

На следующий день Арина прибежала после школы и позвонила в соседскую дверь. Как там Оля, не забыла ли о своем обещании?

Дверь открылась не сразу. На пороге стояла Оля в теплом толстом халате, шея замотана шарфом. Оля часто моргала, словно ей было больно смотреть, и то и дело хлюпала покрасневшим носом.

— Ты заболела... — упавшим голосом прошептала Арина.

— Ага, — прохрипела Оля. — Тридцать восемь и пять. Грипп, наверное. Прости, Аришка, что подвела.

— Ничего-ничего! — улыбнулась Арина, стараясь сдержать слезы. — Ты, главное, выздоравливай!

Арина зашла к себе в квартиру, села на стул, вздохнула. Поплакала немного, потом переоделась, пошла разогревать обед, убралась на кухне. Как иначе, мама придет поздно, усталая... А Арина совсем не устала.

Половина шестого. Где-то там, наверное, ребята съезжаются на пробы, выступают перед режиссером, показывают свои таланты. Эх, какой у Арины был шанс...

«Ну и что! — вдруг подумала девочка. — Одна съезжу!»

Арина быстро оделась и выскочила из дома. В троллейбусе — битком, люди возвращались после работы. И дорога вся машинами забита...

Словом, лишь в половине седьмого Арина сумела зайти в офис киностудии. Поднялась на пятый этаж на лифте.

В огромном холле — пусто. А по коридору бегают Толик с Вадиком, играют в салки.

— Ты водишь!

— Нет, ты водишь!

— Ребята, а где все? — растерянно спросила Арина. Она ожидала увидеть тут толпу желающих сняться в фильме.

— Где все, где все... — передразнил Толик. — Где-где! Пробы уже закончились, ты бы еще позже приехала!

— Закончились? — растерянно пробормотала девочка. — А я думала...

— В три начало было, к шести уже разошлись, — в этот момент появилась бабушка братьев Горлановых. — Уф, ребята, замучилась я за вами по этажам бегать...

«Значит, Сабрина обманула меня», — поняла Арина.

Она побрела по коридору, чтобы мальчишки не увидели ее слез. Там, чуть дальше, еще один лифт находился. Нажала на кнопку. Лифт остановился, распахнул дверцы. В нем стояла женщина — то ли молодая, то ли старая, не разберешь. Лицо женщины пряталось за фиолетовыми очками, и шляпа на голове, которая почти закрывала щеки.

— Вниз? — спросила Арина.

— Вниз, — равнодушно ответила женщина. Арина вошла в лифт, дверцы за ее спиной закрылись.

* * *

— Дави на эту кнопку, — сказал Вадик.

— А ты на ту.

— Ага. А теперь на все сразу дави! Быстрее!

Мальчишки торопились — к ним уже бежала бабушка, размахивая платком и пытаясь отдышаться.

* * *

Лифт вдруг дернулся и остановился.

— Это что такое? — женщина в шляпе недовольно принялась нажимать кнопки на панели. Лифт не двигался.

— Алло, диспетчерская? — закричала женщина в переговорное устройство. — Безобразие! Лифт застрял!

— Вызвали мастера. Ждите! — булькнуло в ответ из устройства.

Арина вздохнула и села на корточки, приготовившись ждать. Вот что за день такой, сплошные неудачи...

— Как я устала... — раздраженно произнесла женщина и тоже присела на пол. В этот момент незна-

комка показалась Арине совсем старой и измученной. Она покосилась на девочку: — А ты что тут делала?

— На пробы приехала, — ответила Арина. — Только я опоздала.

— Опаздывать нехорошо.

— Да я не нарочно. Мне время неправильное сказали. Девочка одна.

— Да? — с интересом спросила женщина. — А зачем она так?

— Я думаю, она... она очень хотела получить роль Золушки.

— А ты — хотела бы?

— Да, — кивнула Арина. — Мне нравится Золушка. Только зря она такой безответной была. Над ней мачеха с сестрами издевались, а она молчала, по дому работала, убирала, готовила...

— Не надо было убирать? — с любопытством спросила женщина. Она вдруг показалась Арине совсем молодой и интересной. Только очки и шляпа зачем-то скрывали ее красоту.

— Надо. Но когда другие люди делом заняты или больны и им нельзя не помочь — вот тогда обязательно надо помочь! — с жаром выпалила Арина. — Или вот еще когда это работа, за которую деньги платят. Ну, например, Золушка работает уборщицей, ей платят зарплату. И значит, она должна убирать, и хорошо это делать.

— Гм. Интересная логика. Выходит, Золушка в старой сказке была не права?

— Конечно, не права, — убежденно кивнула Арина. — Нельзя терпеть, когда над тобой издеваются! И потом. Отец Золушки...

— Так-так-так, что там с отцом? — спросила женщина.

— Ну как он мог жениться на такой нехорошей мачехе и допустить, чтобы его дочку мучили?

— А он что должен был делать? Побить мачеху?

— Бить никого нельзя, — возразила Арина. — Он должен был уйти и найти себе другую жену. Хорошую. Которая бы приняла Золушку, как свою родную дочь. Вот, например, моя мама. Она... Она ушла от папы, когда тот стал плохо себя вести, — неожиданно призналась Арина. — И пусть мы одни с ней теперь и денег мало. Но... Но мы счастливы!

— Это правильно, — пробормотала женщина. — Как это верно... — Она сняла очки и посмотрела на Арину ярко-синими, огромными, сказочными глазами. — Ты еще маленькая, но ты очень правильно рассуждаешь! Ты поешь? Ты умеешь танцевать?

— Ну, немного, — смутилась девочка. И вдруг запела в полный голос, пытаясь развеселить эту грустную, усталую женщину, застрявшую вместе с ней в лифте:

Святая Дева, ты не в силах мне помочь,
любви запретной не дано мне превозмочь.
Стой! Не покидай меня, безумная мечта...

Женщина слушала с интересом, потом, когда Арина закончила петь, сказала, улыбаясь:

— Гм, неплохо. С чувством. Ты в курсе, что у тебя от природы поставленный голос?

— Нет, а как это?

— У тебя талант, вот оно что.

— Правда? То есть мне не надо учиться пению? — Арина вдруг вспомнила Сабрину, которую учили и танцам, и вокалу.

— Всему надо учиться. Только еще и талант должен быть. Вот когда все это вместе — тогда и начинается. Тебя как зовут?

— Арина.

— Ты прошла пробы, считай, — улыбнулась женщина. — Пожалуй, именно ты, Арина, и подходишь на роль Золушки. У тебя есть способности. И ты очень верно угадала ее характер.

— Как... угадала?

— А вот угадала. Словно уже прочитала сценарий будущего фильма. Я режиссер, и я буду снимать фильм именно о такой девчонке, которая не даст себя в обиду, но готова помогать всем, кто нуждается в ее помощи.

— Ух ты... — потрясенно пробормотала Арина, еще не веря своему счастью. На всякий случай она решила не радоваться раньше времени. Мало ли что!

Арина держала себя в руках, пока режиссер вела переговоры с ее мамой.

Пока шли репетиции и снимали мерки для костюмов.

Пока тянулись первые съемочные дни, бестолковые и напряженные, — когда по двадцать раз приходилось переснимать одну и ту же сцену.

И только тогда, когда Арина, по сценарию, попала на бал, в чудесном платье и хрустальных башмачках, — вот именно тогда Арина и позволила себе обрадоваться. Кружась в вальсе, она пела от души, рассказывая о своей радости всему миру.

— Это талант, — наблюдая за сценой, прошептала женщина-режиссер на ухо своему рыжеволосому помощнику. — Просто чудо, что я ее нашла! Она — настоящая Золушка! Да, Петя, и попроси ту девочку из массовки отойти подальше, из-за нее все время приходится переснимать... да-да, вон ту, с черной косой. Ну совершенно не умеет вести себя в кадре.

АРИАДНА
БОРИСОВА



РОГ ТРИТОНА



Отрывок из повести

Из больницы выздоровевшего мальчика привезли не на дачу, а в каменное двухэтажное здание, окруженное отцветающей зеленью тополей. Детдом населяли, согласно общему списку, ровно тридцать круглых сирот и шестьдесят восемь социальных — те, у кого родители были предположительно живы. С кого-то удавалось выжать часть алиментов, кто-то искусно скрывался либо умер в неизвестности, и ребенок без согласия кровных родителей на усыновление оставался по закону в детдоме до совершеннолетия. Мальчику повезло: он был полноценным сиротой и мог надеяться обрести семью.

Кличка приклеилась к нему прочно, Принцем его называли теперь и воспитатели. Альбина Николаевна даже не пыталась скрыть, что выделяет воспитанника среди других, добавляла ласковые словечки вроде «умничка» и «красавчик» и прощала многое из того, чего не спускала остальным. Он был благодарен ей за приятное обращение и огорчался, что на девочку доброта воспитательниц не распространяется, хотя и ее прозвище — Русалка — прижилось. Но не в этом втором имени, вероятно, крылось холодноватое отношение женщин ко всем здешним девочкам.

Что Русалка? Без малого пятьдесят таких девочек жило в детдоме — большинство непослушные, потом-

ственные носительницы общественных пороков... Галину Родионовну особенно раздражало очевидное влечение друг к другу этих двух детей. Углядев их вместе, она куда-нибудь уводила потенциальную прожигательницу жизни от мальчика с крепкими генами, спаявшимися в смычках деревни с городом в добротный крестьянско-интеллигентский сплав.

Из девочки, по мнению взрослых, знакомых с ее происхождением, ничего позитивного не могло вырасти. Красавица мать, явленная на свет от скандальной связи актрисы и музыканта, с юности славилась не менее скандальными приключениями. Погулявши вволю, женщина на грани критических лет и потери «товарного» вида вышла замуж за подающего надежды ученого-математика. Но что-то у них не сложилось и, порядком успев потрепать нервы себе и окружающим, семья погибла в стремительные сроки. Через два года после рождения дочери мать умерла при оставшихся невыясненными обстоятельствах в чужом доме: то ли отравилась паленой водкой, то ли ее отравил кто-то из многочисленных приятелей. Отца выгнали из института. Он устроился бухгалтером в затрапезную организацию, тщился завязать с пьянством и заняться воспитанием девочки, но снова пускался во все тяжкие. В конце концов дитя попало в детдом.

Девочка была миловидна, хотя, по общему суждению, не унаследовала красоты бабушки и матери, и не сказать, чтобы в ней проявлялись математические способности отца или дедовские музыкальные.

В редкие дни просветления и покаяния отец навещал дочь. Принц видел этого человека однажды — неопрятно одетого, с унылым лицом, странно отдающим сливовой сизостью, и подбородком, похожим на ежика с перевернутой вверх ногами картинки.

Руки мужчины со вспученными венами на кистях мелко дрожали, когда он подал девочке сомнительные лакомства — слипшийся комок леденцов в папиросных крошках и бумажный кулек пропахших теми же папиросами семечек. Она грызла замусоленные гостинцы, а отец смотрел на нее рассеянно, безумно и нежно.

Девочка отсыпала Принцу семечек в ладонь из кулька. Леденцами не поделилась, догадываясь об его брезгливости, и была права, потому что и от малого подарка он незаметно избавился. И руки помыл с мылом. Мальчик терпеть не мог табачных запахов, да и человек показался ему каким-то подозрительным.

Это был последний визит Русалочкиного отца. Он исчез бесследно, но никто из воспитательниц не удивился и не стал подавать в международный розыск. Мужчины часто пропадают в неизвестных направлениях, будто отдельных особей мужского пола забирают в свои тарелки НЛО — для опытов, или подпольные врачебные учреждения — на органы. После обнаруживается, что потерянные никуда не делись. Мужчины просто больше женщин склонны к перемене мест жительства и перемене жизни в целом.

Чуть погодя Галина Родионовна сказала что-то насчет «замерз». Да, «замерз насмерть алкаш», так и сообщила нянечке в коридоре во всеуслышание, помянув фамилию Русалочки. С плохо скрытым злорадством, которое чуткий мальчик приметил, не ведая, конечно, его причины. А проистекало оно из ненависти к алкашам вообще и в частности за то, что они презирают брошенных ими же детей, ненависти к стране с вечной ее перестройкой и в какой-то мере к себе — невезучей, безмужней, с двумя такими же спиногрызами в съемной квартире.

Девочка знала, что такое смерть, но все не могла поверить, что папа умер, и перестала есть. Отощала, ослабла, в уголках губ появились заеды. Не от простуды — Галина Родионовна, зажимая нос воспитанницы твердыми пальцами, насильно заталкивала ей кашу в рот большой ложкой...

Одна из нянь, жалея сиротку, садилась перед сном на край ее кровати, гладила по голове:

— Ишь, волосенки какие завитушчатые и две макушки на затылке. У кого враз две — счастливыми вырастают. Спи. Счастье свое во сне увидишь.

Сны Русалочки были не снами, а скорее воспоминаниями. Она любила отца и хорошо помнила прогулки с ним по набережной, походы в зоопарк и театр, выходные поездки на пляж за город. Папа наряжал дочку в красивое платье, неумело заплетал косички. Учил плавать и, загорая на песке, разглядывал с нею облака. Они видели в небе крылатых коней и других сказочных животных. Девочка не уставала слушать одни и те же рассказы о жизни гор, джунглей и моря и чудесные папины сказки.

По его щадящей версии, грустная сказка о Русалочке, соединившаяся почему-то со сказкой о Спящей царевне, была как бы настоящей историей, к тому же пока незавершенной. В этой истории морская ведьма обманула Русалочку. Забрав голос в обмен на ножки, ведьма усыпила девушку в заколдованном дворце. Ее могла разбудить только волшебная раковина в руках принца, но злая колдунья выбросила раковину в беличье дупло. А принц не забыл свою спасительницу и разыскивал ее повсюду. Белка, которой стала известна история, тоже принялась искать принца. Жила в лесу то одной страны, то второй, и все без толку, ведь принцев на свете много...

— Он найдет Русалочку? — спрашивала дочь.

— Обязательно. Все у них будет хорошо, не сомневайся...

Месяцы папиной депрессии и запоя как-то выпали из памяти девочки, а матери она и не знала. О том, что мама лежит в земле, потому что всех, кто умирает, закапывают в землю, объяснила детдомовке няня...

Русалочка могла теперь претендовать на новых родителей и новые сказки.

Как и Принц.

* * *

В клейкую паутину часов и дней мальчика черными мушками влипали никем не исчисляемые события. К мастерству длинно плевать прибавились иные мужские умения и просто необходимые навыки. За полную окурков банку из-под пива можно было выторговать у больших мальчиков всякие нужные вещички. Как бы ни гнушался Принц запахом табака, он собирал «бычки» по колеям дорог, вместе с первыми уроками рынка получая сведения о качестве и градации сигаретных марок. Научился залихватски отвечать на дразнилки «домашних» баловней, заимел привычку вставлять в речь слово «блин», участвовал следующим летом в набегах на огороды дачников. Овощной ассортимент на любовно ухоженных частных грядках был не в пример разнообразнее и вкуснее луково-редисочной мелочи детдома. Огородные вылазки представлялись своеобразной аттестацией на смелость. Принц не считал их кражей, находя справедливыми доводы Белокопя о том, что, по человеческим законам, люди обязаны делиться друг с другом, а если кто-то жадничает, то так ему и надо!

Задворки окрестных дворов были исследованы до каждого куста, как и лесок перед речкой, но полосатая кошка с желтыми глазами, жившая под пнем у мертвой березы, нигде не встречалась. Любой зверь, подобно человеку, не может бесконечно жить в одиночестве. Кошка, наверное, ушла в город.

Лето выдалось жарким. Воспитанникам почти по полдня разрешалось проводить у реки для укрепления иммунитета перед школой, воспитательницы приводили и своих детей. Принц построил дворец из досочек, камней и песка, такой красивый, что люди специально ходили фотографировать. Белоконь уважительно сказал: «Здоровский дворец» и помог укрепить над ним тент от дождя — повариха позволила взять большой целлофановый мешок из-под каких-то продуктов.

Следы босых ступней Русалочки на песке напоминали слабые оттиски серповидного ножа, которым бабушка срезала в палисаднике крапиву для щей. Принц удивлялся, какие они маленькие. Его ладонь закрывала всю прорисованную пальцем подошву.

— Русалочка спит в таком же дворце, — шепнула ему девочка. — Только он настоящий и заколдованный.

— Ты спишь в заколдованном дворце? — не понял он. — Где?..

— Не я, другая русалочка... А может, я, — путалась она. — Не здесь, далеко.

Девочка бежала к реке, с которой у нее был особенный сговор. Вольная водяная стихия перебрасывала ее из волны в волну, как из ладони в ладонь, — нежно, родственно, приводя в изумление тех, кто еще не видел русалок. Жаль, что женщина, с чьей легкой руки Русалочка получила свое сказочное прозвище, перестала ездить на пляж.

Иногда Принц «плавал» на мелкоте, держась руками за дно. Девочка звала войти в воду глубже чем по грудь. Почти захлебнувшись, он в панике едва не закричал: «Помогите!» Выскочил на берег с ринувшейся в голову болью, запрыгал, выбивая горячие заглушки из ушей. Не скоро согласился снова рискнуть... и поплыл. Русалочка плыла рядом, подстраиваясь под неуклюжие гребки его рук, под неловкое еще парение, и оба были счастливы, словно летели в небе.

* * *

Речка понемногу сделалась холоднее, небесная синь разбавилась дымчатой предосенней известью. Яркий зеленый цвет деревьев смягчился беглой желтизной, и лес в сквозных тропках раздвинулся шире для солнца. Сидя однажды на бревне у сарая, девочка пересказала Принцу папину незаконченную историю о спящей русалочке.

— Придет время, и белка найдет принца, или он сам найдет волшебную раковину! Тогда никакие злые силы не помешают ему снять заклятье и Русалочка проснется, — говорила она чужим голосом, и мальчик сообразил, что она подражает отцовской повествовательной интонации. Его изумило совпадение в прозвищах.

— Здорово, правда, что у нас клички — будто из сказки?

— Здорово... А может, это мы?

— Но ты же не спишь, и папа у тебя не морской король... был.

— Злая ведьма заколдовала всех — меня, папу, маму, — прошептала девочка, сладко плача на плече Принца. — Раковина есть на самом деле, я знаю. Она — моя...

Плечо затекло, но мальчик боялся спугнуть мину-
ту ее откровения и не шевелился. Разболтав секрет
одной из подружек, девочка была наказана за просто-
душие насмешками, стала осторожна и доверилась
Принцу впервые.

От нее хорошо пахло смесью детского пота и моло-
ка. В предосеннем воздухе витал пряно-горький аро-
мат увядающих смородиновых листьев, так похожий
на запах кадушки из-под огурцов. На лопухах висели
бисерные паучьи сети, унизанные вечерней росой.
Сорвался и полетел лист смородины, полупрозрач-
ный, с отчетливым рисунком каркасных нитей.
А шелковистые веки Русалочки походили на чуть за-
гибающиеся к вискам цветочные лепестки... Мокрые
ресницы вздрагивали и сверкали, как густые щетинки
лучей.

Принц прикоснулся губами к ее теплой щеке,
и в его закрытых глазах запылало красное солнце.
Волосы на виске девочки были влажными, от лица не-
сло солоноватой прохладой... и красный-прекрасный
мир вдруг взорвался выбросом тяжко разбрызганных
слов.

Пакостные, чесоточные, блевотные, — не слова,
а струпья гнилой парши в своре бродячих собак, они
потрясли и оглушили мальчика! Никто в детдоме
не делал тайны из жеста «палец в дырку». Все знали
о любви Принца к девочке, но никому и в голову не
приходило придать их отношениям такой ужасный,
такой дикий смысл. Тем более — выкрикнуть это
в лицо... с неоспоримой, властной уверенностью.

— Что вы делаете, что вы тут делаете?! — завопила
Галина Родионовна, опомнившись после того, как вы-
плеснула в воздух грязную брань.

Принца шатнуло: воспитательница ударила девочку по щеке... Подняв голову, он увидел черную тень против солнца — с круглой шишкой на темени, без шеи, с встопорщенными руками и пучками морковных пальцев. В горле мальчика застряло что-то липкое, выкипевшее изнутри, как рыбный пузырь их ухи. Принц трудно сглотнул его и с ненавистью прохрипел:

— Ведьма!

Во время ужина он обнаружил отпечаток увесистой руки на лице Русалочки и, с чувством саднящего ожога на коже собственной щеки, спросил:

— Больно?

— Нет, — качнула она головой, глядя в стол. — Медсестра дала мне таблетку. Скоро пройдет...

Багровое пятно не сходило с лица девочки несколько дней.

* * *

Принц решил добыть Русалочке раковину. Любую — не до волшебной! Только бы успокоился, улегся на дно души отвратительный осадок от гадких слов. Главным добытчиком в дошкольной среде был, разумеется, Белоконь. Родственники мальчишку не посещали, но сладости и фрукты он где-то доставал чаще, чем выменивал их на собранные окурки. Удачливый торговец сам подошел в коридоре:

— Зараза эта Галька-Родька.

— Галина Родионовна? — догадался Принц.

— Ну. Руки, блин, распускает. Меня сколько раз лупила.

Белоконь вздохнул. Постояли, глядя в окно, и Принц отважился:

— Знаешь... Мне нужна раковина. Но чтоб по секрету.

— Ясно. — Короткий взгляд Белоконя был острым и понятливым. Он снова вздохнул и, помедлив, оглянулся по сторонам. — Ладно... Познакомлю тебя с ним. Сам раковину у него попросишь. Принесет... запросто.

— Кто?

— Ну, не Дед же Мороз, — усмехнулся Белоконь. — Тварь.

— Тварь?..

— Так я его зову, он не знает...

Ни к кому из знакомых не подходила эта мерзкая кличка. Попросить Тварь принести раковину, очевидно, можно было в залог какого-то дурного поступка.

— Воровать не буду.

— Глупый ты... Не надо ничего воровать и делать ничего не надо, только смотреть. Не бойсь, Тварь не тронет. Он и меня не трогает... почти. Братишки у тебя нет, значит, не будет ничем угрожать. Посмотришь, пока он... и все.

— Что «пока он»?

— Увидишь...

Вечером выходного дня Белоконь, приставив палец к губам, подозвал Принца из тени забора. В углу заросшего кустами двора, где земля над несчастным котенком взялась крепким бурьяном, один лист железа не был прибит к перекладине снизу и легко отгибался.

— Сюда...

За забором, тоже в кустах, плотных и высоких, ждал взрослый человек. Мужчина неопределенных лет, в серой рубашке и пиджаке, вздрогнул и сторожко обернулся. Лицо его не было ни некрасивым, ни

каким-нибудь примечательным: небольшие голубые глаза, нос слегка приплюснутый, скулы с выпирающими желваками выбриты со всей тщательностью. Обыкновенный человек, не тварь... по крайней мере, оттенок отвращения, просквозивший давеча в словах Белоконя, в мужчине совсем не ощущался. Но когда он улыбнулся, Принца неприятно поразила ущербная щель его рта. В этой длинной краснотубой щели не доставало зубов, поэтому улыбка вышла кривой и неестественной.

— Привет-привет, — пропел незнакомец шепотом и поддел пальцем подбородок нового мальчика. — Как тебя зовут?

— Принц.

— Поди, и принцесса есть? — шире ослабился мужчина. — Чего ты хочешь, мой маленький Принц?

— Потом скажу, — пробормотал мальчик.

— Понятно, — деловито кивнул человек. — Надеюсь, наш дружок предупредил, что говорить обо мне никому нельзя? Это будет наша с вами большая тайна... Ты же не предатель и умеешь держать язык за зубами? Умеешь? Дружок отлично знает: если он расстреплется о нашей дружбе, я найду его сладенького братишку в доме малютки и сделаю из него вкусную-превкусную конфетку. — Он отрывисто хохотнул. — Дружить со мной выгодно. Я могу принести все, что ты захочешь, даже перочинный ножик... Но только попробуй растрезвонить обо мне другим — я найду тебя, где б ты ни спрятался... и просто уничтожу.

Он поднес к носу мальчика синего жучка на ладони:

— Вот так, смотри, — и растер его между пальцами. — Ты умный малыш, иначе бы не назвали Принцем... От меня нигде невозможно укрыться. Хоть на земле, хоть на небе... Сейчас я кое-что сделаю, не

бойся, будь внимательным и гляди в оба. Я не трону тебя... пока. Может, совсем не трону.

Встав спиной к мальчикам, мужчина опустил голову и, похоже, расстегнул ремень на брюках. Локти его двигались быстро и нервно.

* * *

...Принц вылетел из кустов стремглав, не помня себя, и, подстегнутый криком мужчины, вынесся на дорогу. У калитки его схватила в охапку няня, навстречу шагнула Альбина Николаевна, кто-то еще. Мальчик бился в няниных руках, был почти не в себе, но наконец, содрогаясь от плача, ужаса и омерзения, сумел выдохнуть:

— Там... Тварь... Чужой дядька... там Белоконь...

Всплеснув руками, словно на излете с обрыва, воспитательница метнулась за калитку. Няня, физкультурник кинулись на дорогу, с метлой наперевес поспешил сторож.

Принц на деревянных ногах проковылял к песочнице, где Русалочка играла с подружками в куклы.

Тварь обещал найти его хоть на земле, хоть на небе, если он скажет о нем другим. Принц сказал и теперь должен бежать. Лучше всего на лодке по реке, о воде ничего не говорилось.

У бордюра песочницы мальчик остановился и вытер слезы рукавом, чтобы не напугать Русалочку. Да... а не подвергает ли он ее опасности? Тотчас же голос Твари, шуршащий, как испорченная пластинка, зашипел в голове: «Поди, и принцесса есть?» Не обнаружив на даче «предателя», Тварь обязательно отыщет его девочку...

Принц присел на бордюр.

— Русалочка... пойдём.

Губы ее шевельнулись. Наверное, хотела о чем-то спросить, но выражение лица мальчика заставило ее умолкнуть.

Не оглядываясь, схватившись за руки, они опрометью помчались к реке. Занятые поимкой Твари взрослые не заметили побега.

Об ужасном происшествии Принц рассказал уже на лодке.

— Бедный Белоконь, — пожалела Русалочка, ежась. — Я видела этого дядьку. Он очень плохой, у него рот длинный и мало зубов. Страшный дядька заговаривал с нами, спрашивал, как зовут. У него были шоколадные батончики. Альбина Николаевна велела ничего не брать у чужих людей без воспитателей, и мы не взяли.

Принц крепко зажмурился. *«... найду тебя, где б ты ни спрятался... и просто уничтожу»*. Беспросветное отчаяние на миг завладело им. Жизнь представилась гигантским болотом, холодной трясиной, манящей в тумане детей к ярким фантикам лживых островков. Ступишь, обманувшись, и попадешь в топкую слякоть, в щель ущербного рта, засасывающего в мутное ледяное нутро, откуда не выбраться, как ни старайся...

О нет, прочь, поганые твари-мысли, прочь, вон из меня! Русалочка рядом... Принц сжал кулаки. Взрослые обязательно поймают Тварь, не позволят ему больше... никогда не позволят — и спасут Белоконя.

* * *

Лодка послушно скользила по течению в тених прибрежных тальников, с пружинистой легкостью вонзаясь носом в розовые ребрышки волн. Отражение развесистых ветвей казалось россыпью валков

сена на стекле, разбросанного водяными косарями с другой, опрокинутой вниз головой стороны. Впереди простиралась река — длинная, алая в закатном солнце, — ковром расстеленная дорога с изжелта-зелеными каймами леса. Ровно посередине — четкая граница между водой и берегом. Порой мимо проплывали беленые и бревенчатые особняки, аккуратные гряды картофельных полей. На опушенных камышом мостках темнели мудреные установки механических насосов. Какая-то женщина, поливая огород шлангом, долго смотрела вслед лодке с детьми.

Русалочка захотела пить, нагнулась над кормой и опустила лицо к огненным искрам. Принц схватил за подол платья:

— Ты что! Упадешь!

— Не упаду, — булькнул смешливый голосок, словно уютно взбурлил в кухне чайник.

Мальчик вздохнул. Не найдет... не найдет, они далеко! Стало легче. В груди потихоньку росло торжество свободы, и рубашка вздувалась на спине клетчатым парусом. Они плыли вслед за облаками по воде и небу, по левой стороне реки в глубине прозрачно-синего покоя. Лес и мир текли вместе с ними, дрожа и переливаясь в тени. Пусть от воды тянуло холодом и зудели комары, но все равно — так хорошо было жить...

Однако, когда погасли последние лучи и над черными волнами проступила пелена дымки, опять сделалось страшно.

Лодку Принц привязал к дереву. Залезли в душистое сено стожка на лугу, совсем не колкое и теплое внутри, будто нарочно нагретое. Густой сборный дух трав можно было вдыхать бесконечно, есть вкусный воздух ломтями, как хлеб. Ребята в столовой, должно

быть, давно отужинали горячей кашей и приготовились ко сну...

Принц изо всех сил отгонял гнусные мысли о Твари и — сумел отогнать, потому что, положив голову ему на грудь, нежно посапывая, спала девочка.

Утром они поплыли дальше, вперед и вперед, точно гонимые бурей жизни кустики перекаати-поля. Лодка сама, без всякой помощи, двигалась встреч солнцу по улыбчивым морщинам реки, но дети садились за весла, чтобы меньше мерзнуть. Уключины одобрительно поскрипывали, с обеих сторон бугрились тугие волны, брызжа с лопастей студеными каплями.

Солнечный ветер выдул тревоги из дум, высушил грязь. В голове Принца роились мысли о хлебе — о настоящем хлебе, желательно с маслом, присыпанном сахаром, или солью — тоже неплохо. Необходимо было разжиться едой, и повезло: издалека на излучине показался дым рыбацкого костра.

Добрые дяденьки, старый очкастый и молодой в шляпе с сеткой от мошки, досыта накормили беглецов пшениным кулешом и печеными в фольге ельцами. От обильного завтрака и тепла Русалочку разморило. Уходить не хотелось, но рыбаки задавали слишком много вопросов, и мальчик забеспокоился. Врать он стыдился, отмалчиваться после щедрого угощения оказалось неловко...

Выслушав правдивый рассказ, старший дяденька переглянулся с молодым. Снял очки и, протирая их носовым платком, странно сморщился, будто собрался заплакать.

— Ох и далеконько же вы забрались! Вот что: давайте-ка мы отвезем вас обратно на мотоцикле. Даю честное слово: пока не убедимся, что Тварь изолиро-

вана... изолирован, — поправил он себя, — мы вас не оставим.

— А лодка? Хозяин, наверно, ее потерял.

— Не потеряет, вернем на место. С пляжа ведь, говоришь, угнали? Вот туда и вернем.

— Плохой человек сказал, что найдет меня хоть на земле, хоть на небе...

— Не найдет! — воскликнул молодой. — Его скоро нигде не будет, этой вонючей Твари! Такие и до тюрьмы не доживают.

— Ну-ну, тише, — нахмурился очкастый. — Незачем детям знать.

— Пусть знают! — яростно возразил молодой. — Зато не станут бояться. Забуди о нем, малыш. Считай, что его больше нет, ни на земле, ни на небе...

Как же чудесно было ехать с рыбаками в коляске трехколесного мотоцикла! Принц первый раз в жизни ехал на мотоцикле, и Русалочка тоже. Дяденьки закутали их в брезентовые куртки и время от времени спрашивали сквозь тарахтенье мотора:

— Не замерзли? Не замерзли?!

Звонящий ветер бил в толстое овальное стекло, пушил волосы девочки и вычесывал из них запутавшиеся соломинки. На пыльной дороге смешались следы колес, последние белые бабочки беспечно порхали в колеях над жухлым клевером. Принц даже окурки забыл высматривать...

Днем остановились в большом поселке, пообедали в столовой для механизаторов. Вермишелевый суп с мясом и котлеты были очень вкусными. Русалочка съела гречневый гарнир и подливу облизала с тарелки, хотя обычно ела нехотя.

В столовой сидели сплошь дяденьки с хорошими лицами, Принц ни у кого не заметил кривого щеля-

стого рта. Полная женщина за железной стойкой раздачи положила на поднос горсть карамели «Белоснежка».

Механизаторы вышли на крыльцо покурить, и молодой рыбак вышел. По сочувствующим глазам людей мальчик догадался, что он рассказал всем страшную историю. Мужчины гладили по голове Русалочку, похлопывали по плечу Принца. Один седой, чем-то похожий на бабушку дяденька, блестя влажными глазами, подарил бумажную денгю — целых пятьдесят рублей! — и сказал:

— Береги свою девочку.

В этом поселке Принц понял, что хороших людей на земле гораздо больше, чем дурных. Русалочка уснула, тепло прижавшись к нему. Разноцветные пряди разметались, нос немножко облутился на солнце, щеки разрумянились, и тень от ресниц лежала на них, как крылышки ночных мотыльков.

* * *

В детдом прибыли только к вечеру — далеко уплыли по течению. Там со вчерашнего дня стоял переполох, искали пропавших детей и повсюду звонили, а с обеда узнали об их путешествии на лодке и мотоцикле с рыбаками.

Милиция схватила Тварь, Белоконь был допрошен и сидел один в изоляторе главного дачного корпуса. Воспитатели, горестно ахая, расспрашивали Принца. Потом пришел милиционер-следователь — допытываться, трогал его Тварь или не трогал. Мальчик чистосердечно, как просили, отвечал: «Не трогал», удивлялся одним и тем же вопросам, будто ему не верили, и устал повторять рассказ.

Няня шепнула Русалочке, что важная комиссия решила отправить Белоконя в специальный интернат для трудновоспитуемых детей, завтра с утра за ним должна была приехать машина...

Все взрослые в этот день излучали небывалую доброту. Повариха смилостивилась дать еды после ужина, сердобольно качая головой: «Наголодались...» Пока отрезала две пухлые горбушки с буханки, мазала маслом и посыпала сахарным песком, Принц сунул за пазуху стоящий на полке стакан со свечой и коробком спичек. Поблагодарив за хлеб, завернул его в лопуховые листья.

Ночью, когда все уснули, мальчик через испытанное коридорное окно выпрыгнул во двор. Крупные при полной луне звезды мохнатились вокруг себя расплывчатым голубым сиянием. Темнота не была крошечной, но зарешеченное снаружи окно изолятора загораживали березы, и Принц, дойдя, зажег свечу. В этой стороне главного корпуса спален не было, вряд ли кто-то заметил бы огонек.

Едва раздался стук в решетку, оконная створка внутри распахнулась.

— Чего тебе?

По судорожной прерывистости голоса Принц понял, что арестант плачет.

— Хлеб принес.

— Зачем? Меня кормили вечером.

— Просто... Вдруг утром позабудут. Я знаю, ты с коркой любишь.

— Давай, — вздохнул Белоконь, и сквозь массивную железную клетку вылезла рука.

— С хлебом не так страшно, — сказал Принц.

— Лишь бы крысы, блин, не пришли, я их боюсь.

— Крысы?

— Ага.

— Откуда?

— От верблюда. Тут же зерносклад рядом. Без толку травят, я их видел, когда печенье в кладовке хотел спереть. Они как свиньи визжат, глаза красные, ширшир — побежали, одна прямо по моей ноге! Я со страху даже ключ не повесил в кухне. Утром узнали, пошло, блин... Если увидишь печенье, грызенное с углов, не бери...

Потом Белоконь жевал горбушку и рассказывал о своей семье. Мама его заболела и умерла, папа сидел в тюрьме за то, что запустил жучков в электричество и с их помощью украл свет. Младший брат находился в доме малютки.

Принц очень удивился, но постеснялся спросить, как это отец Белоконя ухитрился выдрессировать жучков, чтобы они воровали свет. Да ведь и свет — не вещь, с собой не утащишь, неужто волшебство?!

— Алешку должны сюда привезти осенью, а я — вот, — печально продолжал Белоконь. — Думал, встретимся, вот будет радость, братишка же, наверно, меня не помнит совсем...

О чудовище в облике человека, которому доверчивый Белоконь в начале лета проболтался о братишке, не было сказано ни слова. Мальчишки разговаривали, как близкие друзья, Принц рассказал о бабушке, старом доме, о палатке с сеном и фотографиях родителей; об ударенной молнией лошади, председателе с замазанным лицом и довоенном прадедушке, еще не получившем рану в Маньчжурии... Белоконь слушал внимательно, ни разу не перебил.

Ночь незаметно пошла на убыль, свеча прогорела, и на пальцах застыли парафиновые чешуйки. Око-

ченевший Принц выкусывал их стучащими зубами, швыряя носом, и Белоконь сказал:

- Иди, спи. Почти светло, они уже не придут.
- Кто?
- Крысы, — выдохнул Белоконь тоскливо.
- Давай я провожу тебя утром?
- Не надо...

Принц все-таки проводил. Бежал за «уазиком», увозившим куда-то Белоконя, и, кроме «до свидания», кричал почему-то «прости». Не знал, за что просит прощения — то ли за свое невольное предательство, которое предательством не было, то ли вместо кого-то большого, взрослого, — непонятно кого, кто ни в жизнь ни перед кем не винится, как бы виноват ни был.

Мальчик кричал «прости», надеясь, что второй, в машине, его слышит.

Когда «уазик» скрылся за углом, Принц заплакал. Ему было жаль, страшно жаль, что он, скорее всего, больше никогда не увидит Белоконя и никогда они не станут близкими друзьями, какими были всю ночь.

* * *

Сторож прибил металлическую филенку в заборе внизу, где воспитательское око не углядело зазора. Понемногу затенялись, вымарывались в душе Принца мысли о кошмарном происшествии, стоившем ему многих переживаний. Но воспоминание о нечаянном обретении и потере единственного друга сохранилось отчетливо. Русалочку Принц подружкой не считал. Она просто была *его* девочкой.

...А это было его последнее лето в детдоме.

Пророча мальчику новую семью, Альбина Николаевна ошиблась на год и четыре месяца. Если мерить

годами — временем взрослых, то на государственном обеспечении он пробыл недолго, в детском же измерении как будто нескончаемо пробивался сквозь тягучие слои жизни.

Мама появилась в детдоме осенью перед Днем города. У нее был такой же растерянный вид, как у других людей, которые приходили раз в месяц, раздарили конфеты и пряники, а потом навсегда уводили с собой кого-нибудь из детей. Или не навсегда. Несколько мальчиков и девочек, вернувшись обратно, грустно хвастались, что погостили классно, однако жизнь в новой семье по каким-то причинам не заладилась.

Принц не обратил внимания на следовавшего за женщиной человека — высокого и белокурого. Но она!.. Она была точь-в-точь его мама с фотографии, там, где она у палатки в подножии складчатой горы. Только постарше, и не серая, а цветная: короткие золотистые волосы, глаза карие и белозубая улыбка в тронутых красной помадой губах. На груди темно-синего платья сверкали дождевики стекляруса.

Принцу очень хотелось побежать к женщине с остальными, крича: «Мама, мама!» Он не побежал. Стоял в углу, пока она раздавала детям шоколад, кукурузные брикеты и коробочки монпансье. Она сама подошла, и сердце Принца забилося где-то чуть ниже горла. Присев перед Принцем, женщина спросила:

— Хочешь пойти со мной на праздник?

— Хочу, — сказал он и взял Русалочку за руку. — С вами и с ней.

Женщина приподняла красивые брови, а белокурый мужчина засмеялся.

— Хорошо, — согласилась она. — В субботу я приду за вами.

Все три дня до праздника Русалочка оживленно общала всем в школе, что ее с Принцем пригласили на веркиверк. Она просила няню заплести ее по-особенному, с волнением шепталась о чем-то с Альбиной Николаевной и, крутясь перед зеркалом в гардеробе, примеряла какие-то платья.

Принц собрался торжественным утром, отметив сдержанное смятение тем, что старательнее обычного почистил зубы и обувь.

Ах, какой был праздник! Словно подгадал к погоде — солнце не по-осеннему сияло во все небо, и в глазах людей отражалась будущая весна. Теплый город пестрел флагами и плакатами, навесы подъездов рвались ввысь на гирляндах воздушных шаров. По проспекту — сосчитать не успеешь! — проносились красные и желтые автобусы. С одной стороны площади, у памятника Ленину, на трибуне под транспарантом, стояли ряды строгих дяденек в темных пальто и по очереди читали неинтересные стихи в рупор. Но люди слушали вежливо, громко хлопали и даже кричали «ура». На другой стороне, во всех углах, немножко перебивая друг друга, шли представления на концертных площадках. Артисты в нарядных костюмах водили хороводы, народ толпился вокруг комедиантов, чечеточников, частушечников, пели какие-то хоры. Дети фотографировались с огромными Чебурашкой и крокодилом Геной, и всюду, куда ни глянь, с радужных лотков продавались мороженое и сладкая вата! Но женщина повела детей в кафе «Мороженое», где у нее работала знакомая. Мест за столиками, правда, не нашлось, зато им тут же принесли заказ к широкому подоконнику: высокие стаканы с шипучим лимонадом, а главное — вазочки с шариками вкуснейшего пломбира, усеянного шоколадной крошкой. Потом

Эдуард Анатольевич — так звали белокурого мужчину — посадил Принца с Русалочкой на красочную тележку. Ее возила вокруг площади настоящая лошадь!

После катания смешные клоуны вручали детям призы за загадки. Их самим нужно было сочинить.

— Весной прилетает на дачу будить людей, а осенью улетает, — придумал Принц.

Клоуны не смогли отгадать, что это петух!

— Тонкие ниточки растут, растут, растут, и придется стричь, — сказала Русалочка.

— Ай, у меня уже не растут! — засмеялся клоун с носом-шариком на резинке, снял колпак и оказался лысый!

Принц получил за петуха красно-зеленый резиновый мячик, а Русалочка — крохотного голыша в голубом фланелевом конвертике.

Но больше всего Принцу понравилось выступление фокусника на одной из площадок. Его серебряные пиджак и брюки выглядели как латы космического воина. Под воротом белоснежной рубашки трепетала крылышками бабочка-галстук. Такая же бабочка-усы чернела под носом, а сросшиеся на переносице брови походили на чайку в полете.

Помощник в блестящем трико вынес на сцену усеченный треугольник в звездах, высотой примерно со стол. Прямо с головы фокусника на пирамидку ловко опрокинулся черный атласный цилиндр, в руках же, будто вытянутая из воздуха, возникла хрустальная палочка. Фокусник взмахнул ею, проговорил магическое заклинание, и вначале из цилиндра повалил фиолетовый дым с искрами, а затем веселым фонтаном взвилась масса разноцветных лент! Но это было не все! Вслед за лентами показалась цветочная гирлянда. Подхватив ее кончик, фокусник медленно закру-

жился на месте, и она стала на него наматываться. Не очень большой, между прочим, цилиндр выбрасывал гирлянду все быстрее. Она обернула серебряные колени фокусника, поднялась выше и росла, росла, росла, точно волосы Русалочки, — давно пора стричь! Цветы сплошь оплели его пояс, грудь, шею, и вот уже за первой бабочкой-галстуком скрылись встопорщенные бабочкой усы... А фантастическая гирлянда все не кончалась! Лишь когда она обвила лицо до самых глаз, в пышных лепестках послышалось глухое бормотание... и, о чудо! Фокусник стоял на сцене совершенно свободный, а гирлянда роскошными витками лежала у его ног!

Принц был как во сне и не верил собственным глазам. Этот человек — взаправдашний волшебник! Под конец он поднял чудодейственный цилиндр, потряс над толпой, и на людей посыпались ириски «Золотой ключик»! В руках у детей оказалось по ириске. Фокусник помахал цилиндром, поклонился и ушел. Ему хлопали долго-долго. Помощник унес звездную пирамидку...

Принц размечтался, что к Новому году выстругает в мастерской палочку, оклеит ее фольгой и смастерит из картона цилиндр. Спрячет туда все конфеты из новогоднего подарка и станет доставать их волшебной палочкой! Надо только придумать и выучить красивые слова заклинания. Представив, как Русалочка хлопает от восторга в ладоши и радуется его чудесам, Принц засмеялся. Фокусник, наверное, мог бы наколдовать и раковину...

В немногочленной столовой или ресторане, сияющем зеркалами и люстрами, они ели за полотняным столиком ветчину, нарезанную как лепестки роз, зеленый салат и что-то восхитительное, горячее,

в горшочках, со вкусом сливок, грибов и мяса. Стыдно было спросить, что это такое. В стеклянной вазе нежно румянились пушистые персики, с края свешивалась кисть винограда, сквозящая синим светом...

Когда Эдуард Анатольевич вез их в детдом на своих шикарных «Жигулях», Русалочка, засыпая от обилия еды и впечатлений, пролепетала:

— А где веркиверк?

— Какой веркиверк? — удивилась Мама.

Принц неожиданно для себя стал называть эту женщину Мамой в мыслях.

— Фейерверк, — объяснил он.

— Сложное слово, ха-ха-ха, — расхохотался Эдуард Анатольевич. Ее муж вообще много смеялся.

Дети, конечно, ужасно завидовали счастливым, и разговоров на следующий день была уйма. У Русалочки рот не закрывался, тем более что на прощание Принцу вручили пакет с фруктами и другими лакомствами. А вечером она заболела, и ей поставили горчичники. Принцу не позволили подходить к больной, но перед сном он проскользнул в девчачью комнату.

Русалочкина ладошка была горячей и влажной. Принц думал о несправедливости здоровья: сколько она мерзла летом на лодке — и все обошлось, а тут, из-за каких-то мороженных шариков...

* * *

Альбина Николаевна с утра позвала в директорскую. Принц испугался. Что они натворили?.. К директору, внушительной тетеньке в желтом парике, с губами, стянутыми в замочек, воспитанников водили в особых случаях нарушения дисциплины.

Там сидели Мама и Эдуард Анатольевич. Директор встала из-за кабинетного стола и разомкнула свой ярко-красный замочек:

— Ну, здравствуй, дорогой.

Принц оглянулся — за спиной не было никого, воспитательница вышла. Значит, это ему.

— Поздравляю! Теперь у тебя будет семья...

Директор говорила и говорила, а он в ужасе думал: а как же Русалочка? Мама ее не возьмет? Не хочет взять? Его девочку? Она выбрала только его? Почему?!

— Без Русалочки я никуда не пойду, — твердо сказал он.

— Что за русалочка? — растерялась директор.

— Моя, — пробормотал он.

Вновь выпорхнувшая из двери Альбина Николаевна со стопкой вещей Принца в руках подбежала к ней и, прикрыв рот ладонью, что-то прошептала в ухо.

— А-а, эта... — молвила директор и снисходительно улыбнулась.

— Девочка болеет, ей пока нельзя выходить на улицу, — затараторила воспитательница. — Вы обязательно встретитесь, когда она выздоровеет, но, наверно, не скоро, ангина очень заразна, ты же умный мальчик и хорошо знаешь, как опасно в таком состоянии... у девочки жар, ей нужен покой, и сегодня твою Русалочку должны поместить в больницу!

— Вы ее возьмете? — прямо спросил он Маму.

— Вот выздоровеет, тогда и посмотрим.

Ему не понравилось это «посмотрим», но взрослые громко заговорили и не дали уточнить вопрос. Мама принялась застегивать на нем какую-то незнакомую куртку.

— Я могу повидать ее сейчас? — осмелился он, уже одетый.

— Русалочка спит, не надо тревожить.

Смахнув что-то со щеки, Альбина Николаевна поцеловала его на прощание.

Принц смотрел в заднее окно машины на грустно повисшие головки подсолнухов. Они выросли летом на том месте, где он рассыпал семечки, принесенные когда-то Русалочкиным отцом.

«Жигули» выехали за ворота детдома. Принц молчал, Мама тоже молчала. Он понял: она знает, как ему больно.

— Ты плачешь? — забеспокоилась она, поднимаясь с ним за руку по лестнице, и только тут он заметил, что не может остановить слез. Они капали на ворот новой куртки, противно теплые и соленые. Мама вытерла платком его лицо:

— Не плачь, мой мальчик.

Она назвала его, как бабушка. Обняв Мамину узкую талию, он уткнулся ей в грудь и разрыдался.

ВРЕМЯ ДЕДА МОРОЗА



С маминых похорон прошло полгода, и обремененная Женькой и печкой Леля поняла, что время относится к человеку глубоко наплевательски. Что ему, времени? Торопится себе, бежит, будто впереди бесплатно дают колбасы сколько хочешь. Часы разбегаются, как ртутные шарики из разбитого термометра. Невозможно поймать их, сложить плотно, красиво, без пустот. Страшно подумать, сколько часов крадут у человека нелюбимая работа и домашняя суета.

Вот у Женьки время широкое и ласковое. В детстве всегда так. В детстве каждая минута имеет значение. Женька за минуту успевает задать сто вопросов и одновременно что-нибудь натворить.

А Леле уже семнадцать лет, пять месяцев и восемь дней. Ее детские минуты давно сжались до суетливых взрослых секунд.

Леля теперь много плакала. Если бы кто-то спросил, как в сказке: «О чем, девица, плачешь?», она бы воскликнула: «А как мне не плакать!» И рассказала бы про сволочную печку, которая деньги сосет, как вурдалак. В смысле, дров жрет много, а они нынче ого-го сколько стоят.

Но никто не спрашивал. Время такое. Не сказочное, чтоб ему провалиться. Не успела Леля оглянуться — завтра Новый год, а дрова улетели в трубу, как и деньги.

Леля могла бы сдать Женьку в детдом на пока, ей предлагали, и уехать от этой печки на край света. Потом бы выучилась на юриста, заработала побольше денег и забрала бы сестренку обратно. Но жалко продавать дом — единственное, что осталось от мамы. Почти все остальное Леля уже продала.

Маме тяжело было одной их растить. Раньше Леля этого не понимала, просила купить то-се, дулась из-за мелочей, а теперь — вот...

Елку они ставили каждый год. Живую, смолистую. Игрушки сохранились, в кладовке лежат, в старом сундуке. Леля представить не могла, где мама елку добывала. Когда спешила на работу, смотрела в окно магазина игрушек, где стояли искусственные китайские елки с мигающими огоньками. Мельком смотрела, чтобы не заклиниваться на мысли, а то опять тушь под глазами размажется. От отчаяния хотелось пойти в лес и елку срубить. Или сесть в сугроб и заснуть навсегда.

Леля работала продавщицей в круглосуточном частном магазинчике и получала сущий пустяк, даже говорить не хочется сколько. За хозяйку неудобно, что такая жадина. Но и то хлеб. То есть после выплат за свет, садик (хотя были льготы) Леле с Женькой как раз только на хлеб и хватало. Ровно полбуханки в день.

Тетя Надя говорила:

— Пьяный придет — не теряйся. Грех лишнее в карман не положить, все равно пропьет. Учись, пока я живая, — и прятала коробку с мелочью вниз, под стойку, будто сдачи нет.

Тетя Надя считалась в магазине главной продавщицей, была хорошей женщиной и соседкой. Она же сюда Лелю и устроила. Леля была ей благодарна, но

обсчитывать людей, пусть даже пьяных, так и не научилась.

Через два дня прожорливая печка съест последние дрова, и в новом году топить будет нечем. Леля с тоски нагрубил старика, спросившему, почему нет свежего хлеба.

И тут зазвонил телефон.

— Хай, это я, Жоржик, спикинг, — сказала трубка хриплым голосом бывшего одноклассника Гошки. — Как ты, Лелинский? Где в Новый год собираешься тусняк давить?

— С Женькой буду сидеть. Ты что сипишь, простыл?

— Ну да, угораздило вот. Я чего звоню-то: ты как в плане погудеть? Сплать малышню куда-нибудь. Посидели бы душевно, побазарили, почавкали.

— Некогда гудеть, — сказала Леля. — Не до душевности мне. Дрова где-то доставать надо. И Женьку некуда девать все равно.

— Ты че, сдурела — одна справлять? Сопьешься.

— Иди на фиг, — разозлилась Леля. — Мы с тетей Надей сегодня в день, значит, завтра в ночь будем работать.

— Слушай сюда, Лелинский, — оживился Гошка. — Давай баш на баш: ты уступаешь нам хату на ночь и спокойно себе трудишься на благо народа. А мы елку обеспечиваем.

— А Женька?

— С собой возьми.

— А дрова?

— Свои принесем. На ночь. Я тебе тут охрану дома предлагаю, елку бесплатно, да еще, может, жрачка останется, а ты в ломы!

— Только уберите после себя.

— Во что бы то ни стало! — обрадовался Гошка. — Полный сервис! Ты, главное, скажи, где ключ оставишь!

«Ладно, пусть, — подумала Леля. — Позвоню хозяйке. Поздравлю с праздником и попрошу дать аванс сразу на следующий день после Нового года. Скажу, что дров нет. Не зверь же, поймет. Или тетю Надю уговорю позвонить. Женька на коробках поспит в задней комнате. А утром пойдем домой и натопим печку последними дровами жарко-жарко».

В саду Женька, одеваясь, как всегда, лезла с вопросами.

— Скажи, Лель, а Дед Мороз есть?

— Есть, — машинально ответила Леля.

— А Сашка говорит, что нет. Деда Мороза, он говорит, нарочно придумали, чтобы маленьких обманывать. А на самом деле его нет, и чудесов тоже.

— Побольше всяких Сашек слушай, глупая, — рассердилась Леля. — Взрослые не обманывают.

— Почему?

— Потому что потому, окончание на «у». Не высовывай нос из шарфа, отморозишь.

— А у нас елка будет? — глухо спросила Женька из-под шарфа.

— Будет, — пообещала Леля. — Но только после Нового года. Потому что мы с тобой в Новый год работаем, поняла?

— Сашка же правда врет, да, Лель?

— Правда врет.

— А тетя Надя говорила, что Дед Мороз на нас плюнул. Я слышала.

— На кого это он плюнул? — насторожилась Леля.

— Ну, на нас. На всех людей. Потому что у нас долбанутая страна.

— Не смей подслушивать, что взрослые говорят. Дед Мороз не плюется.

— Ему плюваться нельзя, — понятиливо кивнула Женька, еле поспевая за сестрой. — Он же старый. И потом — в бороду попадет слюнями. Или на елку. Плюваться надо в поганое ведро, да ведь, Лель? Что такое долбанутая? А тетя Надя, значит, тоже врет?

— Нет.

— А почему она врет, раз она не врет?

— Отстань, достала ты меня, — сказала Леля и выпустила Женькину руку.

Женька забежала вперед.

— Ты плачешь, Лель, да? Лелечка, почему ты плачешь?

— Потому что потому...

Перед Новым годом в магазине было тихо.

— Народ загодя затарился, — вздохнула тетя Надя. — Люди как люди, гуляют сейчас, пьют, Новый год встречают. А мы как прокаженные вкалываем. Теллика нет. Ни президента, ни курантов не услышим. Хозяйка, жмотина, хоть радио купила бы, что ли. А дома у меня курица с гриля, только подогреть, колбаса копченая, лосось из вакуума... Семен с друзьями уже, поди, все начисто подмели.

Тетя Надя сегодня злилась. Даже Женька ее ни о чем не осмелилась спросить, как тихонько сидела в углу, так же тихо и уснула.

Примерно к двенадцати часам открыли бутылку шампанского. Леля только чуть пригубила, и Новый год пришел. На Лелю жизнь в новом времени впечатления не произвела, а на тетю Надю, кажется, — да.

На нее ни с того ни с сего напало трудовое вдохновение. Решила прибраться на складе. Расшвыряла туда-сюда ящики и коробки, ворча на нерасторопную Лелю. И лишь выпив все шампанское, подобрела.

После часу ночи накатила волна местных пьяниц.

— Ишь, — кричала на них тетя Надя, — сморчки! Вам бы сейчас на подушки да баюшки, а вы снова претесь! Что, окна дома побить не терпится?

— Какие наши годы, мы еще морды друг другу не набили, — отшучивались пьяницы.

— Ох, я вам! — грозила тетя Надя. Разномастные бутылки жонглерскими булавами мелькали в ее ловких руках.

Утром Леля так и не позвонила хозяйке. Та даже не подумала поздравить своих продавщиц. Забыла, наверное.

«На сегодня дров хватит, — размышляла Леля, влочась за бегущей вприпрыжку Женькой. — А завтра я что-нибудь придумаю. Может, у тети Нади денег в долг попрошу. Кубометра на два. Правда, машины нынче здоровенные, не продают помалу, но вдруг повезет. Объясню, что совсем нечем топить. Люди же, не звери. Тем более праздник...»

Шагнула во двор...

И обомлела. Женька оглянулась на сестру.

— Лель, ты когда дрова купила?

У забора охристо желтела еще не присыпанная снежком аккуратная поленница. Снег был подметен и сложен сугробом в углу двора. Дом встретил теплом и запахом свежей хвои, как в те дни, когда была жива мама. В углу топорщилась ветками елка. Настоящая, живая.

Сюрпризы на этом не исчерпались. На столе красовались бутылка шампанского, коробка с тортом и большой блестящий пакет. Леля протерла глаза: не сон ли это? Нет, не сон. Шампанское запотело, будто только что вынули из холодильника, и Женька уже шуршит пакетом.

— Лель, Лелечка, конфеты! И яблоки, и апельсины! А это что? Ой, лошадка, смотри, какая хорошенькая! Лель, давай елку наряжать!

Леля пожарила картошки, занесла с улицы давно припрятанный кусок сала. За стол сели поздновато для празднования Нового года. Зато было чем праздновать. Все как у людей, пусть и не по времени.

Леля смотрела, как сестренка радуется, и глаза опять начало щипать. Какой все-таки Гошка молодец. А она о нем плохо думала. Женька уплетала картошку и о чем-то весело щебетала. Днем она уснула, обняв перепачканную шоколадом плюшевую лошадку. А Леле почему-то совсем не хотелось спать. Следовало позвонить Гошке, поблагодарить за подарки. Леля нашла записную книжку с адресами и телефонами и побежала к тете Наде.

— Ну что, выпалась? — спросила тетя Надя. Лицо у нее было красное, пьяное, а глаза добрые-добрые, как у Ленина. — А мы тут с соседкой справили чуток. Я как раз к вам собиралась, деньги тебе хотела отнести на дрова. Возьми, вон лежат. Бери, бери, не думай, потом как-нибудь отдашь. Еще пирог рыбный приготовила, тоже возь...

— Дрова есть уже, — выпалила, не выдержав, Леля. И все рассказала.

— Ишь ты! — удивилась тетя Надя. — Смотри-ка, парень какой! — И прищурилась: — А не ухаживает ли он за тобой, а? Семья-то у него как, ничего?

— Не знаю, — смутилась Леля. — Отец, кажется, начальником каким-то работает.

Набрала номер. Долго не отвечали. Видно, дома никого. И только хотела положить трубку, как Гошка отозвался еще более хриплым, чем вчера, голосом.

— Привет, Гоша! С праздником, — сказала Леля. Ей было почему-то неловко.

— Здравствуй, жопа, Новый год, — буркнул Гошка. — Чего надо?

— Спасибо тебе хотела сказать...

— На здоровье. За что спасибо-то?

— За все.

— За что за все? Не темни, договаривай давай.

— Ну, за дрова, за елку, шампанское...

— Ты дура или где? — прохрипела трубка после паузы. — Какие дрова? Мы к тебе вчера не ходили вовсе. Я, такой, с температурой валяюсь. Полный облом, ваще. Дерьмовый праздник. Весь вечер с предками торчал, как идиот.

— А кто тогда?.. — растерялась Леля.

— Откуда я знаю? Или ты чеканутая, или нажралась и глюки мерещатся с перепою, — сказал Гошка с завистью.

Леля положила трубку.

Дрова были сухие, звонкие. С утра кто-то хорошо протопил, а сейчас, наверное, уже похолодало. Как хорошо, и колоть не надо, кто-то наколол уже... Кто?

Женька еще спала. Леля села на детский стульчик перед печкой шипать лучину.

Ясно море — не тетя Надя. Не Гошка. Не хозяйка — та из-за каждой сотни жабой давится. С маминой работы? Вряд ли. Когда болела, раз-два пришли и забыли. И на поминки не все явились, даже на могилу

не поехали. Не то время, когда мама здорова была. Но кто же тогда это все привез?

Леля не заметила, что сказала последние слова вслух. И услышала пение проснувшейся Женьки. Сестренка смотрела веселыми глазами и пела: «Облака-а — белогривые лошадки, облака-а, вы такие ненаглядки...»

— Тапки, — строго сказала Леля. — Опять простудишься.

Женька села на кровати, поболтала ногами по полу, нащупывая тапочки.

— Лель, ты, что ли, не знаешь?

— Чего?

— Кто елку и подарок привез. Сама же говорила, что Сашка врет!

— Ну.

— Ты, что ли, глупая, Лель? Или ты, может, тоже думаешь, что чудесов не бывает?

— Почему? — тупо спросила Леля.

— Потому что потому, окончание на «у», — сказала Женька. И засмеялась.

ВИКТОРИЯ
ГАБЫШЕВА



ЧУДО ЕГИПЕТСКОЕ



С Изой всегда было легко и весело. Надя знала ее еще с тех времен, когда их горшки в детском саду стояли рядом на полке. Потом малышковый возраст сменился писклявым, голенастым, с косичками и коричневыми форменными платьицами.

Иза уже тогда умудрялась выделяться своеобразной женственностью (если это определение вообще подходит маленькой девочке). Став чуть постарше, одной из первых начала подводить глаза обыкновенным черным карандашом, учила одноклассниц, как на стрелку «поехавших» капроновых колготок капнуть лаком для ногтей, и другим женским премудростям. В десятом девчонки, собираясь на дискотеку, выстраивались к Изе в очередь, и она, вооружившись акварелью, разрисовывала девичьи веки длинными загадочными тенями... Благословенное время, когда не было ни косметики, ни аллергии! Цвет волос менялся с помощью копировальной бумаги, а простые стекла очков к лету затенялись фломастерной краской.

После школы Иза, опять-таки опередив всех, «сбежала» годика на два замуж. Напропалую хипповала с длинноволосым мужем, мотаясь с ним по сомнительным квартирам. Ходила в чем-то невнятном, мешковатом, да и пошитом, похоже, из чего-то вроде дерюги. Но, вернувшись в отчий дом, к вящей радости родителей, вдруг остепенилась. Поступила в институт, а по-

лучив диплом товароведа, — на работу в ведающую дефицитом торговую структуру.

Одноклассницы вовсю катали коляски с детьми, кое-кто «киндеров» уже и в школу за ручку водил. Иза же, метр с кепкой (про таких говорят: «Маленькая собачка до старости щенок»), своей неистребимой женственностью сбивала с панталыку и седовласых мужей, проходясь по семьям цокающими сапожками (каблук 12 см), и безусых, потеющих от робости практикантов, оставаясь свободной и независимой. Однако через десяток лет она вышла-таки замуж за своего начальника. Молодожены обзавелись шикарной квартирой в центре и окружили себя зеркалами, пуфиками и полупрозрачными импортными шторами. По цене «Жигулей» Изка купила собаку породы мастино неаполитано и назвала пса Сыночком.

Надю, изредка бывавшую у Изы в гостях, Сыночек игнорировал. Обычно он, флегматичный, лениво-царственный, по-хозяйски возлежал на угловом диване, сливаясь с серебристой обивкой. Беседуя с подругой, Иза время от времени крепко брала горячо обожаемого Сыночка за колышущиеся брыли и целовала в слюнявую морду.

...По сложившейся традиции под Новый год одноклассницы устраивали девичник. На этот раз решили собраться у Изы.

Она встретила гостей в чем-то воздушном, нежно-розовом. Каблочки атласных домашних туфелек утопали в шелковистом ворсе персикового ковра. Свечи в канделябрах освещали стол, где в хрустальных лодочках томились похожие на тараканов креветки с несчастными глазками, бутерброды с красной и черной икрой; в центре философски ухмылялся раскинув-

шийся на огромном блюде фаршированный поросенок. Вытянутые лепестки фужеров готовились принять темно-вишневое вино.

— Ешь ананасы, рябчиков жуй, — прошипела Маша в сторону.

По тому новорусскому, голодному для большинства времени стол нагло демонстрировал хозяйкину заносчивость и тщеславие. Но захмелели, и натянутый вначале разговор все чаще перебивался вечным: «А помнишь?..» Между осторожной дегустацией креветок (мало кто знал, как есть этих морских зверьков) вспомнили акварельные тени и «бумажную» краску для волос. Потом зашел разговор о мечтах — школьных и нынешних.

— Слушай, Из, — развернулась к хозяйке внушительным «буфером» Маша, размахивая рукавом, к которому прилипли остатки салата, — я вот, к примеру, мечтаю о даче. Возраст, что ли, к земле тянет? Надька — как из малосемейки в нормальную квартиру вырваться, дети подрастают. А о чем можешь мечтать ты? О звездочке с неба? Ну чего еще-то хотеть от жизни? Все есть: дом, как говорится, полная чаша, дача не дача, машина не машина, муж — не груш объелся...

— Чего хочю? — задумалась Иза. — Норковую шубу. Египетскую. Вы не представляете, какое это чудо!

Подруги удрученно замолчали. Мечтать о такой роскоши они не осмеливались. Если бы кто сказал, что через какой-то десяток лет все будут ходить в норковых шубах — от китайских до греческих, — никто бы не поверил. Самой шикарной считалась Томкина каракулевая дошка, на которую она угрохала все свои и мужнины отпускные. Надя ходила в перелицован-

ном мутоне. Маша — в драповом пальто с выдавшей виды крашеной лисой. Остальные тоже кто в чем...

Через год собрались у Томки.

— У меня, девочки, просто, на рябчиков с ананасами не надейтесь...

— Изка сказала, может, не придет. У нее Сыночек заболел, — сообщила Надя.

— Сыночек? У нее же нет детей! — удивилась Маша.

— Она пса своего так называет...

Перемысли Изе косточки. Вспомнили об абортах от первого «хиппатого» мужа, поиздевались над мечтой об «египетском чуде».

— А какая вроде душевная была девчонка. Омещанилась вконец. Людям жрать нечего, а у нее креветки... Чтоб ей подавиться!

— Перестань злиться, Машка! Сама-то ела — не подавилась. Тебе бы такого мужа, так и ты, поди, тоже ими объедалась бы и о норковой шубе мечтала.

— Э-э! — махнула рукой Маша. — Спасибо, что хоть не пьет нынче Васька мой — вылечился...

Разговор плавно перешел на мужиков, и об Изе забыли. А она вдруг пришла.

— Извините, девчонки, за опоздание. Ветеринара ждала, он моей собаке уколы делает... Такой мужчина, я вам скажу, даром что звериный доктор...

Она бы еще щебетала, но вдруг остановилась.

— Что вы на меня так уставились? — И, сообразив, рассмеялась: — А-а, шуба! А я про нее забыла совсем!

Иза любовно встряхнула свою красавицу. Шуба была немислимого, волшебного цвета, серебристо-голубовато-серо-жемчужная, с мягким поднято-ниспадающим воротом, изящно окантованным тонкой, меховой же косичкой, с крупными хрустальными пу-

говицами, расширяющимися книзу рукавами, мягко летящими полами, словно окутанная душистой, сухой и в то же время маслянисто сверкающей дымкой...

Ах! Подруги поняли Изу и простили сразу: о таком чуде действительно можно было мечтать!

— Египетская, — пояснила Изка. — Я такую и хотела. Немного длинна, правда, только на каблуках ношу.

— Можно померить? — с трудом сглотнув, хриловато спросила Маша, а руки уже потянулись — потрогать, пощупать неземную красоту.

— Конечно, меряйте! — Изка улыбалась. Она тоже понимала подруг.

Примерка перед узким Томкиным зеркалом в прихожке затянулась. Когда шубу накинула Надя, все разом вздохнули, а хозяйка египетского великолепия в искреннем восхищении закрутила головой:

— Надька, ты — королева!

А Надя и сама видела: шуба будто на нее была пошита. Сидела как влитая...

— Отпад! — выдохнула Маша, у которой пуговицы не сошлись на животе. Проголодавшиеся от избытка эмоций подруги набросились на еду как волки и через полчаса, к Тамариному смущению, опустошили тарелки с салатом и горячим. К чаю оказалось, что все перебрали с едой и питьем, даже Маша, отдуваясь, отказалась от торта.

— Теперь-то тебе мечтать точно не о чем, — сказала она Изке, возобновляя старый разговор.

— Теперь — да, — подумав, кивнула головой та. — Лишь бы Сыночек больше не болел, вот и все.

За разговором вначале не расслышали дверного звонка, и он загудел настойчиво и сердито. Тамара, сделав большие глаза, выбежала в прихожую. Послы-

шался недовольный мужской голос и Тамарин оправдывающийся.

— Девочки, — произнесла она упавшим голосом, заглянув в дверь, — Павел пришел. Он сегодня должен был у матери переночевать, но...

— Все, все, — заторопилась Надя, — не расстраивайся и не волнуйся, Тома, все нормально. Мы уходим. Спасибо тебе, было здорово.

За Изой собирался заехать муж, но попозже. Она решила прогуляться с подругами. Погода баловала: обычный в это время года туман испарился, падал легкий снежок. Женщины медленно шли по улице, лениво обсуждая проведенный вечер.

— Девчонки, в туалет захотелось, — остановилась вдруг Маша.

— Я тоже хочу, — отозвалась Иза. — Не подумали в суматохе у Томки сходить...

— Ой, не могу! Давайте скорей! — Маша помчалась вперед.

Ближайший туалет находился на рынке. Надя едва поспевала за пыхтящей Машей, Иза придерживала полы великоватой шубы и семенила за подругами на своих высоченных каблуках, оскальзываясь и смеясь.

Взошли по ступеням в кряжистое каменное зданье со стороны кокетливо выписанной буквы «Ж». Иза брезгливо подобрала шубу до колен. На лице ее было написано: «Что поделаешь, по нужде ходят и простые смертные, и люди, облаченные в заморское чудо...» Войдя, тотчас чуть ли не на цыпочки встала и опустила подол, хотя пол был неимоверно грязный. «Вид не хочет портить», — сообразила Надя. Несколько женщин, куривших у двери, едва не выронили сигареты и с откровенной завистью уставились на Изу.

Подергав закрытые дверцы, Маша простонала:

— Сейчас обоссусь!

— Очередь, — пояснила одна из женщин, не спускающая с Изкиной шубы оценивающего взгляда.

Маша наконец попала в вождеденный закуток. Освободился еще один, и Надя, стараясь не дышать, мотнула головой на вопросительный Изкин взгляд:

— Иди, я потом.

Специфическая вонь, казалось, не действовала на курящих.

— Египетская? — поинтересовался у Нади кто-то, не удосужившись уточнить, что именно. Без того всем понятно.

— Мг-м, — кивнула она и замерла в ужасе от дикого вопля, раздавшегося там, куда удалилась Иза.

Прошел миг ступора, и все, включая вылетевшую из своей кабинки Машу, столпившись у входа в узкий пенал, снова оцепенели.

Пол в кабинке был залит кровью, в которой плавали темные страшные сгустки... и подол шикарной шубы. Вполне живая Иза стояла на коленях, склонившись головой над умопомрачительно грязным унитазом, и копалась в нем руками...

Она уже не кричала. Кричала Маша:

— Шуба, Изка! Ты что! Ты что, Изка, шуба! Шуба-а-а!!!

От крайнего изумления и страха Маша не могла найти слов. Остальные потрясенно молчали.

— Спятила! — взвизгнул кто-то через мгновение.

— Сами вы спятили, — огрызнулась Изка, не поднимая от унитаза головы, и как-то странно пискнула, а следом послышался громкий кошачий плач.

Иза начала стягивать с себя шубу, хватая ее окровавленными руками...

Когда она выходила из кабинки, женщины поспешно расступились. Оглянувшись, Надя удивилась, сколько их успело набежать. Вроде всего три курили у двери... То маленькое, синюшно-красное, что Иза завернула в шубу, продолжало пронзительно плакать. И женщины разом заговорили:

— Мамочки мои!

— Ребенок!

— Милицию надо вызвать!

— Это девка молодая скинула, я видела ее, я видела, как она шла! — заголосила одна из «курилок».

— Сука какая!

— Шла и шаталась, я еще подумала...

— Мальчик... — сказала Иза, растерянно и счастливо улыбаясь. Щеки у нее были мокрые и черные от размазанной туши. — Я ему ротик почистила, он и закричал... Надя, ты можешь свой шарфик дать? Головку ему надо закутать, а у меня, видишь, шарф дурацкий, шифоновый...

Милиционеры с трудом разжали Изкины пальцы, чтобы подоспевший врач занялся ребенком. Надя подобрала с пола безнадежно испорченное египетское чудо... В роддом женщины поехали вместе.

— Ты что, Изка! Шуба, шуба... — плакала Маша, обнимая подругу.

...Следующий девичник справляли у Нади. Иза не пришла: ее сыну Андрюшке исполнился год.

ТАТЬЯНА
БУЛАТОВА



КЛИН КЛИНОМ



Когда-то больше всего на свете я боялась оказаться рядом со вставшей на дыбы лошадью. Представьте, как я себя чувствовала?! Лошади — самые классные животные, а мне страшно, потому что они огромные. Особенно когда на задние ноги поднимаются. Видела в парке, когда ждала своей очереди «прокатиться». Ужас! Никогда не забуду: две меня.

В то, что я боюсь лошадей, никто не верил. Только мама. Поэтому, когда меня спрашивали: «Девочка, давай прокатимся на лошадке?», мама сразу же отвечала: «Девочка не хочет». «А почему?» — приставали к ней «лошадники». «А потому!» — не церемонясь с ними, отвечала мама и на всякий случай брала меня за руку, чтобы никто не мог силком усадить меня на лошадь.

Кстати, мама всегда говорила, что ничего постыдного в таких страхах нет. Некоторые даже собственной тени боятся. И ничего, живут.

«Любой страх можно преодолеть», — убеждала меня моя дорогая мама, а я ей не верила, потому что на себе проверяла. Даже в парк ходила, чтобы на лошади прокатиться. Ничего не вышло: снова испугалась, и поэтому получилось только на пони. А это совсем не то, скажу я вам. Такое чувство, будто на трехколесном велосипеде катишься, только еще потряхивает.

Из-за этого мама меня водила к психологу. Непонятно только: зачем? Как будто делать мне больше нечего, как лошадей рисовать, больших и маленьких.

Сначала, главное, большая лошадь, а я рядом с ней — маленькая, а потом я большая, а лошадь мне по колено. Первый рисунок психолог посоветовала сжечь, а второй — повесить над кроватью. Я еще подумала тогда: «Спасибо, съесть не просят, уже хорошо».

Мама тогда сразу увидела, что мне у психолога не понравилось. Даже мороженое мне купила и предложила в кино сходить. Но я не захотела. Не захотела, и все. «Отстаньте все от меня! Все равно лошадей боюсь, что бы вы ни делали!»

— Тогда не подходи к ним! — рассердилась мама и быстро пошла вперед, как будто меня рядом не было.

И я тащилась за ней полдороги, пока она не обернулась и не спросила меня про то, чего я хочу на самом деле.

— На самом деле я хочу лошадь.

— Это нереально, — тут же похоронила мою мечту мама, — мы живем на третьем этаже в двухкомнатной квартире.

— Тогда я хочу научиться ездить на лошади.

— Учись, — с легкостью благословила меня мама.

— Я боюсь. Лошадь встанет на дыбы и сбросит меня на землю.

— Ну и что? — До чего же моя мама любит задавать глупые вопросы!

— Ну и то, — пришлось снова объяснять ей. — Я упаду и разобьюсь. Сама же говорила: «Костей не соберешь!»

— Ничего такого я не говорила. Не ври, пожалуйста, — заявила она и понесла совсем уж непонятно какую околесицу про то, что «волков бояться — в лес не ходить», «без труда не вынешь и рыбку из пруда», «у страха глаза велики» и вообще «клин клином».

Про «клин клином» я почему-то особенно хорошо запомнила. Вы бы тоже запомнили, если бы вам про этот «клин клином» раз сто сказали. Пришлось разбираться и искать, что этот «клин клином» значит. Объяснение мне не очень понравилось. Что-то вроде «подобное лечится подобным». Ну, например: начался насморк от того, что замерз? Обливайся холодной водой. Представьте себе: если человек боится попасть под машину, чтобы не бояться, нужно под нее попасть? Хороший рецепт, ничего не скажешь! Поэтому, когда моя мама летом заявила про то, что мы едем в Крым отдыхать и там-то и произойдет этот «клин клином», я огорчилась, потому что не знала, к чему этот «клин клином» относится: то ли к моим простудам, то ли к моим страхам. В этом вся моя мама: сначала скажет, а потом голову ломай!

Кроме «клин клином», в Крыму мне обещали Ласточкино гнездо, Ялту, Генуэзскую крепость, Севастополь и много чего, что я была обязана запомнить «на всю свою оставшуюся жизнь». Но «на всю свою оставшуюся жизнь» я запомнила море воды, море саранчи и затрапезную конеферму, на которой и случился обещанный «клин клином».

Все мамы считают, что морская вода — лучшее лекарство от простуды. Они свято верят в то, что двух недель на Черноморском побережье достаточно для того, чтобы прожить следующий учебный год без осложнений. Но... эти странные женщины категорически против того, чтобы дети находились в море круглосуточно. Складывается ощущение, что наши мамы плохо знакомы с математикой. Учебный год длится с сентября по июнь — это, на всякий случай, девять месяцев, — а отпуск на море длится всего две недели. Закономерный вопрос: сколько должен просидеть

в воде среднестатистический школьник, чтобы перекрыть дефицит солнца, йода и морской воды? Ну, явно не пятнадцать минут, это точно!

У моей мамы на сей счет было совершенно другое мнение, поэтому приходилось изворачиваться из всех сил. Например, делать вид, что я не слышу, как она кричит мне с берега: «Давай, выходи!» Или, как только выползешь из воды, сразу падать на песок, чтобы потом смыть его в море. Должна же я была как-то продлевать себе удовольствие?! Да и потом: что делать на пляже, если не купаться? Только есть.

Нам с мамой очень нравилась кукуруза. Но не от первого встречного, а от торговца по имени «дядя Саша». Когда он появлялся, все улыбались. А мама его вообще называла «облаком в парусиновых штанах и соломенной шляпе». У «облака» — ярко-голубые глаза и беззубый шамкающий рот. Торговаться с «дядей Сашей» было бесполезно: мы пробовали. Брал он дорого, потому что товаром своим гордился: початки были крупные, хорошо проваренные и всегда горячие. Съешь такой один — и полдня сыт.

Будь моя воля, я бы совсем не уходила с пляжа. Какая разница, где солнце светит?! У воды даже лучше, но мама уверяла меня в обратном и зачем-то накрывала нам обеим плечи полотенцем. Как это укрепляло мое здоровье, не ясно, но проще было согласиться, чем спорить. Соответственно, когда моя любознательная мама заявила, что наступило время осуществить мечту, я тут же поинтересовалась, чью. Выяснилось, что мамину, хотя до отъезда в Крым эта мечта была моей собственностью.

— «Больше всего на свете я хочу научиться ездить на лошади!» — дразнила меня мама и просила сопровождать ее на конеферму, потому что ей, видишь ли,

страшно. «Ты боишься лошадей?» — от счастья со мной чуть было не случился удар. «С какой стати? — возмутилась она. — Я просто боюсь идти одна в незнакомое место!» Вот это логика: значит, чтобы перестать бояться незнакомых мест, нужно прийти в это незнакомое место.

Дорога туда была недолгой, но запоминающейся: палило солнце, из-под ног выстреливала саранча, и каждый выстрел сопровождался оглушительным маминым визгом. «Пойдем домой», — хотелось мне предложить ей, но вместо этого я просто затыкала уши, когда она начинала кричать.

— Тебе не страшно?! — мама, видимо, подозревала меня в том, что я притворяюсь. А мне и правда не было страшно: ну прыгают и прыгают, стрекочут. Мне лично они несколько не мешали. Саранча как саранча, просто большие кузнечики. Мне их даже жалко стало: это я могу мамины крики переносить, а насекомые — не знаю. Наверное, у них сердце от них разрывается, просто сказать не могут.

Зато работники конефермы могут. Им все равно, что о них подумает моя мама. Она у них здесь в Крыму не хозяйка, побудет две недели и уедет. А им оставаться, поэтому они не обращают внимания и делают свое дело, невзирая на мамин визг. Но все равно он их отвлекает. И не только их, но и всех обитателей фермы. Например, пони-альбиноса с градусником в попе.

Сейчас-то я уже знаю, что ничего странного в этом нет: у животных так температуру меряют, потому что у них нет рук, только ноги или лапы. А если нет рук, значит, нет и подмышек. Значит, градусник не поставишь. Поэтому ничего удивительного.

На конеферме, кроме двух человек в загоне с больным пони и еще одного модно одетого парнишки из

числа тех, о которых бредят мои одноклассницы, никого не было. Последнего мамин визг нисколько не побеспокоил. Он даже не повернул головы, когда мы к нему приблизились. Так и стоял, согнувшись над ванной, полной воды, и что-то в ней полоскал, приговаривая: «Не бойсь. Щас. Уже все».

— Сумасшедший, — шепнула мне мама, схватила за руку и потащила под навес, сиротливо стоявший прямо посреди фермы.

— Зачем только мы сюда притащились?! — задала она риторический вопрос и уселась на лавку.

— За мечтой, — напомнила я маме и села рядом.

Кстати, парень мне сумасшедшим не показался. Зато моя мама никак не могла успокоиться и все время вскакивала с места и пыталась разглядеть, что же тот там делает.

— По-моему, он моет котят, — предположила она, а потом добавила: — Или топит... Надо немедленно прекратить это безобразие!

«Живодер» реабилитировался раньше, чем до него добралась моя разгневанная мама. На вытянутой руке у него висела драная каракулевая варежка с вытаращенными глазами-пуговицами и синим животом. «Варежка» подергивалась в руках спасателя и нежно поскуливала.

— Выкинули, черти, а она породистая, — объявил «живодер» и протянул маме псину: — Подержите, будьте добры!

— Я не могу! — тут же объявила моя мама и кивнула в мою сторону: — Пусть она подержит!

Мне, очевидно, доверить спасенное животное молодой человек не решился и положил мокрую поскуливающую «варежку» на деревянный стол под навесом:

— Посторожи, чтоб не упала. Я щас, — скомандовал он и испарился в неизвестном направлении.

«Варежку» было жалко. Она мелко дрожала.

— Давай возьмем? — предложила я маме, но тут же пожалела, потому что она покрутила пальцем у виска и отвернулась в сторону.

Когда мама отворачивается в сторону, это означает, что мы в ссоре. В ссоре мы молчим и делаем вид, что не знаем друг друга, до тех пор, пока кто-нибудь из нас не забудет про это и не заговорит как ни в чем не бывало. Чаще всего ошибается мама. Иногда я. А сегодня мы заговорили одновременно, потому что из сарая вывели лошадей, предназначенных для развлечения туристов, которых, как ни странно, тут оказалось пруд пруди. И мама тут же потащила меня к собравшимся, забыв про «варежку». Начался инструктаж.

Инструкторша мне не понравилась сразу: босая, с соломенными волосами, убранными в хвост, очень похожий на хвост больного пони-альбиноса. Увидев меня, девушка взяла понурую лошадь под уздцы и затараторила, почему-то обращаясь ко мне, а не к моей рвущейся в бой маме: «Значит так. Это лошадь. К лошади нельзя заходить сзади, где хвост. Конячка пугается и может лягнуть. К конячке надо подходить спереду. Это вот уздечка. Это стремячка. Это сиделец. Ставим левую ножку в стремячку, отталкиваемся правой ножкой и взгружаемся в сиделец. Понятна?»

Лично я ничего не поняла, но на всякий случай кивнула, чтобы не расстраивать человека.

— Маладец! — похвалила меня инструкторша и продолжила: — Када нада трогаться, не нада говорить: «Иди вперед», нада гаварить: «Чап-чап». А када нада встать, не нада говорить: «Стой», нада гаварить: «Трр».

— А если ваша «конячка» меня не послушается? — любопытствовала моя мама и зачем-то подмигнула мне левым глазом.

— А вы не бойтесь, — тут же заверила ее инструкторша и зачем-то обняла меня за плечи. — Наши конячки обучены. Слушайте дальше: идем караваном. Друг за другом. Если ваша конячка обгоняет переднюю, говорите: «Трр» и тяните уздечку. Резко. Вот так. А то другая конячка обидится и куснет.

«Только этого мне не хватало!» — подумала я и попробовала освободиться из цепких рук инструктора, но та прижала меня к себе еще сильнее:

— Ты не бойся. Ты же дите. Дите на лошадь не садят. Дите сядят на полупони.

— А мама? — робко заикнулась я.

— Мама поедет на Драконе, — сообщила инструкторша и призывно махнула моей маме рукой. — Женщина. Идите сюда.

На секунду мне показалось, что маме страшно. Но ровно на секунду, пока девушка снова не затараторила:

— Вот эта конячка — Дракон. Ставьте ножку в стремячку. Толкайтесь.

Не успела моя мама и глазом моргнуть, как очутилась на высоте двух метров над землей.

— Вот так вот! — прокричала мне сверху она и погладила лошадиную шею, после чего Дракон тронулся с места и пошел куда глаза глядят. Мама беспомощно завертела головой по сторонам в поисках инструктора и, не выдержав, заголосила: «Остановите лошадь!»

Видимо, на конеферме к подобным крикам привыкли, поэтому инструкторша, не глядя в сторону моей мамы, громко скомандовала: «Трр, Дракон!» Обученная лошадь тут же остановилась, и за ней в ряд вы-

строились другие кони с напуганными наездниками в седлах.

— Чего стоим? — вспомнила обо мне инструктор и потащила к полупони. — Не надо бояться, это ж не лошадь! — засмеялась она и помогла взобраться на невозмутимое, медленно что-то пережевывающее животное.

В общем, скажу честно: я не выдержала. Полупони, конечно, не лошадь, но тоже страшно. Остановить эту сумасшедшую инструкторшу с хвостом альбиноса не было никакой возможности, и я заревела. Громко, как только могла. Но девушка меня не услышала: она торопилась за туристами, восседавшими на самых настоящих лошадях. Среди них была и моя мама. И я точно знаю, ей было страшно, как и любому нормальному человеку. Но она никогда бы в этом не призналась, потому что хотела быть примером для своей трусливой дочери, то есть для меня.

«Извини, мама», — подумала я и искренне обрадовалась тому, что моя бестолковая полупони вернулась к загону, вместо того чтобы трусить за конным караваном. Теперь мне предстояло как-то с нее слезть и при этом умудриться остаться целой и невредимой. Со стороны, наверное, это смотрелось смешно. Но мне, правда, было не до смеха. Я просто молилась про себя, чтобы эта бестолочь прижалась боком к плетню загона, по которому можно спуститься на землю. Но, как нарочно, унылая полупони побрела в противоположную от плетня сторону, а я попыталась представить, что придет в голову этому животному. А вдруг она возьмет и разовьет немыслимую скорость и прыгнет с обрыва? Правда, никакого обрыва поблизости не было, но на всякий случай пришлось крикнуть: «Помогите!»

После первого призыва никто не пришел ко мне на помощь. Лишь полупони пару раз шевельнула ушами и продолжила свой путь дальше. Тогда я заорала изо всех сил, но тоже безрезультатно. Похоже, на этой злополучной конеферме не было никого, кроме меня, полупони, больного альбиноса в загоне и «варежки», сохнущей под навесом. «Интересно, что моя мама скажет моему папе, когда вернется из Крыма без меня? Наверное, они разведутся: папа не простит ей моей гибели». После этих мыслей мне сразу стало жалко папу и маму, но больше всех — себя. На всякий случай я попрощалась с жизнью и пообещала, что если спасусь, сразу стану отличницей.

«Господи! — взмолилась я снова и закрыла глаза. — Спаси меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Честное слово!» Про «честное слово» пришлось сказать на всякий случай, для убедительности. Но, как ни странно, полупони встала, фыркнула и опустила голову, пытаясь что-то поднять с земли. «Эй!» — в это время услышала я у себя за спиной, но не повернула головы, потому что побоялась свалиться. «Эй!» — повторился возглас, и у меня за спиной содрогнулась земля, словно по ней промчался целый табун. «Только землетрясения мне не хватало!» — поразились я собственной невезучести и, преодолевая страх, повернула голову назад: на огромном красивом жеребце цвета темного шоколада гарцевал модно одетый «живодер», попросивший посторожить мокрую «варежку».

— Давай, перелезь, — протянул он ко мне руку, видимо, даже не предполагая, что я физически не могу этого сделать, потому что мое тело окаменело от страха. Я смотрела на своего спасителя и не могла выговорить ни слова.

— Ты чо? Немая? — резонно поинтересовался тот и впился в меня глазами. Пришлось покачать головой, чтобы хоть как-то заявить о собственной жизнеспособности. — А мамка твоя где? Ты ж вроде с мамкой была?

— Там, — ответила я и показала рукой в сторону Капсельской долины.

— А ты чего ж здесь? — поинтересовался «живодер» и посмотрел на меня с сочувствием.

— Инструктор, — похоже, ко мне начал возвращаться дар речи.

— Ох уж мне этот инструктор! — хмыкнул всадник и спрыгнул на землю: — Трр, Мустанг!

Конь встал как вкопанный, а его хозяин стащил меня с моей полупони, как куль с мукой.

— Не бойсь! — бодро скомандовал «живодер» и помог мне вставить ногу в стремя. — Толкайся! — приказал он, а я с тоской сообразила, что никого мое мнение не интересует.

В седле я очутилась незаметно для себя и сразу же зажмурилась, чтобы не смотреть вниз. «Живодер» через пару секунд оказался у меня за спиной и представился:

— Я Билл.

— Кто? — не поверила я своим ушам.

— Вообще-то Богдан, — исправился он и прикрикнул: — Муста-а-анг! Чап!

После этого «Чап!» мы полетели, и вскоре я почувствовала: мой страх понемногу улетучивается. По совету своего спутника я начала приговаривать: «Опля!» и даже привставать на стременах.

— Не бойся! — кричал мне в ухо Богдан, пытаюсь перекричать ветер. — Потрогай его!

И я послушно касалась рукой горячей и влажной шеи лошади. Я была счастлива.

Вскоре остались далеко позади не только конеферма, но и весь караван, во главе которого ехала моя мама на полусонном Драконе. Пролетая мимо них вместе с «живодером», я даже успела заметить, какие у них у всех довольные лица.

— Мама! — заорала я изо всех сил. — Посмотри на меня! Это Мустанг! Это Билл! Это море! Как здорово!

Может быть, моя мама тоже умудрилась что-то прокричать мне в ответ, но я ничего не услышала, потому что Богдан поднял лошадь на дыбы, а потом загнал ее в море, и мы пронеслись по его кромке, вымокнув под брызгами, поднятыми Мустангом.

Дорога обратно мне показалась вдвое короче. Караван лошадей пустили в галоп по Капсельской долине, и впереди всех мчались мы: Мустанг, Билл и я. Горячий воздух обжигал мне лицо, под ногами неслась земля, и во мне больше не было страха.

Наконец-то добравшись до конефермы, встревоженная мама чуть не задушила меня в объятиях.

— Господи! — запричитала она. — Какая же я бесполовая мать!

— Очень даже толковая, — как могла, утешила я ее и погладила по голове. — Ты же сама говорила: «Клин клином!»

— Беру свои слова обратно! — объявила она во всеуслышание, а потом хитро на меня посмотрела: «Получилось, что ли?»

И что я могла ей сказать? Просто повторить в сто первый раз знаменитое «клин клином». Подтверждаю — работает!

СОДЕРЖАНИЕ



Предисловие Л. Петрушевской	5
ДИНА РУБИНА	
Терновник	9
ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ	
Свой круг	43
Йоко Оно	76
АНДРЕЙ ГЕЛАСИМОВ	
Жанна	85
ОЛЕГ РОЙ	
Сизари	111
МАРИЯ МЕТЛИЦКАЯ	
Понять, простить	131
ИАНА МАШКОВА	
Аннушка	169
МАША ТРАУБ	
Иван да Марья	195
ИРИНА МУРАВЬЕВА	
Сирота Коля	231
ЛАРИСА РАЙТ	
Зойка	295
ТАТЬЯНА ТРОНИНА	
Новая Золушка	339
АРИАДНА БОРИСОВА	
Рог тритона. <i>Отрывок из повести</i>	353
Время Деда Мороза	380
ВИКТОРИЯ ГАБЫШЕВА	
Чудо египетское	391
ТАТЬЯНА БУЛАТОВА	
Клин клином	401

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

РАССКАЗЫ О САМОМ ВАЖНОМ

ЛЮБОВЬ, или ПУСКАЙ СМЕЮТСЯ ДЕТИ

Ответственный редактор *Е. Неволина*

Младший редактор *А. Семенова*

Художественный редактор *П. Петров*

Технический редактор *Г. Романова*

Компьютерная верстка *Г. Дегтяренко*

Корректор *О. Супрун*

В оформлении переплета использована фотография:

Still AB / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-66-86; 8 (495) 956-39-21.

Өндіруші: «Э» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел. 8 (495) 411-68-86; 8 (495) 956-39-21.

Тауар белгісі: «Э»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта Өндіруші «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 10.07.2015. Формат 84x108 ¹/₃₂.

Гарнитура «NewBaskerville». Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,84.

Тираж 10000 экз. Заказ 4715.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
ОДИН КЛИК ДО КНИГ



Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:
142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

**По вопросам приобретения Издательства «Э» зарубежными
оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж**
*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department for their orders.*

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.:**
+7 (495) 411-68-59, доб. 2115/2117/2118; 411-68-99, доб. 2762/1234.

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса:**
142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

Полный ассортимент книг издательства для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел.: (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: 603094, г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29,
бизнес-парк «Грин Плаза». Тел.: (831) 216-15-91 (92/93/94).

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.
Тел.: (863) 220-19-34.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел.: (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел.: +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел.: +7 (383) 289-91-42.

В Киеве: ООО «Форс Украина», г. Киев, пр. Московский, 9 БЦ «Форум».
Тел.: +38-044-2909944.

**Полный ассортимент продукции Издательства «Э»
можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читай-город».**
Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444.
Звонок по России бесплатный.

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД»,
Невский пр-т, д. 46. Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru/

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.
Тел.: +7 (495) 745-89-14.

ISBN 978-5-699-82685-8

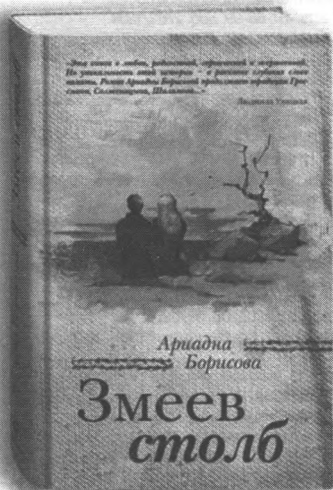


9 785699 826858 >



Ариадна Борисова

Любовь,
перед которой бессильны палачи
и даже сама смерть!



«Бел-горюч камень» –
долгожданное
продолжение романа
«Змеев столб»

Есть темы, которые волнуют всех без исключения. Это темы любви, семьи, Родины. Ведь каждый человек любит и хочет, чтобы его любили, нуждается в близких людях и в семье, испытывает потребность в доме и Родине. В серии «Рассказы о самом важном» мы собрали произведения наиболее интересных писателей, готовых доверительно говорить о сложных и актуальных проблемах. Среди наших авторов Дина Рубина, Людмила Петрушевская, Андрей Геласимов, Олег Рой, Мария Метлицкая и многие другие.

ЛЮБОВЬ,

или Пускай смеются дети

У Кати было несчастливое детство: мать настолько сильно любила отца, что для нее не существовало больше никого. Вот и выросла девочка с ощущением сиротства, с обидой на мать и подсознательной готовностью повторить ее судьбу... Так начинается рассказ Маши Трауб. А в рассказе Андрея Геласимова ситуация противоположная – даже страшный ярлык неполноценного ребенка не мешает матери по-настоящему любить свое дитя.

В ЭТОМ СБОРНИКЕ – РАССКАЗЫ О ДЕТЯХ,
СМЕЮЩИХСЯ И ПЛАЧУЩИХ, СЧАСТЛИВЫХ
И НЕСЧАСТНЫХ, КОТОРЫЕ ЖДУТ
САМОГО ГЛАВНОГО – ЛЮБВИ.

ISBN 978-5-699-82685-8



9 785699 826858 >

